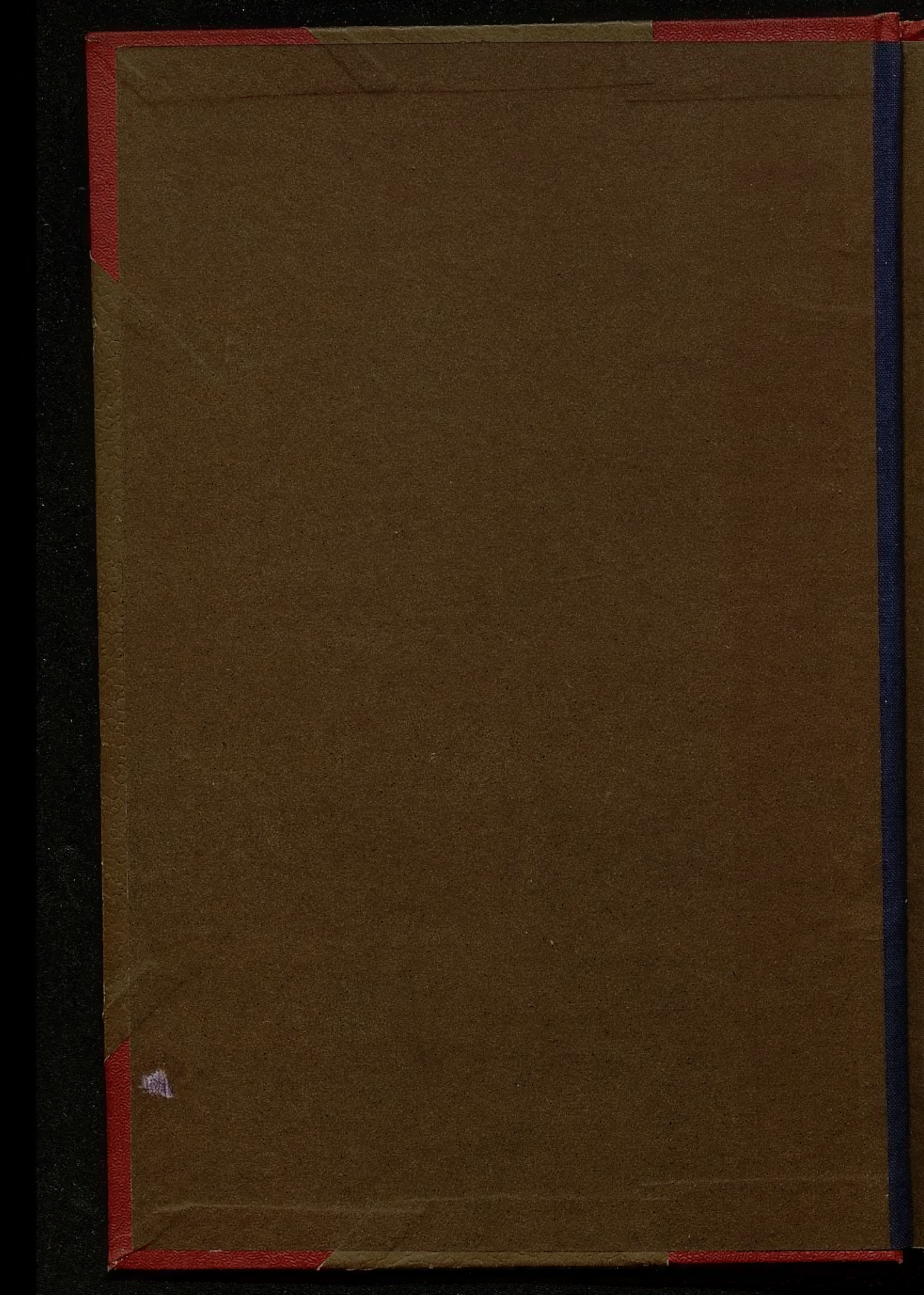
БАЛАБАНОВ

ЦАРСКАЯ РОССИЯ XX века

ЛЕНИНА
ТЕКА

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА



ГЭЖ 1
Б 147

М. БАЛАБАНОВ

ЦАРСКАЯ РОССИЯ XX ВЕКА

(НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА)



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРОЛЕТАРИЙ"

М. БАЛАБАНОВ

ЦАРСКАЯ РОССИЯ XX ВЕКА

(НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА)

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОЛЕТАРИИ“
1927

[9 (47)]
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008
К.
П
1984
ГЭК1
Б 147 р
2
Типография
„Пролетарий"
Харьков ул. К. Либкнехта
38
Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)
№ 67275 у

Укрглавлит № 5978. Заказ № 212. Тираж 5.000

I. Социальные корни самодержавного порядка.

„Слава богу, наш император—самодержец, и должен остаться таким, как ты это и делаешь,—только покажи больше силы и решимости“,—писала Николаю II царица Александра Федоровна 7 сентября 1915 г. „Ты властелин и повелитель России, всемогущий бог поставил тебя, и они должны все преклониться перед твоей мудростью и твердостью“,—повторяла она ту же мысль в письме от 9 сентября 1915 года. „Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом—сокруши их всех“,—взывала она в письме от 14 декабря 1916 г. И даже 25 февраля 1917 г., когда в столице уже зажглась великая революция, одним ударом сокрушившая самодержавную монархию, царица писала Николаю: „Прежде всего твори свою волю, мой дорогой“.

Самодержец, властелин и повелитель, мудростью, твердостью и волей которого должна жить Россия—таков император всероссийский. Царица чуть ли не изо дня в день старалась не внушить, конечно, царю эти мысли, потому что он и сам их всецело разделял, а добиться, чтобы у царя слово не расходилось с делом, чтобы власть самодержца была подлинной властью повелителя, чтобы все перед ним склонилось, как встарь склонялось перед Иваном Грозным и его опричиной. И в значительной мере так это и было. В конце концов, волей царя, вопреки даже писаным законам, творилось законодательство, в руках царя оставалось всяческое начальство, по воле его разгонялась государственная дума, вся страна держалась под властью жандармов, военных и штатских генералов, во славу царской самодержавной власти угнетались национальности, устраивались еврейские погромы, армянские резни и т. д. Царство российское—царство гнета, неволи, произвола, беззакония—вполне отвечало идеалу самодержца, потому-то так цепко держались за власть, так крепки были в своей вере и царь и царица, не допуская и мысли, что „всемогущий бог“ допустит крушение самодержавной монархии.

Как же могло случиться, что этот чудовищный порядок продержался в России почти до четверти XX века — с режимом тюрьмы и каторги, с народным бесправием, с кучкою проходимцев, распоряжавшихся государством, как своей вотчиной? Россия не была страною азиатской отсталости. Она шагнула далеко вперед по пути капиталистического развития, имела свою крупную промышленность, банки, развитую железнодорожную сеть, крупные города, промышленные центры и районы. Развитому капиталистическому строю соответствовали и классовые отношения. Россия уже давно перестала быть страной исключительно поземельного дворянства и крестьянства,— наряду с пролетариатом в ней достигла своего развития и промышленная буржуазия. Почему же в соответствии с этими социально-экономическими отношениями не претерпел столь же радикальных изменений политический строй? Почему, как бы в противоречие с тем, что имело место в капиталистической Европе, буржуазный порядок оставался в России недоразвитым и, вместо господства буржуазии со свободными формами буржуазного государства, мы имели полицейско-самодержавный порядок, с всесильным царем, который сохранял возможность творить свою „волю“ столь же свободно, как это делали его дальние предки?

Ничего загадочного и противоречивого во всем этом нет: русское самодержавие было крепко до тех пор, пока имелись общественные классы, интересы которых оно выражало и пока в интересах этих общественных классов было поддерживать самодержавный порядок. Мы еще больше убедимся в том, что перед нами — не загадочная картинка, на которой изображен самодержавный порядок и на которой нужно отыскать где-то в царской мантии укрывшуюся буржуазию, если вспомним, что и в передовых капиталистических странах Европы монархия,— конечно, не самодержавная,— дожила не только до мировой войны, но и до наших дней. В высоко капиталистически-развитой Германии до 1918 г. просуществовала монархия во главе с Вильгельмом, „мудрость и твердость“ которого, как и самодержавные замашки, отнюдь не оставались лишь украшением его царственной особы. Монарх не упразднен почему-то до сих пор и в старой капиталистической Англии. Что же, здесь действует только сила традиции? Или за монархической формой скрывается определенное

соотношение господствующих общественных классов? Сохраняется ли, например, в Англии монархия только потому, что король там „царствует, но не управляет“ и этим, якобы, никому не мешает, или потому, что такая форма правления соответствует соглашению тех классов, которые не царствуют, но управляют?

Яркий свет на все эти вопросы бросают мысли, давно уже высказанные Энгельсом. „Своеобразная особенность буржуазии по сравнению со всеми остальными господствовавшими ранее классами,— писал он еще в самом начале 70-х годов,— состоит в том, что в ее развитии имеется поворотный пункт, после которого всякое дальнейшее увеличение средств ее могущества, и в первую очередь ее капиталов, приводит лишь к тому, что она становится все более и более неспособной к политическому господству. „За спиной крупной буржуазии стоит пролетариат“. В той же мере, в которой буржуазия развивает свою промышленность, торговлю и средства сношений, в той же мере она порождает пролетариат. И в определенный момент, который наступает всюду, не всегда одновременно и не обязательно на одинаковой ступени развития, она начинает замечать, что ее спутник — пролетариат — начинает перерастать ее. С этого момента она теряет способность к исключительному политическому господству; она ищет вокруг себя союзников, с которыми, смотря по обстоятельствам, она или делит свое господство, или уступает его им совершенно“. И к той же мысли Энгельс возвращается много лет спустя, незадолго до своей смерти, когда перед ним были итоги буржуазного развития еще за два десятилетия. „Повидимому,— писал он в 1892 г.,— можно принять за исторический закон, что ни в одной европейской стране буржуазии не удается,— по крайней мере на продолжительное время,— завладеть политической властью таким же исключительным образом, как феодальная аристократия удерживала ее в продолжение средних веков“.

Мысли Энгельса, как видим, сводятся к следующему. Феодальная аристократия удерживала власть в течение всех средних веков, ни с кем не разделяя ее, потому что в продолжение всей этой эпохи не было другого класса, который мог бы оспаривать эту власть и на нее претендовал бы. Положение меняется с тех пор, как нарождается буржуазия и

требует в своих интересах не только ломки феодальных порядков, но и власти в новом складывающемся капиталистическом обществе. Борьба между буржуазией и феодальной аристократией повсюду заканчивается победой буржуазии и сопровождается рядом революций, перестраивающих социальный и экономический порядок. Буржуазия приходит к власти, преобразует либо приспособляет к своим интересам существующие формы правления, но ей уже не удается господствовать столь же исключительно и беззаботно, как феодальной аристократии в средние века. „За спиной крупной буржуазии стоит пролетариат". Рост и могущество буржуазии неразрывно связаны с ростом капиталистических отношений, а рост этих последних столь же неразрывно связан с ростом пролетариата. Чем быстрее совершается капиталистическое развитие, тем быстрее вырастает пролетариат и тем более обостренной становится классовая борьба в пределах капиталистического общества. Феодальная аристократия могла спокойно господствовать сотни лет, пока из недр феодального порядка родилась буржуазия. Последней пришлось многим более круто, потому что за нею неотступно следует тень ее могильщика—пролетариата. Каждый шаг по пути расцвета буржуазного общества и укрепления власти буржуазии сопровождается обострением противоречий капиталистического общества и нарастанием борьбы рабочего класса. Укрепляя свою власть, буржуазии приходилось обороняться от наступления своего пробуждающегося классового врага, вести активно борьбу с ним, а в этой борьбе она вынуждена искать союзников, вступать в соглашение, делить с другими власть.

Мысли эти Энгельс подтверждал анализом складывавшихся в его время общественных отношений в странах Европы. В Германии уже со времени революции 1848 года „острие политического действия немецкой буржуазии притупилось; она стала искать союзников и продавать себя им за какую угодно цену, и в этом отношении она еще и теперь не продвинулась ни на шаг дальше,— писал Энгельс в 1870 г.—Природа всех этих союзников реакционная. Это — королевская власть с ее армией и бюрократией, это — крупная феодальная знать, это мелкотравчатые юнкера, это, наконец,— попы". И таким же положение остается в глазах Энгельса и в 1874 году после франко-прусской войны и нового расцвета германского

капитализма: „Правительство,— пишет Энгельс,— черепашьим шагом реформирует законы в интересах буржуазии, устраняет созданные феодализмом и партикуляризмом мелких государств препятствия развитию индустрии, устанавливает единство монет, мер и весов, вводит свободу промышленности, устанавливает свободу передвижения, предоставляя этим в полное и неограниченное распоряжение капитала рабочую силу Германии, покровительствует торговле и спекуляции; с другой стороны, буржуазия оставляет в руках правительства всю реальную политическую власть, вотирует налоги, займы и солдатские наборы и помогает ему так формулировать новые законы, чтобы старая полицейская власть над нежелательными лицами оставалась в полной силе. Буржуазия покупает свою постепенную общественную эмансипацию ценой немедленного отказа от собственной политической власти. Естественно, что основным мотивом, делающим для буржуазии приемлемым этот договор, является не страх перед правительством, а страх перед пролетариатом“. Таким же представлялось для Энгельса положение дел еще в 1892 году в Англии, где „буржуазия никогда не обладала нераздельной властью“ и где она также не успела „окончательно устранить земельную аристократию от политической власти, как выступил на арену истории новый конкурент — рабочий класс“. Вообще,— писал Энгельс в 1892 г.,— продолжительное господство буржуазии было до сих пор возможно только в таких странах, как Америка, где феодализма никогда не было, и общество с самого начала создалось на буржуазном фундаменте“.

Не получил ли этот исторический закон, устанавливаемый Энгельсом, применения также в России,— с теми, конечно, отличиями, какие вызывались некоторыми особенностями социального развития России? В общем, процесс и в России совершался в том же направлении, с существенным, однако, различием в конечном результате: если в передовых капиталистических странах буржуазия, став у власти, вынуждена делить ее с другими, то в России буржуазии так и не довелось получить в свои руки власть и на протяжении всего времени своего существования она оставалась в соглашении с другими общественными классами, разделяя, так или иначе, с ними власть.

Как известно, самодержавие складывалось в России в ту пору, когда укреплялся торговый капитал. В те далекие

времена торговый капитал, в интересах распространения своего как внутри страны, так и за ее пределами, требовал объединения раздробленного государства в одно целое с сильной властью, которая навела бы „порядок“ и „спокойствие“, столь необходимые для успешного накопления торгового капитала. Эту историческую задачу и выполнила власть самодержавного царя, как она выполняла ее на протяжении нескольких веков. Но главными торговцами в то время были не только купцы, но и крупные землевладельцы-дворяне. Ведь владели они тысячами крестьянских душ и десятин земли не для того, чтобы любоваться зелеными полями и рабским трудом на них. То, что добывалось крепостным трудом на дворянской земле — хлеб, как и другие продукты сельского хозяйства — продавалось на внутреннем рынке и вывозилось за границу. В этой торговле было заинтересовано, прежде всего, дворянство, и, если самодержавная власть складывалась, как власть торгового капитала, то вместе с тем, она была и властью поземельного дворянства.

С течением времени положение стало усложняться. Торговлей стали все больше заниматься горожане-купцы и верхушки состоятельного крестьянства. С другой стороны, торговый капитал стал приливать и в промышленность — фабрики и заводы начали заводить и дворяне-землевладельцы и купечество. Так складывалась, наряду с поземельным дворянством, которое оставалось связанным, по преимуществу, с землей, торговая и промышленная буржуазия. Роль последней, в особенности после падения крепостного права, все больше возрастала, поскольку в стране вообще развивались капиталистические отношения и торговый капитализм сменялся промышленным. Но на этой стадии развития буржуазии перед нею еще не встают задачи, которые могли бы противопоставить ее интересы интересам поземельного дворянства и самодержавия. Промышленный, как и торговый, капитал усердно предается первоначальному накоплению, а в этом отношении условия полицейско-самодержавного порядка его удовлетворяли как нельзя более. Капитал получал в этих условиях полную возможность безграничной эксплоатации рабочей силы, хищнических способов выкачивания прибавочной стоимости и легкой наживы на почве материальной нужды и бесправия городского и сельского трудового населения,

а о большем он и не мечтал. Развитие промышленности вполне соответствовало также интересам крупного землевладения, так как расширяло внутренний рынок и обеспечивало лучший сбыт продуктов сельского хозяйства — не только хлеба, но и всякого рода сырья, которое требуется для фабричного производства. Интересы промышленного и торгового капитала как и интересы промышленной буржуазии и крупного землевладения на этой стадии совпадают, как не вступают они в противоречие и с самодержавным порядком, который находит для себя надежную опору и в том и в другом. Если купцы и фабриканты преисполнены были верноподданнической преданностью царю, которой пропитан был быт их и в которую укладывались все их скромные политические вожделения, то делали они это не за страх, а за совесть: царь самодержавный — их царь в такой же мере, как и царь дворянский.

К концу XX века капиталистическое развитие России достигло в особенности бурного развития. К этому времени иностранный капитал широко притекает в промышленность, быстро нарастают русские капиталы, образуются новые промышленные районы, строятся новые железные дороги, возникают крупные, европейского размаха, банки, развивается тяжелая индустрия. Тон всему социальному укладу страны начинает задавать промышленный капитализм и все настойчивее продвигается вперед в своем влиянии промышленная буржуазия. Этот промышленный рост приходит вместе с тем во все большее противоречие с господствующим полицейско-самодержавным строем. Общее бесправие и политика угнетения, поощрявшая бюрократическое самодурство, казнокрадство и всяческого рода хищничество, не только создавали ряд препятствий дальнейшему росту производительных сил на основе крупного производства, но и подтачивали корни промышленного капитализма, ибо политика эта приводила к падению сельского хозяйства, к обнищанию широких масс населения и этим подрывала внутренний рынок, столь необходимый для роста промышленности. Казалось, что промышленная буржуазия, достаточно окрепшая, поставит своей задачей устранение всех этих препятствий к дальнейшему росту капитализма и, стало-быть, поведет борьбу с самодержавием за новый, более свободный буржуазный порядок, — борьбу за власть и политическое господство, соответствующее материальной силе буржуазии.

Этого, однако, не случилось, и снова по той же причине: „за спиною крупной буржуазии стоит пролетариат“. Если капитализм быстро и бурно развивался в России, в особенности, потому, что, позже вступив на путь капиталистического развития, он мог использовать все те богатые возможности, которые уже накоплены были опытом капиталистического Запада (технические усовершенствования, содействие иностранного капитала, условия мирового капиталистического рынка, формы объединения капитала с синдикатами, трестами и т. п.), то еще более бурно и быстро развивался рабочий класс России. Быстрота его роста обусловливалась также не только быстротою капиталистического развития страны, но и тем, что в своей борьбе российский пролетариат мог использовать богатый опыт европейского пролетариата, что расти и развиваться нашему рабочему классу приходилось в иной международной обстановке, в иных условиях международного рабочего движения. На опыте движения европейского пролетариата рабочий класс России мог оценить значение политической борьбы и разных форм ее, силу классовых организаций, значение самостоятельной политической организации, соответствие той или иной идеологии историческим задачам пролетариата и его революционной борьбе. Этот быстрый рост рабочего класса не оставался, конечно, секретом для буржуазии, она могла познать его в повседневной экономической борьбе, а сила рабочего движения на Западе, как и опыт европейской буржуазии в борьбе с пролетариатом, определили ее позицию и тактику. Обострявшиеся противоречия между дальнейшим промышленным развитием страны и самодержавно-полицейским порядком не привели к борьбе буржуазии против этого порядка. В 1905 году она пытается выступить против самодержавия, но перед лицом революционной борьбы рабочего класса, бросается в объятия реакции, довольствуясь теми жалкими уступками, которые вынужден был сделать царь под давлением революции. С 1905 года самодержавие „обновляется“ на компромиссе, соглашении между промышленной буржуазией и поземельным дворянством. И тот и другой класс поддерживают в своих интересах „обновленное“ самодержавие, используя для укрепления своего влияния и государственную думу и все те „свободы“, которые вырваны были у самодержавия революцией.

В соответствии с этим самодержавие на протяжении всего времени своего существования не оставалось одним и тем же, оно изменялось в своем классовом характере в связи с изменением классовых отношений в стране. „Развитие русского государственного строя за последние три века, — писал Ленин, — показывает нам, что он изменял свой классовый характер в одном определенном направлении. Монархия XVII века с боярской думой не похожа на чиновничье-дворянскую монархию XVIII века. Монархия первой половины XIX века — не то, что монархия 1861 — 1904 годов". Если самодержавная монархия складывалась на почве выроставшего торгового капитализма, и, поскольку торговый капитал главным образом представлен был поземельным дворянством, было властью и этого дворянства, то с течением времени оно становилось и властью буржуазии, которая перед лицом разраставшегося революционного движения рабочего класса, вступала в соглашение с дворянством и вместе с ним поддерживала самодержавие. В этом соглашении гегемония оставалась за дворянством, и потому самодержавие старалось сохранить, прежде всего, неограниченную власть царя со всею связанною с ней системой управления. Царское правительство шло навстречу интересам буржуазии, насколько это не противоречило сохранению самодержавия, предоставляя буржуазии самой приспособляться к самодержавному порядку и принуждая ее к повиновению, если домогательства ее грозили поколебать основы самодержавия и гегемонию реакционного дворянства, этой надежнейшей опоры царского трона. Такое положение приводило порою — как это было, например, накануне мировой войны — к обострению отношений между буржуазией и самодержавием, но всякий раз, когда всею складывавшейся обстановкой буржуазия, казалось бы, должна была осмелиться на какие-нибудь решительные действия, в пределах хотя бы тех возможностей, какие она сама для себя допускала, она с опасением оглядывалась назад — в ту сторону, где за „спиною крупной буржуазии стоит пролетариат", и дело кончалось новым соглашением с дворянством.

Мировая война, во время которой на первых порах вокруг самодержавия „сплотились", наряду с дворянством, самые широкие слои буржуазии, в ходе своем вскрыла перед буржуазией всю гниль старого порядка и полную неспособность

его не только достигнуть тех целей войны, к которым стремилась буржуазия, но и предохранить страну от военного разгрома. Лишившись социальной опоры, самодержавие сразу попало в изолированное положение, повисло в воздухе, и в момент своего крушения не нашло сколько-нибудь активных защитников. Но как мы увидим из дальнейшего изложения, и в этот момент монархия пала не по воле буржуазии, которая, в страхе перед революцией старалась крепко, как никогда, держаться за монархию и готова была снова вступить в соглашение с династией, сотни лет угнетавшей страну. Монархию свергли восставшие рабочие и крестьяне.

II. Опора царского трона.

Главнейшей опорой самодержавия до последних дней его существования служило дворянство, сила которого заключалась в крупных земельных поместьях, которыми оно обладало.

При крепостном праве вся частновладельческая земля находилась почти исключительно в руках дворянства, так что накануне освобождения крестьян от крепостной зависимости дворянам принадлежало около 105 млн. дес. земли. При отмене крепостного права львиная доля этой земли — почти две трети — осталась в руках дворянства и только одна треть — 35 млн. дес. — перешла к крестьянам. Таким образом, при освобождении крестьян материальная, земельная сила дворянства пострадала мало — громаднейшая часть земли, источник существования многомиллионного крестьянства, продолжала оставаться в собственности немногочисленной группы дворянства.

С течением времени дворяне лишились части своей земли. Сперва они продавали земли, чтобы получить деньги для широкой жизни, к которой они привыкли при крепостном праве, эксплоатируя даровой труд крепостных крестьян и пользуясь своим монопольным положением земельных собственников. В дальнейшем на усилении продажи дворянских земель сказалось падение хлебных цен, державшееся одно время, когда от сельского хозяйства дворянство не могло наживаться так, как оно наживалось раньше. Но наиболее массовый характер приняла продажа дворянами земли, когда крестьянство стало подниматься на борьбу за землю: опасаясь во время революции 1905—1906 г. г. совсем лишиться земли, убегая в города от

крестьянских восстаний, помещики спешили сбыть свою землю, чтобы остаться, по крайней мере, при деньгах.

В общем, с 1861 по 1911 год, дворяне распродали свыше половины той земли, которая находилась в их руках при отмене крепостного права. Но, конечно, и при таком положении вещей до „оскудения“ дворянского было очень далеко. В итоге дворянству в 1911 году принадлежало около 43 млн. дес. земли, т.-е. почти половина всей земельной площади, находившейся в частной собственности. Однако дело не только в этом количестве земли. Если мы обратимся к данным 1905 года, то увидим, что дворянам принадлежало в этом году 53 млн. дес., а крестьянам — 148 млн. дес., т. е. почти в три раза больше. Значит ли это, что земельные богатства находились в руках крестьян? Конечно, не значит. Нужно иметь в виду, что 148 млн. дес. крестьянской земли принадлежали, по меньшей мере, 12 млн. крестьянских дворов (хозяйств), а 53 млн. дес. дворянской земли — 107 тысячам дворян, т.-е. в то время, как на один крестьянский двор приходилось в среднем около 12 дес. земли, на одно дворянское имение — около 500 дес. Крестьянское землевладение было мелким, дворянское — крупным. Громадное большинство крестьян на своей земле, в подлинном смысле слова, добывало хлеб в поте лица своего, в руках дворян земля была источником богатства и силы. По тем же данным 1905 года, из 107 тыс. дворян-землевладельцев приблизительно десяти тысячам их принадлежало 38 млн. дес., а в руках 527 дворян было около 17 млн. дес. земли. Иначе говоря, на владениях этих 527 дворян могло бы уместиться хозяйство миллиона крестьянских дворов, а на землях 10 тыс. крупнейших дворян-землевладельцев—свыше трех миллионов крестьянских дворов.

Такое распределение земли, когда в руках немногочисленного слоя дворян сосредоточивались крупные земельные владения, а крестьянское хозяйство велось, в среднем, на нескольких десятинах, приводило к господству дворянства над крестьянской массой. В каждом селе среди сотен крестьянских дворов вклинивалось помещичье хозяйство. Помещик владел не только большим количеством земли, но и лучшей землей, удобно расположенной, так как при освобождении крестьян от крепостной зависимости помещикам оставлены были именно лучшие земли, а крестьяне наделены были худшими.

Мелкое крестьянское хозяйство, естественно, попадало в зависимость от крупного дворянского хозяйства. Арендовать землю крестьянин мог только у помещика, к помещику он мог наняться в работники для подсобного заработка. Возникавшие на такой почве отношения носили характер кабальной зависимости, которая, сохраняя многие пережитки крепостного времени, была тем тяжелее, чем маломощнее было крестьянское хозяйство. Аренда крестьянами помещичьей земли совершалась на тяжелых условиях — арендная плата не только была высока, но часто носила форму отработков, когда за взятую в аренду землю крестьянин должен был отработать на помещичьей земле. Отработочная система вообще широко применялась помещичьими хозяйствами: крестьяне своим инвентарем обрабатывали землю помещика, получая за это часть урожая. Отработки не были крепостной барщиной в чистом виде, так как крестьяне в личной зависимости от помещика не находились. Но личная зависимость в данном случае с лихвой покрывалась экономической зависимостью, и, по существу, по тому положению, в какое она ставила крестьян, отработочная система заключала в себе многие черты крепостнических отношений.

Понятно, что дворянство крепко держалось за свои земли и за тот экономический порядок, который сохранялся в деревне, благодаря господству крупного землевладения. Земля давала дворянам возможность держать крестьян в фактической зависимости, чувствовать себя хозяевами положения, сохранять на почве экономической зависимости политическое бесправие крестьянства. Эти же отношения позволяли дворянам вести хищнически свое хозяйство, мало помышляя о техническом его совершенствовании. Только небольшая часть дворянских хозяйств заводила машины, переходила к высшим культурам,— большинство довольствовалось тем, что могло жить за счет крестьянского труда, широко применяя отработки и прочие способы кабальной эксплоатации крестьян.

Самодержавно-полицейский строй, в существе своем, полностью отражал это господство дворянства. „По моему глубокому убеждению, которое, я думаю, разделяют здесь все присутствующие,— говорил один из дворян на съезде объединенного дворянства,— Россия может и должна оставаться монархической страной только при условии существования крупного земельного дворянства. Царская власть так с ним связана, что,

как мы на нее опираемся, так она и на нас опирается". Сто тысяч дворян-помещиков были опорою царского трона не только в том смысле, что они старались укрепить крестьянство в темной вере его в „царя-батюшку", самодержавного повелителя всей земли русской. Каждый в отдельности и все вместе, они создавали на местах, так сказать, материальную силу самодержавию и ее реализовали. И после отмены крепостного права дворянин-помещик продолжал смотреть на деревню, как на свою вотчину, в которой ему должен принадлежать первый голос и фактическое господство. Открытые крепостники попадались среди дворянства редко, как чудом сохранившиеся зубры: дворянство в целом давно примирилось с отменой крепостного права. Но оно вовсе не было склонно отказаться от своего социального господства, которое покоилось на господстве крупного землевладения над мелким крестьянским и на фактической зависимости крестьян от дворянства. Усилия дворянства сводились к тому, чтобы закрепить свое господство, держать крестьянство в его сословной замкнутости и покорности господствующему порядку социального и политического гнета. Это создавало и базу самодержавия, по отношению к которому вся Россия была как бы царской вотчиной.

Естественно, что дворянство требовало от правительства всяческих мер к укреплению своей силы и влияния, а правительство охотно шло навстречу этим требованиям, так как в силе дворянства видело свою силу. Меры эти, прежде всего, были направлены на сохранение дворянского землевладения. Как только стало обнаруживаться, что земля начинает уплывать из рук дворянства, казенный сундук был широко открыт для того, чтобы заполнить отощавшие дворянские карманы. Задача состояла в том, чтобы путем всякого рода ссуд и подачек избавить дворянство от необходимости продавать землю; с этой целью учрежден был государственный дворянский банк, в котором дворяне могли закладывать свои земли и получать под них деньги. Нужно ли говорить, что дворянство широко использовало эту счастливую возможность? Всего за 30 лет (с 1886 по 1915 г.) в дворянском банке перебывало в залоге свыше 25 млн. дес. земли и под залог их было выдано в ссуду без малого $1^1/_2$ миллиарда руб. (1.318 млн. руб.). На 1 января 1916 года оставались заложенными в банке свыше 11 млн. дес. дворянской земли (11,7 тыс. дес.),

под которую было выдано ссуд 751 миллион руб., причем неоплаченных долгов оставалось за дворянами 724 млн. руб. Этой же цели — перекачиванию денег в дворянские карманы — служил и крестьянский банк, хотя формальной его задачей было содействовать расширению крестьянского землевладения. Крестьянский банк продавал крестьянам те земли, которые он покупал у дворян, и в последнем заключался, главным образом, смысл деятельности банка. Если в дворянском банке дворяне могли на выгодных условиях закладывать земли, то крестьянскому банку они могли на столь же выгодных условиях их продавать. Выгода же заключалась в том, что крестьянский банк, оценивая земли по высокой цене, не только платил больше, но и поддерживал вообще цены на землю, что было дворянам выгодно и при продаже земли без посредства банка. Всего до 1 января 1916 года крестьянский банк купил у частных владельцев, т.-е. по преимуществу у дворян, $4^1/_2$ мил. дес. земли на 459 млн. руб. Если мы эту сумму присоединим к $1^1/_2$ миллиардам руб., выданных на 1 января 1916 года в ссуду дворянским банком, то получим, что из касс обоих банков к дворянам перешло почти два миллиарда руб. Но дворянству и этого было мало. Оно открыто требовало, чтобы крестьянский банк помогал отдельным дворянам избавиться от нужды, в которую они были силою вещей поставлены. Крестьянскому банку, в особенности, в вину ставилось то обстоятельство, что он перепродает земли крестьянам и, таким образом, в конечном счете, будто ведет к развалу дворянского землевладения. Дворянство неоднократно возбуждало, поэтому, вопрос о слиянии дворянского и крестьянского банков в один банк, что должно было еще больше подчинить деятельность крестьянского банка дворянским интересам. А чтобы не оставалось никаких сомнений в цели этой реформы, один из съездов объединенного дворянства (1909 года) постановил добиваться, чтобы до осуществления слияния банков было предоставлено дворянскому банку право покупать дворянские земли с перепродажей их в собственность дворянам же. Таким образом, не забывая о ссудах, дворянство помнило и о земле — источнике своего социального господства. Оба государственных банка — и дворянский и крестьянский, — помогая дворянам в „нужде“, должны были заботиться о том, чтобы дворянские земли не

ускользали из рук дворян, чтобы не оскудел источник, который давал дворянству силу.

Не было недостатка и в других проектах спасти дворянство от „оскудения“. Особенно любопытен проект насаждения крупной дворянской земельной собственности в Сибири за счет тех земель, которые могли быть отведены для крестьян-переселенцев. Вплотную, к практическому разрешению этого вопроса подошло особое совещание, образованное правительством в конце 90-х годов для выяснения нужд дворянства. На совещании этом в качестве неоспоримой истины признавалось, что Сибирь „не может правильно развиваться, если вся земля уйдет под переселенческие участки“. За крестьянами-переселенцами в Сибирь должна была двинуться „культура“ в лице дворян-землевладельцев — таков один довод, но не скрывался и другой, самый убедительный: сибирские земли должны были пополнить утечку дворянских земель в Европейской России. Совещание признало, что под дворянскую „колонизацию“ Сибири должен быть отведен земельный фонд в один миллион десятин, при чем участки должны отводиться дворянам крупные, размером в 3 тыс. дес. каждый, на льготных, разумеется, условиях. Проект этот имел все шансы осуществиться и осуществился бы, если бы прекрасные дворянские планы не были разбиты революцией 1905 г., когда о расширении дворянского землевладения за счет крестьянского, во всяком случае, уже не приходилось думать.

Однако, сотни миллионов из касс дворянского и крестьянского банков мало помогали дворянской „нужде“ и еще меньше покоя приносили дворянской душе. При всей щедрости казны распродажа дворянской земли не уменьшалась, а увеличивалась. Крестьянство, поднявшееся в 1905 году, настойчиво требовало земли, а дворяне, как мы упоминали, под влиянием крестьянских волнений стали спешить с продажей своих земель. Но этот выход был, конечно, для дворянства меньше всего желателен, потому что расставаться с землей оно вовсе не желало. Дворяне поднимают, поэтому, вопрос о том, чтобы каким-нибудь другим более радикальным способом ослабить борьбу крестьянства за землю, и выдвигают свои проекты земельной реформы. Уже в январе 1906 года съезд предводителей дворянства требует отвода казенных земель для переселенцев, и, главное,— „широкого облегчения

при Ц. К. З. К. П. (б.)
67275

свободного перехода от общинного владения к подворному и участковому с правом свободной продажи своего участка“. В том же 1906 году на втором съезде объединенного дворянства раздаются речи о том, что „необходимо способствовать всеми мерами скорейшему переходу от общинного владения к подворному с устройством хуторов на отрубных участках“. Почему такая реформа улыбалась дворянству? Это откровенно пояснил один из дворян на съезде объединенного дворянства. „Уничтожение общинного землевладения необходимо и потому, — говорил он,— что оно приучает крестьян смотреть на землю, как на материал такого рода, который может и должен быть дан каждому крестьянину, когда в этом материале почувствуется нужда. При недостатке у крестьян земли этот взгляд переносится на государство, обязанное, по мнению крестьянства, удовлетворить его нужду в земле. При недостатке казенных земель взгляды обращаются на земли частного владения“. Иначе говоря, при общинном землевладении каждый крестьянин считал себя в праве требовать от общества прирезки земли; когда у общества земли нет, крестьянин требует ее у государства, а, когда и государство не имеет свободных или удобных земель, он обращает свои взоры на дворянскую землю. В действительности это было не совсем так, и крестьянство, прежде всего, предъявляло свои требования на помещичьи земли, которые были и ближе и удобнее, чем казенные земли. Но тем энергичнее должно было стремиться дворянство к тому, чтобы отвлечь внимание крестьянства от своих земель. К этому и вели требования уничтожения общины с правом свободной продажи надельных земель и насаждения хуторских хозяйств. Реформа эта должна была, с одной стороны, дать в среде крестьянства простор укреплению частной собственности на землю, а с другой — облегчить кулацкому крестьянству скупку надельных земель малоимущих общинников. В результате — в деревне должно было образоваться крепкое, кулацкое крестьянство, которое было бы заинтересовано в сохранении частной собственности на землю и которое вместе с дворянством могло бы составить единый фронт в защиту „священной“ земельной собственности против крестьянской бедноты. Как известно, такую именно цель преследовала столыпинская землеустроительная политика, впервые подсказанная дворянством, которое в своих

же интересах, вынуждено было проводить в деревне буржуазную аграрную политику, уничтожавшую старую „патриархальность“.

С течением времени мысль о том, чтобы закрепить свою власть над крестьянством в новых условиях, привлекает к себе все большее внимание дворянства и рождает новые планы. С 1905 года и в связи со столыпинской реформой жизнь в деревне во многих отношениях радикально изменяется. Мы только что видели, что по почину дворянства в основу аграрной политики господствующих классов и правительства было положено насаждение частной собственности на крестьянские земли со свободным выходом из общины и продажей надельных земель. Это послужило, конечно, на руку имущественно-крепкой верхушке крестьянства, которая скупала земли как за собственные средства, так и при содействии крестьянского банка. Отношения в деревне, благодаря этому, становились более сложными, и патриархальность их с крепостническими пережитками начинала отмирать, поскольку рядом с поземельным дворянством выростала сельская крестьянская буржуазия. Свобода продажи надельных земель ускорила пролетаризацию малоимущих крестьян — путь к обзаведению собственным хуторским хозяйством был для них закрыт и они должны были продавать свою рабочую силу либо помещику, либо сельскому кулаку. Бегство дворян из деревни в 1905—1906 г.г. и последовавшая затем усиленная продажа дворянских земель (с 1906 по 1910 год дворяне продали $6^1/_2$ млн. дес. земли) разрядили несколько крепостническую атмосферу деревни, да и все вообще крестьянство выросло за годы первой революции и не так легко уже, как раньше, поддавалось власти помещиков. С другой стороны, хозяйство сельской буржуазии выступало все более сильным конкурентом на рынке хозяйству помещиков: крупные крестьянские хозяйства, эксплоатируя наемную силу и увеличивая распашки, выбрасывали на рынок все больше хлеба. В этой новой обстановке и дворянству приходилось закрепляться на новых позициях. Именно с этого времени часть дворян-землевладельцев начинает более усиленно переходить к капиталистической постановке своих хозяйств с применением машин, как и все вообще дворянство ищет новые пути к сохранению своей экономической силы и влияния в крестьянстве. В связи именно с этим в 1911 г.

дворянские съезды усиленно выдвигают вопрос об „экономическом объединении дворянства“, под которым разумелось образование союза сельских хозяев, и при том не одних только дворян, под гегемонией крупно-земельного дворянства. Образцом для дворянства служили германские крупные землевладельцы-аграрии, союз которых делал их господами на германском сельско-хозяйственном рынке и позволял держать под своим влиянием германское крестьянство: инициаторы проекта прямо ссылались на Германию, где „есть сословие и класс землевладельцев, действующий в союзе с крестьянами, в союзе, на который опирается власть, корона и закон“. Характерно, что глашатаем „экономического объединения“ явился известный в свое время дворянин Павлов, один из самых отъявленных реакционеров. Доклад его, представленный дворянскому съезду, вскрывает прямую связь его планов с теми изменениями, которые революция 1905—1906 г. г. внесла в деревню. Павлов указывает на движение сельско-хозяйственных рабочих, которое принимает „характер стачечный как в сторону непомерного повышения сдельных и поденных работ, так и в массовой неисполнимости каких бы то ни было условий найма и договоров“. Однако дело не только в повысившейся активности сельских рабочих, предъявляющих требования на лучшую жизнь. „В то время,— пишет в своем докладе Павлов,—как сельское хозяйство наше выдвигает на первое место требование прежде всего качественного усовершенствования во всех отраслях хозяйства, рабочие руки, помимо дороговизны, являются главной помехой в достижении качеств хозяйственной работы; всякая работа выполняется кое-как, неопрятно, бестолково, неряшливо“. Быть может, не понимая сам, Павлов характеризует этим отработочную систему и все прочие крепостнические пережитки в помещичьем хозяйстве, которые меньше всего могли содействовать „качественному усовершенствованию“ сельского хозяйства. Кабально-хищнические системы сельского хозяйства приходилось сдавать в архив, потому что они не мирились ни с условиями конкуренции русского хлеба на мировом рынке, ни с конкуренцией помещичьего хлеба с крестьянским. Но тогда что же требуется? Павлов ответил на это прямо: „переход к интенсивному — исключительно машинному — хозяйству“. „Возможно ли дворянскому

землевладению оставаться на прежних формах хозяйств",— спрашивал он и отвечал: „Невозможно, так как только интенсивная форма хозяйства оградит частное землевладение от тех препятствий, которые ему ставятся государством, обществом, населением и торговым классом". Отсюда ряд частных задач: организация кредита для сельских хозяев, борьба с комиссионерами и перекупщиками, которые, скупая крестьянский хлеб, не считаются с „требованиями экспорта", обеспечение хозяйств земледельческими орудиями, улучшение скотоводства и семеноводства, приспособление разнообразных тарифов к перевозке хлебных грузов и т. д. Разрешение всех этих задач и должно было составить цель „экономического объединения".

Но не только этим ограничивается цель. Речь шла не о дворянском только объединении, а о сельско-хозяйственном, всесословном — крестьянском и дворянском — союзе. „Наша сила в крестьянах, крестьянская сила еще в нас, — говорил Павлов на съезде по вопросу о союзе.— Этого не надо забывать другу крестьян — дворянству". Под покровом защиты интересов крупного землевладения и господства на рынке крупного хозяйства имелось в виду подчинить своему влиянию крестьянство, конечно, кулацкое, и при его посредстве держать в подчинении и крестьянскую бедноту. На почве такого „союза" дворянства и крестьянства выростали задачи защиты не только права собственности, но и всего строя, на этом праве основанном, и, стало быть, борьба с грядущей революцией. „Сейчас происходит большее, более важное, чем было в 1905 году, — говорил на съезде тот же Павлов, — мирное, не революционное и не кровавое, но постоянное завоевание власти пролетариата, социализма, улицы, горожан". В германском рейхстаге прошли 112 социалистов, в Англии — грандиозная забастовка, перед которой бессильны лорды, — „дрогнули перед победой социалистов и в рейхстаге, и в Англии, и во Франции, и повсюду". Все это — „движение громадных идей и мыслей нового порядка во имя нового строя, во имя борьбы за пищевой продукт, во имя войны справедливой за заработок". С этим движением надо бороться — „выступить или начать выступать против систематического построения пролетариата могут и должны собственники". И впереди вырисовывается решительный бой; в ответ

на борьбу пролетариев земельные собственники смогут „держать устойчивую цену пищевых продуктов в те моменты, когда рабочая партия будет давить на власть, разрушать порядок и угнетать страну забастовками общими и частными“.

Так собиралось закрепиться на новых позициях поземельное дворянство. Не полагаясь на одни только отработки, оно намечало защиту своих экономических интересов, завоевание монопольного положения на сельско-хозяйственном рынке путем как интенсификации хозяйств, так и объединения в союзе земельных собственников. Понимая, что старая власть над крестьянами ускользает, а в самом крестьянстве завершается процесс социального расслоения, дворянство ставит своей задачей вовлечение в круг своего влияния сельской буржуазии, кулачества — всех, кто окружает железным кольцом эксплоатации крестьянскую бедноту: на „союзе“ дворян и крестьян должно было расцвести обновленное, в условиях капитализации сельского хозяйства, господство дворянства над крестьянством. Подновляется и расширяется также „историческая миссия“ дворянства. Перед лицом пролетарского движения эта миссия должна заключаться в спасении монархии и всего буржуазного порядка, в сплоченной борьбе всех собственников против и промышленного, и сельско-хозяйственного пролетариата.

Но и при старой крепостнической своей подоплеке, и при „европеизации“ своей, дворянство одинаково видит источник своей силы во владении землей и одинаково крепко держится за власть. „Дворянство без земли утратит все свое значение — не стоит сохранять форму без содержания“ — таково было господствовавшее среди дворян воззрение, удачно выраженное дворянином Павловым. Форма — дворянство — ни к чему, если она не связана с землей. Но и земля ни к чему, если она не дает дворянам „значения“, власти. И земля эту власть дворянству давала.

На местах все органы управления, как и самоуправления, находились в руках дворян. Дворянство, сословно самоуправлявшееся, выбирало своих „предводителей“ — уездных и губернских, — которым принадлежало руководство не только дворянскими делами, но почти всеми уездными и губернскими правительственными учреждениями. Из среды дворян

назначались земские начальники,— эта специально над крестьянами поставленная дворянская власть. Крупно-поместное дворянство безраздельно господствовало в государственном совете, ему же принадлежало большинство в государственной думе: крупных землевладельцев (владевших 500 дес. и больше) в третьей думе было 55,5% всего состава думы, и почти сплошь это были дворяне. В руках дворянства было и земство. По данным, напр., конца 90-х годов, среди гласных губернских земских собраний потомственные дворяне составляли 87,6%, среди гласных уездных земских собраний — 54%, т.-е. в уездном земстве дворяне получали больше половины мест, а в губернском четыре пятых. Из членов уездных земских управ дворян было 45,8%, из членов губернских управ — 88,4%, среди председателей уездных управ дворяне составляли 88%, среди председателей губернских управ 99,1%, т.-е. выборные земские должности находились всецело в руках дворянства. Если к этому прибавить, что губернаторы, как и все крупное чиновничество, вербовалось главным образом из поземельного дворянства, то фактическое обладание дворянством властью едва ли подлежит дальнейшему доказательству.

„Объединенное дворянство, не имеющее права ни писать, ни издавать законы, тем не менее представляет собой наиболее полный выразитель общественного мнения страны", — не без гордости заявил в 1914 году Пуришкевич на дворянском съезде. Утверждая, что дворянство — лучший и наиболее полный выразитель общественного мнения, Пуришкевич хотел этим сказать, что правительство должно считаться и считается с этим общественным мнением. Так оно и было. Дворянство не имело права ни писать, ни издавать законы, но оно пользовалось такой силой, что по его указке законы издавались и по его воле творилась политика. Мы уже видели, что вся столыпинская земельная политика была продиктована объединенным дворянством. Об этой заслуге своей дворяне с удовлетворением заявляли не один раз. „Шесть лет тому назад мы, объединенное дворянство, — говорил на съезде 1912 года Павлов, — имея против себя, кроме улицы, массу сановных сильнейших врагов, установили общее положение о праве собственности, блистательно разрешили вопрос экономического строя деревни, утвердили это положение о собственности, и

через несколько месяцев услышали, что правительство идет параллельно с съездом". Но заслуги дворянства этим не ограничились. Объединенное дворянство добивалось разгона первой думы и его добилось. Еще в мае 1906 г. дворянство подняло вопрос об изменении избирательного закона, которым выбиралась дума; на съезде в ноябре того же года оно снова возбудило этот вопрос, единогласно признав, что избирательный закон должен быть изменен. В 1907 году, после разгона второй думы, закон был изменен согласно желаниям дворянства. Когда правительство задумало заняться реформой местных учреждений и, в частности, превратить крестьянскую волость во всесословную, дворянство выступило с протестом и сумело похоронить выработанный проект. Объединенное дворянство диктовало правительству его политику по отношению к высшей школе, к печати, к финляндскому, польскому, еврейскому вопросам и т. д. и т. д. Съезды объединенного дворянства (уполномоченных губернских дворянских собраний), регулярно собиравшиеся, были настоящими, властными „парламентами", они обсуждали все главные, острые вопросы, и правительство считалось с ними больше, чем с государственной думой, которая из повиновения отнюдь не выходила.

„Ни для кого из нас не составляет секрета, — говорил на дворянском съезде тот же Пуришкевич, — что объединенное дворянство в жизни России играет громадную, колоссальную роль". Секрета это, разумеется, не составляло, ибо такого „шила" в мешке не утаишь. Господство принадлежало дворянину-помещику как до 1905 года, так и после первой революции почти до последних дней самодержавия. До 1905 года сила дворянства покоилась на крупном его землевладении и на крепостнических пережитках, которые при кабальной зависимости крестьян позволяли ему царствовать в деревне. Революция 1905—1906 г. г. нанесла этим крепостническим остаткам сильный удар. Массовое крестьянское движение с „иллюминацией" помещичьих усадеб, с самовольным захватом земли, с разгромом помещичьих имений и, в особенности, с столь властным требованием земли и, прежде всего, земли помещичьей, — поколебало деревенскую „патриархальность" и заставило дворян собственной рукой задушить это свое детище. Ни своих, ни казенных земель дворянство крестьянам,

конечно, не отдало. Но оно пошло на уничтожение общины, на поощрение крестьянской земельной частной собственности — на дальнейшее развитие капиталистических отношений в деревне.

Вызвав этот дух разрушения патриархальных отношений, дворянство пыталось приспособиться к новым аграрным отношениям, удерживая вместе с тем то из „патриархальной" деревенщины, что еще можно было сохранить.

Как видим, дворянство не оставалось одним и тем же на протяжении хотя бы пореформенной эпохи, со времени падения крепостного права. Развитие капиталистических отношений в стране, рост крупной промышленности, усиливавшееся влияние промышленной буржуазии, разложение в деревне патриархальной старины, — все это подрывало силу поземельного дворянства. Подрывало, но окончательно еще не подорвало. Несмотря на все глубокие изменения, происшедшие в строе деревни, оставались еще широко распространенными и отработки и прочие крепостнические пережитки, свидетельствуя о продолжающейся силе дворянства. „Господство Пуришкевичей в нашей жизни, — писал Ленин в ноябре 1913 г., — другая сторона той же медали, которая в деревне называется отработками, кабалой, барщиной, крепостничеством, отсутствием элементарнейших общих условий буржуазного хозяйства". Пуришкевичи и держались крепко за свое господство, стремясь всячески избежать тупика, в который их загоняло капиталистическое развитие страны. Именно с целью удержать свое господство дворянство пошло на проведение в деревне буржуазно-аграрной политики, в надежде, что развитие частной земельной крестьянской собственности спасет дворянские земли. С этой же целью оно спешило укрепить самодержавный порядок, вдохновляя и поддерживая его в борьбе с революцией. С этой же целью оно готово было пойти на соглашение с другими общественными классами, разделить власть с которыми ему было выгоднее, чем лишиться совсем власти. К удовольствию дворянства и самодержавия на ловца бежал и зверь: перед красным призраком революции буржуазия сама шла на союз с помещиком, и, с своей стороны, подпирала самодержавную монархию, пока к этому представлялась малейшая возможность, спасая вместе с тем и поземельное дворянство от окончательного разложения.

III. Промышленная буржуазия и самодержавная монархия.

Первые десятилетия после падения крепостного права промышленный капитал находил вполне благоприятную обстановку для накопления и в условиях самодержавного строя, не мечтая ни о каких других порядках. Переход от крепостного труда к свободному содействовал быстрому росту в стране капиталистических отношений. Строились железные дороги‘ учреждались банки; накопленные в предшествующее время капиталы получали широкую возможность приложения в промышленности, накоплялись новые капиталы. Крестьянское малоземелье и пролетаризация деревни доставляли капиталу готовую рабочую силу, а закон предоставлял ему широкую возможность самой безудержной ее эксплоатации. Нарождавшаяся промышленная буржуазия чувствовала себя в этой обстановке, как рыба в воде, и сама она, как говорил Плеханов, дышала в то время жабрами, не испытывая никакой нужды в политической свободе, и тем более во власти.

С ростом промышленности и ее значения в строе народного хозяйства росла и сила промышленного капитала. Витте, бывший в 90-х годах прошлого века министром финансов и вдохновителем экономической политики правительства, вел энергичный курс укрепления силы капитала, вдохновляемый и поддерживаемый последним. „Исключительно земледельческие страны,— писал тогда Витте в докладе о государственной росписи,—по справедливости признаются более бедными, чем те, в которых народный труд находит разнообразное применение, создавая источники благосостояния. Но Россия, даже при нынешнем уровне ее промышленного развития, уже не может считаться страной исключительно земледельческой, так как ее фабрично-заводская промышленность уже и теперь выражается довольно крупными цифрами, и дальнейшее развитие ее материального благосостояния тесно связано с преуспеянием ее перерабатывающей промышленности“, а при таких условиях, — доказывал Витте, — „переустройство экономического уклада огромного государства вновь по типу сельско-хозяйственной страны было бы равносильно экономической катастрофе“. Признание, что „поощрением“ исключительно сельского хозяйства страна идет к катастрофе, было

признанием силы промышленного капитала, а индустриализация страны, которую Витте выдвигал в первую очередь, необходимо предполагала ограждение интересов капитала. „Всероссийское купечество“ занимает влиятельную позицию, скромные „Комитеты торговли и мануфактуры“ превращаются в предпринимательские организации, которые правительство все чаще зовет на совет. Образовавшиеся позже боевые организации промышленного капитала, как и объединявший их „Совет съездов представителей торговли и промышленности“, становятся в промышленной политике столь же влиятельными, как совет объединенного дворянства и прочие дворянские организации в области политики аграрной. Все правительственные проекты, касающиеся промышленности, в том числе по рабочему вопросу, предварительно обсуждаются промышленниками, голос которых приобретает все больший вес и требования которых, конечно, выполняются.

Промышленный капитал не довольствуется общей благоприятной для роста его экономической обстановкой, но требует особых мер защиты своих интересов. Мы увидим, что во внешней политике своей правительство шло навстречу желаниям капитала: продвижение на Дальний Восток и в Среднюю Азию открывало перед промышленностью новые рынки, сулило железнодорожное строительство и, стало быть, выполнение щедрых железнодорожных заказов, открывало районы промышленного сырья. Но проще всего капиталу было укрепляться „у себя дома“ — путем такого же „поощрения“, каким пользовалось поземельное дворянство. Государственная казна широко открывается для промышленников, им выдаются казенные заказы по высоким ценам, щедрые ссуды из государственного банка с нарушением даже закона, учреждаются благодетельные „конкурсы“ при банкротстве предприятий и т. д. Но, прежде всего, „поощрение“ сказывается в установлении высоких покровительственных пошлин, ограждающих промышленников от иностранной конкуренции и делающих их монополистами на внутреннем рынке. Правительство тем более охотно выполняло эти желания промышленников, что таможенные пошлины увеличивали доход казны, падая всей своей тяжестью на потребителя, который должен был оплачивать пошлины в высокой цене товаров. По высоте таможенного обложения Россия шла впереди всех капиталистических стран.

Если взять процентное отношение таможенной пошлины к сумме ввезенных из-за границы товаров, то окажется, что в России оно составляло в 1907 году 31% в то время, как в Соединенных Штатах оно равнялось 21, а в Германии — 8. Когда в 1891 году пересматривался общий тариф и устанавливались новые пошлины, промышленники вереницей, всякий, кому была не лень, ходатайствовали об ограждении их производств от иностранной конкуренции, и, разумеется, добивались успеха. Чугун, железо, уголь, хлопок, хлопчатобумажные ткани, машины вообще и сельско-хозяйственные в частности, всякого рода металлические изделия, сахар, как и многое другое, было обложено высокой пошлиной. Вся эта система всесторонне ограждала интересы промышленников, так как избавляла их от конкуренции заграничных товаров и держала на высоком уровне внутренние цены. С той же целью введен был возврат таможенных пошлин промышленникам, при вывозе многих изделий заграницу, и беспошлинный привоз иностранного сырья для изготовления товаров, вывозимых на внешние рынки. Первыми добились этой льготы хлопчатобумажные фабриканты в 1892 году, а затем они были распространены на ряд других товаров. Возврат пошлины нисколько не отражался на ценах внутреннего рынка, так как имел в виду исключительно производство товаров для вывоза, но давал промышленникам возможность сбывать товары по более низким ценам за границей и этим завоевывать внешние рынки. Система покровительственных пошлин в России, как и повсюду, отвечала самым существенным интересам капитала, и промышленники не без успеха отстаивали ее, настойчиво добиваясь все большего и большего повышения пошлин. Съезд горнопромышленников юга России в самом начале войны представил записку, в которой требовал повышения пошлин на сырье, доказывая, что „нам нужен русский фабрикат, выделанный из русского же сырья“. Печатный орган объединенных промышленников требовал, „чтобы ко времени окончания войны и свободного привоза к нам товаров из-за границы был поставлен барьер достаточной высоты от наплыва иностранных товаров“. Крупнейший банковский и промышленный деятель Хрулев, пользовавшийся авторитетом у промышленников, требовал поднятия таможенных ставок до предела запретительных пошлин, то-есть до такого

предела, когда ввоз иностранных товаров был бы совершенно затруднен.

К монопольному господству на внутреннем рынке промышленный капитал шел и путем организации ряда синдикатов. К довоенному времени все важнейшие отрасли промышленности оказались в руках синдикатов, которые могли вздувать цены, так как были монополистами на рынке. Правительство не принимало никаких мер к обузданию промышленников — оно не смело посягнуть на их интересы даже при вопле помещиков, которым также приходилось переплачивать во славу промышленного капитала.

Однако, и покровительственные пошлины и синдикатские организации не давали промышленной буржуазии всего, что ей нужно было, и чем более она вырастала, тем больше предъявляла требований. Нельзя также сказать, что победа доставалась буржуазии без борьбы. Поземельное дворянство было заинтересовано в торговле хлебом, и потому для себя требовало всяких льгот для вывоза хлеба, но, будучи потребителем произведений промышленности, оно выступало противником повышения пошлин, поднимавших цены. В своих домогательствах дворянство, в качестве основного, выдвигало положение, что Россия—страна сельско-хозяйственная, и поэтому все покровительство должно быть направлено в сторону сельского хозяйства, конечно — крупнопомещичьего, а не промышленности. Промышленники чувствовали на себе эту тяжелую руку, а поскольку правительство считалось с интересами дворянства, постольку интересы промышленного капитала вступали в противоречие с самодержавным порядком. Сказывались эти противоречия и во многом другом,—главным образом, в той системе полицейского засилья, которым был пропитан весь самодержавный порядок. Устарелое законодательство (акционерные компании могли, напр., возникать с разрешения правительства, а не в явочном порядке), канцелярская волокита, взяточничество, своеволие и произвол всяческого начальства, доходившее до самодурства, железнодорожные и всяческие иные непорядки, необходимость для собрания или съезда даже купечества получить предварительное разрешение, подневольное существование печати, в которой и об уряднике нельзя было отозваться непочтительно,—все это, разумеется, сдавливало промышленную деятельность, замедлило

накопление капитала, не давало той „свободы", какой требует капитал для невстречающей преград эксплоатации рабочей силы и потребителя. Изменить каждый из этих винтиков, как бы мал он ни был, значило разрушить всю государственную машину самодержавия, потому что вся она составляла одно целое, где каждый винтик должен был служить одному высшему закону—охранению „государственного и общественного порядка", при котором каждый чувствовал бы всю силу всяческого приставленного к нему начальства.

Эти противоречия между интересами промышленного капитала и самодержавно-полицейским порядком должны были рано или поздно толкнуть буржуазию на борьбу за буржуазную государственность — за буржуазную свободу. Впервые эти противоречия с наибо́льшей силой сказались в год русско-японской войны, когда затеянная правительством дальневосточная авантюра, небезвыгодная для торгового и промышленного капитала, закончилась разгромом русской армии, вскрывшим все внутренние непорядки и развал страны, придушенной бесправием. Вслед за прочими проснулась и буржуазия, за либеральными элементами которой пошли и промышленники. Отдельные группы и съезды промышленников в резолюциях и записках требовали „государственной реформы", участия народных представителей в управлении страной, конституции. Буржуазия готова была рукоплескать революционному подъему и предвкушала тот близкий момент, когда рухнет самодержавие и у власти станет она.

Но... „за спиной крупной буржуазии стоит пролетариат". Русская буржуазия эту историческую правду вполне наглядно познала в 1905 г. Рабочий класс вовсе не склонен был довольствоваться ограничением прав самодержца — он требовал созыва учредительного собрания, демократической республики, предъявлял широкую программу социальных требований, явочным порядком осуществлял не только свободы, но и восьмичасовой рабочий день. Выступившее под влиянием борьбы пролетариата крестьянство, еще не потерявшее окончательно веры в „царя-батюшку", окончательно, однако, разуверилось в „барине"-помещике и требовало помещичьей земли. Еще не дождавшись конституции, буржуазия должна была подумать о защите „священной собственности". Рука, потянувшаяся к власти, повисла в воздухе, — не надолго, впрочем, — чтобы затем

обратиться к тем, кто еще стоял у власти, и с кем можно было ее разделить.

Один за другим стали отпадать от пролетариата его случайные попутчики из рядов буржуазии. Царское правительство с умилением наблюдало это замешательство в рядах своих противников и ждало только того момента, когда созреет страх перед красным призраком, чтобы нанести удар революции. Когда 4 ноября 1905 г. совет министров обсуждал вопрос об аресте совета рабочих депутатов, то „хорошо осведомленные лица, — как рассказывает одно из них, — решающее значение усвояли за настроением рабочей массы и по ходу тогдашних событий высказывали опасение, что преждевременность ареста совета депутатов вызовет прямо обратное успокоению результаты и даже укрепит дальнейшее движение. Надвигавшиеся события давали возможность предугадывать, что рабочее движение, будучи направлено против промышленников и кровных их интересов, встретит отпор и неотвратимо станет падать от самой своей безрезультатности". Таким образом, правительство надеялось на то, что промышленники в защиту своих кровных интересов дадут отпор рабочему движению, а на этой подготовленной почве можно будет приступить к аресту и штаба революции — совета рабочих депутатов. Надежды правительства и стоявшего за ним контр-революционного поземельного дворянства полностью оправдались. Еще непосредственно после 9 января 1905 г. петербургские промышленники, а затем и другие, стали объединяться в боевые союзы для противодействия рабочему движению, солидарным отказом рабочим в удовлетворении их требований, отказом уплаты за дни забастовок, массовым локаутом, закрытием фабрики, т. д. И теперь, в решительные дни ноября 1905 года, промышленники оказали самую существенную помощь контр-революции: в ответ на требование рабочими восьмичасов. рабочего дня они объявили локаут и стали закрывать одну фабрику за другой. Десятки тысяч рабочих были выброшены на улицу, что не могло не внести осложнений в ход революционной борьбы пролетариата, а правительство дождалось желанного момента, чтобы, начав с ареста совета рабочих депутатов, перейти в решительное наступление. Об этой своей услуге, оказанной правительству, промышленники не забывали, готовые при случае повторить опыт 1905 года: в июне 1912 года,

с новым подъемом рабочего движения, депутация, отправленная к министру внутренних дел петербургским обществом фабрикантов и заводчиков с целью обратить его внимание на „тревожные симптомы забастовок“, напомнила министру „о той значительной роли, которую петербургское общество (фабрикантов и заводчиков) сыграло в смутную эпоху 1904—1906 г.г.“.

Эта роль была, разумеется, явно контр-революционная. Объединенный капитал оказался тем, чем только и мог оказаться,— одним из самых активных факторов подавления революции, а наступать на революцию и защищать свои интересы он мог лишь в союзе с теми, кто, прежде всего, призван был стоять на защите старого порядка — с поземельным дворянством. Солидарность их сказалась и на тех выводах, которые проистекали из разгрома революции, на основных вопросах внутренней политики. В декабре 1905 года от имени целого ряда предпринимательских организаций совету министров подана была записка об увеличении числа выборных представителей от промышленников в государственный совет, а аграрная политика намечалась запиской в таких выражениях: „Подъем благосостояния деревни может итти лишь тем путем которым и идет во всем мире, т.-е., с одной стороны, отвлечением излишней части земледельческого населения к промышленным и торговым занятиям, а с другой стороны, переходом сельского хозяйства ко все более и более интенсивным формам на почве замены общинного землевладения подворным“. Таким образом, промышленная буржуазия, как и поземельное дворянство, высказывалась за укрепление крестьянской частной земельной собственности с переходом на подворное, отрубное хозяйство. Переворот 3 июня 1907 года с разгоном второй думы и изменением избирательного закона был восторженно встречен как партией „октябристов“, объединявшей землевладельцев и промышленников, так и предпринимательскими организациями. Принимая в июне 1907 года делегацию промышленников, Столыпин „поздравил“ ее с новым избирательным законом, и промышленники, принимая это поздравление, заявили лишь, что желательно было бы выделить промышленников в отдельную избирательную курию, чтобы обеспечить этим надлежащее их представительство. Столыпинская земельная политика и столыпинская третьеиюньская Дума нашли свою опору в промышленной буржуазии, как и в поземельном дворянстве.

Союз помещика и капиталиста сохранился и на дальнейшее время. Это не значит, что устранились всякие противоречия между промышленной буржуазией и поземельным дворянством. Противоречия продолжали существовать, но перед угрозой рабочего движения и революции они притупились, и буржуазия стремилась к защите своих интересов на основе соглашения с помещиками, опасаясь ломки государственного порядка, предпочитая господство помещика, как меньшее зло, всем опасностям революции, которая несла с собой угрозу всему буржуазному порядку. Если временами разгул полицейщины и реакции слишком чувствительно бил по интересам промышленной бужуазии и она осмеливалась громко заявлять о своем недовольстве господством поземельного дворянства, то этот жар быстро остывал, как только вырисовывалась опасность нового подъема рабочей борьбы и угроза революции. Некоторая часть московских фабрикантов, в особенности, была падка на трескучие фразы. „Русскому купечеству,— заявил, напр., известный фабрикант Рябушинский на одном банкете в 1912 г.,— пора занять место первенствующего русского сословия, пора с гордостью носить звание русского купца, не гоняясь за званием выродившегося русского дворянства". Чего бы кажется, радикальнее? Русский дворянин выродился и место его должен занять купец. Но за этими громкими фразами не следовало и робкого шага, чтобы действительно сбросить с себя гегемонию поземельного дворянства, а вся практическая политика, напротив, покоилась на соглашении с помещиками и, в конечном счете, на поддержке самодержавной монархии. Мы увидим, что только в годы войны самодержавие оторвалось от своей опоры, но самая опора — соглашение между буржуазией и землевладельческим дворянством — сохранилась до революции, а в год революции расцвела в сплоченный боевой контр-революционный блок.

Поземельное дворянство и промышленная буржуазия составляли основную социальную базу самодержавия. В качестве господствующих классов они, так или иначе, привлекали к себе и другие буржуазные группы. Либеральная буржуазия, в рядах которой были некоторые элементы помещиков и промышленников, была настроена по отношению к самодержавию менее примиримо, чем умеренная промышленная буржуазия. Но и она исходила из того, что устранение самодержавного

порядка должно последовать в результате мирной, а не революционной, борьбы в государственной думе, соглашением с монархией. Революции либеральная буржуазия боялась не меньше, чем открытые союзники самодержавия, потому что и за ее спиной стоял пролетариат, который шел многим дальше не только в своей революционной активности и в способах борьбы, но и в требованиях, в стремлении к радикальной ломке социально-политических отношений. Перед красным призраком революции либеральная буржуазия искала союзников в рядах тех же помещиков и капиталистов, которые, как и она, были врагами революции. Наиболее ярко эта тактика сказалась в годы войны, но складывалась она еще до войны, и, если так называемый прогрессивный блок в государственной думе не образовался раньше, то виною тому была не либеральная буржуазия, а господствовавший союз промышленников и помещиков, которые не видели пока никакой нужды искать себе нового союзника в либеральной буржуазии.

IV. Россия в мировой войне.

Свою внешнюю, как и внутреннюю политику, царское правительство вело в соответствии с интересами господствовавших классов.

Русский капитал, торговый, и промышленный, уже издавна стремился к завладению внешними рынками. В особенности в этом были заинтересованы помещики, так как главным предметом вывоза за границу служил хлеб, которого в последний довоенный год (1913) было вывезено на 647 млн. руб., а все эти сотни миллионов рублей попадали в руки помещиков, крупных хлебных скупщиков, банков. Определяют, что излишек крестьянского хлеба, который мог поступать на рынок, составлял приблизительно немногим свыше 200 млн. пуд., хозяйства же помещиков производили приблизительно 500 млн. пудов. Конечно, в действительности крестьяне продавали хлеба многим больше, чем 200 млн. пуд., но от излишков продавало хлеб только ничтожное меньшинство крестьян, большинство же продавало по нужде, для уплаты налогов, податей и т. п., а затем само же вынуждено было покупать хлеб для потребления. О помещиках этого, разумеется, сказать нельзя: все их хлебное производство поступало на рынок, помещичий хлеб направлялся,

главным образом, за границу. Понятно, что помещики были заинтересованы в том, чтобы русский хлеб нашел себе широкий сбыт за границей и завоевывал новые рынки, так как этим обеспечивались более высокие цены хлеба и на внутреннем рынке. Но во внешних рынках были заинтересованы и промышленники. Правда, перед ними был обширный внутренний рынок, который один мог насытить аппетиты их, если бы аппетиты капитала не были безграничны. Промышленникам, понятно, было мало дела до того, получают ли крестьяне достаточно и по дешевой цене сахару, мануфактуры, железа, гвоздей и т. п. Они заинтересованы были, прежде всего, в высоких ценах, а цены могли быть тем выше, чем больше выбрасывалось товаров на внешние рынки,—также, конечно, по „сходной" цене. В меру возможной конкуренции с другими странами русские товары пробивались на заграничные рынки: вывозился сахар, мануфактура, каменный уголь, руда и т. д. Мы видели, что промышленники добивались возврата пошлин при вывозе товаров, а для вывоза сахара установлена была даже особая премия.

Пробивая дорогу капиталу, правительство вело активную внешнюю политику по разным направлениям. Если ограничиться более новым временем, то можно сказать что взоры его прежде всего направлялись по линии наименьшего сопротивления, туда, где можно было встретить относительно меньше противодействия со стороны других капиталистических держав Отсюда войны, которые велись за азиатские рынки, ближние и дальние, за пути в Среднюю Азию и на Дальний Восток, к Китаю и Великому океану. Но русский капитал был слишком слаб, чтобы использовать означенные рынки в такой мере, дабы не помышлять о других, а для хлеба эти рынки меньше всего были заманчивы. Кроме того, на азиатские рынки претендовали и другие капиталистические страны, которые были более сильны и влияние которых все усиливалось, так что России приходилось сдерживать свои аппетиты, в особенности после того, как в войне с Японией она понесла поражение. Взоры помещиков и промышленников, как и правительства, обращаются поэтому все чаще на Ближний Восток, на выход из Черного Моря в Средиземное — на этот торговый путь, столь благоприятный прежде всего для вывоза хлеба и продуктов горнозаводской промышленности, а за ними и других, на рынки более близкие и более

заманчивые. Задача здесь сводилась к тому, чтобы Константинопольские проливы были свободны, чтобы Турция не могла их закрывать для прохода судов, а наиболее прочным это мыслилось только в том случае, если Константинополь и проливы будут принадлежать России.

„Проливы в руках чужого государства означает подчинение всего юга России этому государству“, — писал в ноябре 1913 года министр иностранных дел в записке, поданной им Николаю II, а в другой записке министерство в начале мировой войны говорило: „Морской путь из Черного в Средиземное море представляет собою главную русскую торговую артерию, на свободном и спокойном функционировании которой, как на своей фундаментальной основе, покоится экономическое равновесие России. Безусловная безопасность этого торгового пути должна быть отечеству обеспечена при всяких обстоятельствах“. Открыто такого рода прозаические цели обслуживания интересов капитала не высказывались. Стремление к завоеванию Константинополя мотивировалось желанием упразднить „преграды“ между Россией и балканскими славянами да тем, что православным когда-то Царьградом завладели „нехристи“-турки. Когда во время войны, как мы увидим дальше, произошло некоторое замешательство между союзниками по вопросу о Константинополе, застрельщиком в требовании ясной постановки вопроса выступил съезд объединенного дворянства. „Захватывать чужое нам нет надобности, — говорил в 1915 г. на этом съезде Гурко, — но Царьград не чужой по отношению России, — Царьград, в котором совершенно незаконно утвердилась нация, которая на это не имела никаких прав, должен быть уступлен духовным наследникам Византии, а таким духовным наследником является несомненно русский народ“. Дело, таким образом, совершенно ясное: турки незаконно владеют Константинополем сотни лет, а прямыми наследниками византийских императоров являются... русские помещики и капиталисты. Съезд без колебаний принял поэтому следующую резолюцию: „Съезд, твердо уверенный, что великая мировая война завершится полным торжеством России и ее доблестных союзников, полагает, что одним из непременных последствий общей победы должен быть переход Царьграда в державное владение империи Российской. В народном сознании глубоко коренится

убеждение, что русскому царю, и никому иному, предопределено свыше, водворив крест на святой Софии, восстановить в его древнем величии вселенский престол восточной церкви, а жизненные интересы России настоятельно требуют владения Босфором и Дарданеллами при условиях, вполне обеспечивающих их постоянную защиту как с моря, так и с суши от всяких вражеских нападений“. Как видим, „жизненные интересы“ капитала скромно оказались на заднем плане, а на первое место выдвинуты столь убедительные доводы, как предопределенное царю самим господом богом водворение креста на константинопольском соборе. Таковы же были заявления всех прочих буржуазных партий — „война до победного конца“ означала, с их точки зрения, прежде всего, переход Константинополя в „державное обладание“ России.

Но этого стремления завоевать Константинополь было еще недостаточно для того, чтобы Россия могла начать войну. Мало ли чего ни хотелось русским империалистам! Сверх желания нужно было иметь силу, получить возможность диктовать свою волю другим, играть вполне самостоятельную роль в „концерте“ европейских держав. А на этот счет дела у русского империализма обстояли не совсем благополучно, ибо сам он находился в зависимости от европейских империалистов.

Обстоятельства сложились так, главным образом, благодаря тому, что иностранный капитал играл крупную роль в русской промышленности, а правительство было крупным должником того же иностранного капитала. Накануне войны задолженность России составляла почти 9 миллиардов руб., из которых львиная доля выпадала на задолженность Франции. Но иностранные капиталисты давали деньги не ради прекрасных глаз царских правителей,— они расчищали этим себе дорогу на русские рынки, в русские банки и русскую промышленность. Стремление господствовавших в мировом империализме сил к распространению своего влияния на другие страны находило для себя в задолженности России чрезвычайно благоприятную обстановку. Проникновение иностранного капитала в Россию происходило, главным образом, через русские банки, путем подчинения их европейскому финансовому капиталу. Так, в 1914 году сумма всех основных капиталов русских коммерческих банков составляла 585 млн. руб.,

из которых на долю тех банков, в которых преобладал иностранный капитал, приходилось 434 млн. руб. или 74,2% всей суммы основных капиталов — иначе говоря, почти три четверти банковских капиталов находилось в руках заграничных банков.

Но европейский финансовый капитал захватывал русские банки не для того, чтобы улучшить или удешевить внутренний русский кредит; как и у себя на родине, он стремился завладеть промышленностью, вкладывать свои капиталы в фабрики и заводы, установить свою монополию в промышленности. К этому и свелась на деле политика иностранного капитала. К началу мировой войны в области железной промышленности банковский капитал полностью распоряжался акционерными обществами, капитал которых составлял 81,3% всего акционерного капитала, вложенного в эту промышленность, при чем паровозостроительные заводы на все 100% были в руках банков, судостроение на 96% и т. д.; из этих банковских капиталов наибольшая часть приходилась на банки, действовавшие при главенствующем участии французского, бельгийского и английского капиталов, т.-е. банков Антанты, которым принадлежало 60,1% основного капитала всех акционерных предприятий, находившихся в распоряжении банковского капитала. В южно-русской каменно-угольной промышленности банковский капитал монополизировал 79,8% всего акционерного капитала, вложенного в эту промышленность, так что в его руках было 44,6% добычи угля по всей России и 63,1% добычи угля в Донецком бассейне; здесь главенствовал французский капитал которому принадлежало 95% всего акционерного капитала и больше половины (56,4%) всей добычи угля в Донецком бассейне. В нефтяной промышленности банковскому капиталу принадлежало 86% всех акционерных капиталов, вложенных в эту промышленность при 60% всей добычи нефти, главенство здесь принадлежало англо-французскому капиталу.

Уже из этих данных видно, как велико было значение иностранного капитала в русской промышленности. Все основные отрасли ее — железная с машиностроительной, угольная, нефтяная — по наиболее крупным и мощным предприятиям, так или иначе находились в распоряжении иностранного капитала, им финансировались и им направлялись. Отсюда проистекали последствия, отнюдь не маловажного свойства.

Иностранные капиталисты оказывались вдвойне заинтересованными в русских делах: с одной стороны, они давали правительству взаймы деньги, которые они с процентами должны были получить обратно, с другой стороны, они вкладывали свои капиталы в русскую промышленность, судьба которой, как и содержание экономической политики правительства, становилась для них, благодаря этому, далеко не безразличной. В связи с этим естественно возникал вопрос об обеспечении интересов иностранного капитала в России, а лучшим средством ограждения этих интересов было подчинение русской политики интересам тех империалистических стран, из которых притекал иностранный капитал. Вполне спокойным иностранный капитал мог чувствовать себя только тогда, когда как во внутренней, так и во внешней своей политике Россия не пойдет по пути, подрывающем интересы иностранного капитала, т. е. будет содействовать „союзному" империализму в сохранении и расширении им своего господства на мировых рынках. Разрешить эту задачу иностранному капиталу было тем менее трудно, что источник его заинтересованности в русских делах был вместе с тем источником его силы и влияния: стоило иностранному капиталу закрыть свой кошелек — и Россия оказалась бы перед финансовым крахом, стоило нажать кнопку — и отощали бы капиталы русских банков и главнейших промышленных предприятий.

Русская буржуазия, как и царское правительство, оказывалась в зависимости от той группы европейского империализма — англо-французского, — которая поставляла для России капиталы, и во внешней своей политике они далеко не были так свободны, как это им хотелось и как это они старались показать.

Мысль о Константинополе и проливах — а это составляло центр завоевательных планов во время мировой войны — никогда не покидала царскую Россию. Во время войны с Турцией русские войска подходили к Константинополю, но на Берлинском конгрессе 1878 г. всем завоевательным планам России был положен конец. Но это поражение не охладило воинственного пыла, и в 1897 г. был совершенно подготовлен захват верхнего Босфора при помощи десанта русских войск, план, не приведенный в исполнение, очевидно, в виду опасения столкновения с другими державами, в особенности

с Англией. По той же причине вопрос о Константинополе остается в области мечтаний, но не практической политики, и в течение ближайшего времени. Только в 1907 г., когда заключено было соглашение с Англией, в центре внешней политики России снова становится Константинополь, и при том не без поощрения со стороны английского правительства. В 1908 году английский посол дает понять русскому министру иностранных дел, что возможны „политические комбинации“ России и Англии на Ближнем Востоке. Этого намека было достаточно, чтобы в особом совещании, под председательством Столыпина, был поставлен вопрос о „военного характера мероприятиях двух государств“, т.-е. России и Англии, в Турции, результат которых содействовал бы осуществлению „исторических целей России на Ближнем Востоке“. Но особое совещание вынуждено было тогда отказаться от таких заманчивых планов, так как правительство было еще всецело поглощено борьбою с „внутренней смутой“ и опасалось, что в такой обстановке война может только приблизить революцию. „Новая мобилизация в России,— заявил Столыпин,— придала бы силы революции, из которой мы только что начинаем выходить. В такую минуту нельзя решаться на авантюры или даже активно проявлять инициативу в международных делах. Через несколько лет, когда мы достигнем полного успокоения, Россия снова заговорит прежним языком“.

И, действительно, по мере того, как наступает „успокоение“ и укрепляется реакция, развязываются и языки и руки русских дипломатов. В 1909 году заключено было соглашение с Италией, которая обязалась содействовать русским интересам в вопросе о проливах, а в 1911 — 1913 г.г. — во время ряда войн на Балканах — Россия неизменно поднимает вопрос о Константинополе и столь же неизменно терпит поражение. На притязания России в 1911 г. Англия отвечает, что „нынешний момент неудобен для возбуждения вопроса о проливах“ и к такому мнению присоединилась Франция. В 1912 г., во время турецко-болгарской войны, Франция выступила с проектом посредничества между воюющими сторонами, но в основу этого посредничества ставила „сохранение полностью суверенитета султана в Константинополе и окрестностях“, чем вопрос о праве России на Константинополь снимался с очереди. В 1913 г. в связи с ликвидацией балканской

войны Англия чуть ли не сама предлагала России поднять вопрос о проливах, но считала для этого необходимым предварительное соглашение с Турцией, т.-е. готова была регулировать вопрос о проливах с точки зрения своей, а не России. Словом, на протяжении всего этого времени, предшествовавшего мировой войне, не было недостатка в активности России, направленной в сторону Турции, как не было и недостатка в противодействии Франции и Англии, которым, в особенности последней, вовсе не улыбалось усиление России в Малой Азии.

Все эти дипломатические неудачи укрепили царское правительство в мысли, что получить Константинополь и проливы оно сможет только в случае общеевропейской войны, когда за услуги, оказанные другим, оно получит должное вознаграждение. Мысль эту определенно высказал министр иностранных дел Сазонов в ноябре 1913 года в докладной записке Николаю II: „Вопрос о проливах едва ли может выдвинуться иначе, как в обстановке общеевропейских осложнений; последние, если можно судить по нынешним условиям, застали бы нас в союзе с Францией и возможном, но далеко не обеспеченном союзе с Англией, или же доброжелательном нейтралитете этой последней“. Но и этот вывод был, в конце концов, подсказан России Францией: в 1912 г. Пуанкаре поставил в известность русское правительство, что „французское общественное мнение не позволяет правительству республики решиться на военные действия из-за чисто балканских вопросов, если Германия останется безучастной“, или, иначе говоря, ввязаться в войну, которая была связана с судьбой Балкан и Константинополя, Франция могла только в случае войны с Германией, т.-е. в случае общеевропейской войны. Этой надеждой и питалось царское правительство. Отсюда — все больше возраставшее в последние предвоенные годы влияние „военной партии“ на русскую политику, неослабевающий интерес государственной думы к вопросам обороны и щедрые ассигнования ее на военное судостроение, неослабевающая подготовка правительства к войне, сближение с Англией, готовность вступить в мировую войну, как только к этому представится повод. Франция и Англия искусно пользовались этим воинственным жаром русского правительства, чтобы подчинить еще больше царскую Россию

своему влиянию, приспособить к своим интересам не только внешнюю политику ее, но и военную подготовку.

Вслед за политическими договорами заключаются особые военные конвенции, предусматривающие военную подготовку и совместные военные действия России и союзников. Первая такая конвенция была заключена с Францией в 1892 г., а за нею последовали и другие, главнейшей целью которых было использование России на случай войны Франции с Германией. Конвенция 1906 г. устанавливала, что Россия и Франция в своих приготовлениях к войне должны иметь, главным образом, в виду Германию и вести борьбу с ней всеми находящимися в их распоряжении средствами. Бывший военный министр Сухомлинов рассказывает в своих воспоминаниях, что в 1912 г., во время переговоров с начальником французского генерального штаба Жоффром, было условлено „вести наступательную войну с неизменной целью победить Германию". „Русской армии в виду этого, — пишет Сухомлинов, — ставилась задача энергичным наступлением по кратчайшему направлению на Берлин ослабить противника, притянув на себя побольше германских сил". Таким образом, военная подготовка России, как и активность ее на случай войны, должны были иметь исключительной целью содействие военным планам Франции: сосредоточением главнейших сил против Германии Россия должна была принять на себя удары Германии, чтобы ослабить натиск последней на Францию.

Подготовляя подобного рода использование России на случай войны, союзники ее — Франция, а потом и Англия — добивались от правительства усиления вооружений и, ссужая его займами, ставили условием более энергичную подготовку к войне. На совещании начальников генеральных штабов Франции и России 1912 г. Жоффр начертил царскому правительству программу железнодорожного строительства, предусматривавшую сооружение ряда стратегических линий по направлению к германской границе, и программа эта в значительной части была выполнена. В 1913 году французское правительство, соглашаясь обеспечить России заем, ставило условием постройку стратегических железнодорожных линий и значительное увеличение русской армии в мирное время. Министр финансов Коковцев, который вел эти переговоры, писал в Петербург, что „охотно променял бы на кого угодно"

союзников — „настолько тяжело вести с ними переговоры по всем тем вопросам, которые не затрогивают их собственной шкуры“. Тем не менее, в погоне за деньгами царское правительство, зависимое от союзников, должно было согласиться на поставленные условия и принять на себя обязательство выполнить в четыре года, т.-е. к 1917 г., программу железнодорожного строительства. После заключения в 1912 г. военно-морской конвенции с Францией ставится также на очередь постройка новых морских судов, а в начале 1914 г. ассигновывается свыше 100 млн. руб. на „спешное усиление Черноморского флота в период 1914—1917 г. г.“. Насколько и в данном случае сказывалось давление союзников, показывает донесение начальника русского морского штаба вице-адмирала Русина о свидании его летом 1914 г. с Пуанкаре. Последний проявил крупный интерес к срокам окончания постройки новых русских судов: „тон его вопросов отличался требовательностью, он спрашивал, как начальник своего подчиненного, и не раз выказывал неудовольствие по поводу медленного, по его мнению, хода постройки линейных кораблей типа „Севастополь“; Пуанкаре требовал постройки быстроходных черноморских крейсеров, указывая, что Германия уже имеет подобные крейсера в Средиземном море.

Зависимое от англо-французского империализма, русское правительство тем более охотно шло навстречу этим домогательствам, что само питало завоевательные планы и рассчитывало при содействии союзников добиться своих целей. В итоге, при активной помощи Франции и Англии, Россия лихорадочно вооружалась с таким расчетом, чтобы быть готовой к войне в 1917 году. Когда же повод к войне представился на три года раньше, царское правительство недолго размышляло: ведь только в общеевропейской войне оно могло рассчитывать завладеть Константинополем и его проливами, как и осуществить все прочие свои завоевательные цели.

Но и вступив в мировую войну, царская Россия оставалась на положении силы, подчиненной англо-французскому империализму. Для Англии и Франции основные задачи войны состояли в разгроме Германии — этой задаче должна была служить Россия. Вопрос о том, что должна была получить Россия в случае победы Антанты, решался союзниками с точки зрения, разумеется, их интересов, которые далеко

не во всем совпадали с интересами правящей России. Особенно щедро наделяли Россию союзники обещаниями за счет земель Германии и Австрии — это, с одной стороны, вполне совпадало с планами разгрома Германии, а с другой — должно было поощрить Россию к решительной борьбе с австро-германской коалицией. Не так гладко обстояло дело с Константинополем и Азиатской Турцией — здесь интересы и английского и французского империализма были затронуты всего сильнее, но сюда и наши доморощенные империалисты всего более направляли свои взоры. Правительству приходилось поэтому уже в ходе войны настойчиво добиваться от союзников признания права России на Константинополь и проливы, но и достигнутые в этом отношении успехи все же представлялись довольно сомнительными.

В первое время, до вступления Турции в войну, правительство заговаривало о Константинополе в робкой форме, как бы опасаясь преждевременными требованиями рассердить своих покровителей. „Даже если мы победим, мы будем уважать независимость и неприкосновенность Турции“, — говорил министр иностранных дел Сазонов французскому послу в самом начале войны, добавив, что самое большее, чего потребует Россия, это — одинакового права для всех прибрежных государств Черного моря пользования проливами. Когда Турция вступила в войну, Сазонов все еще продолжал уверять французского посла, что Россия не намерена изгонять турок из Константинополя и что речь может итти лишь о „прочных гарантиях“ на проливах. Такое решение вопроса, конечно, ни в какой степени не отвечало истинным стремлениям царской России и поэтому правительство, в конце концов, прямо заявило о своих претензиях на Константинополь и проливы. Союзники отнеслись, однако, к этому с холодным равнодушием. Англия признавала, что вопрос о проливах и Константинополе должен быть разрешен „в согласии с Россией“, заявляя вместе с тем, что такое разрешение будет достигнуто только „после германского поражения“. Отсюда следовало, что если бы война закончилась не полным поражением Германии, то Россия должна была оставить все свои мечты о Константинополе. Все дальнейшие усилия русского правительства получить от союзников безоговорочное признание прав ее на турецкое наследство, успеха также сразу не

принесли. На ноту Сазонова, излагавшего требования России, Англия наставительно выразила свое удивление по тому поводу, что русское правительство просит „определенных обещаний“ относительно того, что „собственно является наиболее ценным приобретением всей войны“, в то время, как само английское правительство, якобы, еще не выяснило, „каковы будут при заключении окончательного мира его собственные пожелания в иных местах“. И Франция и Англия отстаивали сперва ту точку зрения, что формальное соглашение о Константинополе не может быть заключено „ранее окончательных мирных условий“, но затем, стремясь привлечь Россию к операции по прорыву Дарданелл, признали русскую точку зрения на Константинополь и проливы, однако „при условии, что война будет доведена до победного конца и при условии осуществления Францией и Англией *их планов на Востоке, равно, как и в других местах*“. Таким образом, Константинополь обещан был России только в том случае, если Германия будет разгромлена и если при этом союзники осуществят все свои „планы“ не только на Востоке, но и в каждой части света. Иначе говоря, судьба Константинополя ставилась в исключительную зависимость от решения союзников, ибо они, конечно, должны были сами оценить, когда и в какой мере удовлетворены их аппетиты и что из остатков можно уделить России. Царская Россия такому „соглашению“ подчинялась, так как выбора у нее не было, как не было и возможности не подчиниться силе англо-французского империализма. Союзники превосходно понимали это бессилие русского правительства. „Россия, это — подорванная держава, опирающаяся только на нашу помощь, и у нее нет другого выхода, кроме измены нам, а этого-то она не может сделать“, — писал Черчиль Грэю. Пойти на „измену“ — на сепаратный мир — правящие верхи России, как им этого ни хотелось, не осмеливались, а сверх того у них был только один выход — подчиниться воле более сильных.

С „подорванной державой“ можно было мало считаться и в других вопросах. Вступление в войну Румынии было выгодно для союзников, так как создавало новый фронт против австро-германских армий, но не было выгодно для России, потому что румынский фронт мог держаться только при содействии русских войск и на деле явился бы продолжением

русского фронта. При переговорах с союзниками Румыния условием своего выступления ставила обеспечение южной границы ее 250-титысячной русской армией, а в Лондоне Румынии обещали даже полумиллионную русскую армию. Начальник штаба верховного главнокомандующего Алексеев всячески противился планам Румынии, доказывая, что отвлечение семи корпусов на второстепенный румынский фронт ослабит главный фронт, и без того растянутый на 1.300 клм. Но против таких доводов союзники имели свои аргументы: они дали понять, что упорство России может заставить пересмотреть решение о Константинополе и проливах—и русское правительство смирилось. Извещая союзников о присоединении России к соглашению с Румынией, правительство ставило им на вид „огромные уступки и жертвы, которые оно сделало для успеха общего дела, вследствие настояний своих союзников“.

Не меньше трений вызвало вступление в войну Италии. Франция и Англия всячески добивались скорейшего выступления Италии в то время как Россия видела в Италии конкурента своего на Балканах, опасаясь усиления ее за счет, главным образом, Сербии. Но и Англия и Франция мало считались, конечно, с интересами, „подорванной державы“. „Грэй, — писал Сазонов русскому послу в Лондоне, — сумевший сразу твердо отклонить притязания Италии на области, ближе интересующие Англию и Францию, не только проявил необычайную уступчивость там, где в сокращении итальянских требований были заинтересованы мы, но даже, повидимому, не скрыл от итальянского посла, что препятствием к соглашению на этой почве служит лишь Россия“. Русское правительство, пытаясь играть роль самостоятельной силы, предъявляло свои условия для соглашения с Италией, но союзники просто не обращали на эти заявления внимания, игнорируя „подорванную державу“. Обвиняя во всем Грэя, Сазонов писал об этом русскому послу в Лондоне: „Статьи договора (с Италией) вырабатывались им (Грэем) вдвоем с Камбоном (французский посол) без нашего участия и сообщались мне, как окончательно принятые, при чем большей частью даже не делалось никаких попыток заставить римский кабинет согласиться на мои поправки“.

Нужно ли говорить, что, ссужая Россию во время войны деньгами, союзники старались по возможности облегчить свое

финансовое бремя и поэксплоатировать „подорванную державу"? Англия, в особенности, старалась, взамен отпускаемых России кредитов, выкачать из русского государственного банка золото в свой банк, чтобы этим удержать свой кредит на американском рынке. Во время совещания союзных министров финансов в Париже в октябре в 1915 г. Ллойд-Джордж категорическим условием открытия России кредитов ставил одновременную высылку ею золота, при чем развивал мудрую теорию, смысл которой состоял в том, что золотые запасы банков Англии, Франции и России должны составлять „как-бы общее их достояние". Вывод из такого признания общности золотых запасов не допускал, однако, такого положения, когда, напр., при уменьшении запасов золота в русском государственном банке запас этот пополнялся бы Англией и Францией. Ллойд-Джордж, напротив, требовал, чтобы золотые запасы Франции и Англии шли на пополнение убыли золота только в английском банке. Такая комбинация для русской казны, золотая наличность которой быстро уменьшалась, была, конечно, невыгодна, но Россия вынуждена была, в конце концов, согласиться и внести 40 млн. фунт. стерлингов за получаемый кредит в 300 млн. фунт. стерлингов. Характерно, что Франция приняла на себя также обязанность внести 40 млн. фунт. стер. золота, но ни одного сантима не внесла, так что первый год войны золотой запас Англии пополнялся исключительно Россией. Летом 1916 г., когда России потребовались новые кредиты, Англия снова выставила свои суровые условия: открытие кредитов ставилось в зависимость от одновременной доставки золота в двойном размере против соглашения 1915 года (40 млн. ф. ст. золота за кредит в 150 млн. ф. ст.). От кредитов на поддержание курса рубля на рынке Англия и Франция категорически отказались, указывая, что кредиты могут быть допущены только для нужд военной обороны и на платежи по русским заграничным займам, т.-е открыто признавали, что их интересует русское пушечное мясо и русское золото, но не поддержание государственного кредита России. Если союзники и согласились на предоставление некоторого кредита для поддержания курса рубля, то делали эту уступку, как и в других случаях, исключительно с целью покрепче привязать к себе „подорванную державу", заставляя ее в основном служить задачам англо-французского

империализма. Поэтому же, провозглашая на словах общность экономических интересов союзников, и Англия и Франция старались не упустить случая, чтобы, пользуясь тяжелым бременем войны, поставить от себя Россию еще в большую экономическую зависимость. Когда в 1916 г. русское правительство подняло вопрос об открытии ей кредитов не для военных только целей, но и для нужд промышленного оборота, Франция, соглашаясь на кредиты, потребовала, чтобы половина задолженности России, какой она определится ко времени заключения мира, была оплачена русскими товарами (хлебом, лесом, спиртом), которые Россия должна заготовить как во время войны, так и по заключении мира и доставить Франции. Условие это было совершенно кабального свойства, так как, во-первых, кредиты обеспечивались доставкою товаров, а, во-вторых, вывоз хлеба, леса и спирта по окончании войны должен был доставить России золото (валюту), а, заранее обязываясь поставлять эти товары в уплату по долгам, она лишалась и по заключении мира возможности восстановить курс своего рубля и обрекалась на финансовое банкротство. Русскому министру финансов пришлось отвергнуть эти условия, но и кредитов на невоенные нужды Россия от союзников не получила.

В конечном итоге весь этот нажим и деньгами и территориальными „компенсациями“ направлен был к тому, чтобы осуществить главную цель всех предшествовавших войне соглашений — заставить русскую армию служить делу защиты Франции и ее западных союзников от германских войск. Уже в самый момент объявления войны Франция запрашивает о сроке начала наступления России на Германию, заявляя, что „наиболее желательным для французов“ направлением удара является Варшава — Позен, т.-е. направление на Берлин. Этого же союзное командование непрестанно добивается от России, хотя планы русского командования сводились к наступлению на более слабую австрийскую армию. После первых поражений французов последние в особенности энергично требуют вторжения русских войск в Германию и движения на Берлин со стороны Варшавы. Русское командование подчиняется этому требованию, несмотря на то, что одна из армий, предназначенных к этой операции (генерала Самсонова), совершенно не была для этого подготовлена. Как известно,

в результате этого похода в Восточную Пруссию русская армия была разгромлена — благодаря подстрекательству союзников и преступной безответственности царского правительства погибло 110 тыс. человеческих жизней во славу Франции, от границ которой были оттянуты некоторые германские армии. Но союзникам и этого было мало. Использовав отвлечение германских войск на русский фронт, французы перешли в наступление на Германию, но, бессильные нанести ей поражение, требовали повторного похода русских на Берлин, только что закончившегося катастрофой. По требованию своего правительства французский посол в Петербурге настаивал „на немедленном наступлении русских войск в Германии". Военному министру посол ставил категорический вопрос: „через сколько дней армии районов Немана и Нарева будут способны возобновить движение вперед?" Русское командование, подчиняясь давлению союзников, идет на новую авантюру, предпринимает поход на Берлин, который столь же скоро заканчивается новой, лодзинской, катастрофой, стоившей сотни тысяч человеческих жизней. К этим потерям России ее союзники относились вполне равнодушно, не предпринимая, с своей стороны, решительных действий. Когда наступление русских войск в Карпатах закончилось их отступлением и, таким образом, Россия потерпела поражение и на том фронте, который она считала главным, русское командование указало союзникам на необходимость помешать переброске германских сил на русский фронт, ускорить выступление Италии, усилить снабжение русской армии снарядами, ружьями и патронами. В ответ Жоффр восхвалял „великолепное усилие южных русских армий", „прекрасную страницу ее славы" и т. д., а по сути дела, при всяком удобном случае, союзники требовали нового наступления русской армии и большего отвлечения ею на себя германских сил. Такие требования предъявлялись в 1915 г. во время разгрома сербов, в период атаки германцами Вердена, в 1916 г. для облегчения итальянской армии, когда предпринято было наступление в Луцком районе, потребовавшее бесчисленных жертв, при вступлении в войну Румынии, когда русские войска должны были поддерживать румынский фронт, и т. д. В декабре 1915 г. на совещании союзников в ставке Жоффра предложение представителя России генерала Жилинского начать одновременное наступление

встретило „сильнейшее“ противодействие. „Главное дело в том,— докладывал Жилинский своему начальству,— что в самом Жоффре я подметил желание, чтобы будущей весной Россия первая начала наступление, и я боюсь, чтобы он не стал потом выжидать и при доказанной его медлительности, он не растянул промежутки между началом наступления нашей и французской армии“. Во все первые годы войны Англия и Франция предпочитали стоять на месте, втягивая в войну одного нового союзника за другим и обхаживая Соед. Штаты, на помощь которых возлагалась главная надежда. А пока со всех сторон давили на Россию, добивались от нее „активности“, стремясь к тому, чтобы бесчисленные жертвы русских солдат оттягивали на себя удары Германии и тем спасали от разгрома западный фронт войны.

А царское правительство, разумеется, с этими жертвами не считалось и гнало на убой миллионы рабочих и крестьян. Определяют, что Россия за время войны потеряла убитыми, причисляя к ним умерших от ран, окончательно искалеченных и пропавших без вести,— $2^1/_2$ млн. человек, в то время как соответствующие потери для Франции составляют 1.400 тыс. и для Англии 800 тыс. человек, при чем нужно думать, что потери России многим больше, так как подсчеты велись союзниками более точно, чем у нас. Если исчислить эти потери по отношению к общему числу довоенного населения каждой страны, то окажется, что на каждую тысячу душ населения Россия потеряла убитыми 14 человек, Франция 17, а Англия 1,8; относительно большие потери Франции объясняются тем, что она участвовала в войне до конца и в последний период войны ей почти исключительно наносились удары Германией, но безошибочно можно сказать, что до выхода России из войны потери ее и абсолютно и относительно занимали первое место среди потерь ее союзников, как и первое место занимала она по численности армии. Всего от начала войны к лету 1917 г. Россия мобилизовала около 18 млн. человек, в то время как вся Антанта, включая и Соединенные Штаты, мобилизовала 21 млн. человек. К лету 1917 года Россия выставила на все фронты $10^1/_2$ млн. человек, а все союзники вместе 7.250 тыс. человек. Если исчислить потери убитыми по отношению к числу мобилизованных, то окажется, что одна Россия потеряла не менее $^1/_7$ их части, а все союзники, вместе

взятые, потеряли приблизительно столько же, во всяком случае не на много больше. Мы можем поэтому довериться компетентному свидетельствованию Сухомлинова, когда он пишет о „симпатии“ союзников к России, что „то была исключительно спекуляция на русском пушечном мясе“.

Русский империализм тащился в хвосте империализма англо-французского. Бессильный сам по себе осуществить свои захватные цели, сталкиваясь повсюду с сильными соперниками, он ищет могущественных союзников, от которых ждет помощи к распространению своего влияния на Запад и на Восток. Союзники умело пользуются царской Россией, заставляя ее тащить для себя каштаны из огня и служить защите их интересов. То, что мы наблюдаем теперь, по окончании войны, когда победители не могут поделить своей наживы и рассчитаться по военным долгам, наседая, кто посильнее, на более слабого,— имело место по отношению к России уже во время войны. Союзники, говоря по-просту, водили за нос царскую Россию, обещая ей Константинополь и проливы, Галицию и Восточную Пруссию, по-ростовщически снабжали ее деньгами, зарабатывали на военных поставках ей, распоряжались ее военными заказами за границей, заставляли русскую армию, не считаясь с ее возможностями, наступать всякий раз, когда это нужно было для защиты союзнических армий. На это шло царское правительство, и не оно одно. Все, кто кричал о „войне до полной победы“, кто требовал „освобождения славян“ и Константинополя, кто вопил „о верности союзникам“—а это, помимо дворянства, была сплошь вся буржуазия без различия политических оттенков—все они дружными усилиями привели страну к тому, что она стала безвольной игрушкой в руках империалистов Англии и Франции, что во славу империализма разрушалось народное хозяйство и миллионами жизней исчислялись жертвы трудящихся масс России. В неслыханные бедствия мировой войны ввергло Россию не только царское правительство. Войну с воодушевлением приветствовало все дворянство и вся буржуазия в надежде из „подорванной державы“ сделать „великую Россию“, утверждающую свое господство на Балканах и в Малой Азии. Этой империалистической „амбиции“ не соответствовала, однако, наличность „амуниции“, и вместо грозной роли завоевателя мира царской России пришлось играть менее

почетную роль прислужника англо-французского империализма и вместо „полной победы“ получить поражение до полного крушения старого порядка.

V. Война и развал страны.

Война всегда и всюду приносит с собой разрушение. Она уничтожает не только человеческие жизни и не только поглощает громадные средства, затрачиваемые на изготовление снарядов и прочих орудий истребления. Война нарушает правильное течение экономической жизни, приводит к кризису промышленности и сельского хозяйства, расстраивает денежное обращение. Она разваливает производительные силы воюющих стран, в корне обессиливая все их народное хозяйство. И это разрушительное действие войны тем более глубоко и грозно, чем менее крепки производительные силы страны и чем меньше противодействия могут они оказать разлагающему влиянию войны.

В царской России правительство и господствующие классы хищнически расточали производительные силы, не помышляя об их укреплении и развитии. Громадный бюджет государства, достигший в 1913 году почти 3½ миллиардов руб. (3.431 миллиард дохода и 3.383 млн. расхода), строился на обложении малоимущих слоев населения, на перекачивании средств из их тощих карманов в казну с помощью косвенных налогов. Так, в 1913 г. доход казны от продажи казенной водки составил 28% всего дохода и от косвенных налогов— 20,7%, так что, в общем, почти половина всех государственных доходов оплачивалась, по преимуществу, малоимущим потребителем, при чем косвенные налоги на душу населения, включая доход от продажи водки, составляли в год 4 р. 51 к., а доход казны от одной только продажи водки—5 р. 32 коп. за душу. Это выкачивание средств из малоимущего населения, в связи с общей политикой правительства, приводило к падению производительности народного труда и к замедленному росту производительных сил страны. Экономическая политика правительства сводилась ко всякого рода воспособлениям и подачкам помещикам и капиталистам, совершенно игнорируя самые насущные нужды трудовых масс, которые обречены были работать на других, обеспеченные лишь в полуголодном

существовании. Дворянство и буржуазия, с своей стороны, хищнически эксплоатировали природные средства страны и ее трудовую силу. Мы видели, что поземельное дворянство держало в экономической зависимости от себя крестьянскую массу: кабальные формы земельной аренды, испольщины и т. п. держали крестьянское хозяйство на крайне низком уровне. Фабриканты и заводчики, под защитою таможенных пошлин и щедрых казенных заказов, могли взвинчивать цены, наживаться и мало думать о техническом усовершенствовании производства; той же цели служили всякого рода синдикаты, устанавливавшие монополию в различных областях промышленности, а предпринимательские боевые союзы, прибегавшие к самым жестоким мерам борьбы с рабочим движением, давали капиталу возможность неограниченной эксплоатации рабочей силы. Конечно, и на Западе буржуазия меньше всего заботилась о народном благосостоянии. Но крупное капиталистическое производство там достигло высокого технического усовершенствования, благодаря чему промышленность приобретала большую сопротивляемость разрушающему влиянию войны. В России рост промышленности и укрупнение предприятий, стягивавших тысячи рабочих, не сопровождалось столь же значительным техническим прогрессом, а развитие производительных сил замедлялось в разлагающей атмосфере „поощрения" промышленников путем высоких таможенных пошлин и льготных казенных заказов. Если мы обратимся к основным производствам, характеризующим силу капитализма, то увидим, что в предвоенные годы из всей суммы акционерного капитала, вложенного во всю промышленность, на долю машиностроения приходилось всего $5^0/_0$, на металлургическую и металло-обрабатывавшую промышленность—$6{,}7^0/_0$, каменноугольную и рудную—$8{,}7^0/_0$, нефтяную—$9{,}2^0/_0$, на электротехнические заводы (с предприятиями электрической энергии и освещения)—$3{,}7^0/_0$, всего $33^0/_0$. Все эти основные отрасли производства поглощали, таким образом, меньшую часть капиталов, при чем на добычу сырья и топлива приходилось больше, чем на обработку металлов и производство машин. Если взять первое десятилетие XX века, то окажется, что с начала его (1900 г.) до конца (1908 г.) общая сумма производства по всем отраслям промышленности увеличилась на $44^0/_0$, число механических двигателей повысилось на $20^0/_0$, и сила этих двигателей, измеряемая

в лошадиных силах — на 41%, при чем, однако, наибольшее усиление механических двигателей приходится на пищевые производства и химическую промышленность, затем на текстильные производства и в меньшей мере на металлическую промышленность, т. е. рост крупного машинного производства замедлялся в основной капиталистической группе. Не удивительно после этого, что по многим признакам Россия отставала от передовых капиталистических стран. Если в Германии, напр., на душу населения приходилось 17,5 пуда чугуна, то в России всего—1,6 пуда, стали в Германии—15,9 пуд., в России—1,3 пуда; каменного угля в Германии добывалось 17 млн. пуд. в год, в России—2,2 млн. п.; нефти в Соединенных Штатах—1.854 млн. пуд., в России—559 млн. пуд.; железных дорог на каждые 100 кв. верст и 10 тыс. жителей в Германии приходилось 10,2, во Франции—10,8, в Англии—10 и в России—2,3 версты и т. д. Несмотря на значительный рост промышленности, как раз в предвоенные годы, России еще далеко было до передовой промышленной страны и промышленность ее не была в состоянии как следует удовлетворять запросы населения.

Не лучше обстояло дело и в сельском хозяйстве. Как мы упоминали выше, переход к высшей, к более технически совершенной обработке земли стал замечаться только после 1905 года и не успел до войны приобрести сколько-нибудь широкого распространения; крестьянские земли, да и большинство земель помещичьих, обрабатывались по старинке, земля не получала рационального одобрения, истощалась, неудача погоды неизбежно вела к неурожаю и голоду. При громадной земельной площади и при значительном общем производстве хлебов (из 19 миллиардов пудов мирового производства хлебов на долю России приходилось 4,1 мрд. пуд., т. е. почти 25%), по урожайности Россия занимала последнее место среди прочих стран: так, урожай 1 дес. ржи и пшеницы составлял в Англии—186 п. и 141 п., в Германии—121 п., во Франции — 102 пуд. и 88 пуд., в Соед. Штатах — 65 пуд., в в Сербии 55 и 66 пуд., России 52 п. и 42 п. Видное место на мировом хлебном рынке Россия занимала не благодаря высокой производительности ее сельского хозяйства, а исключительно благодаря необозримым полям ее, орошаемым потом и кровью крестьянства.

Война сразу вскрыла все слабые стороны народного хозяйства России: мнимое финансовое благополучие государства, отсталость сельского хозяйства, слабость промышленности, недостаточность железнодорожной сети и плохое ее оборудование и т. д. Под ударами войны народное хозяйство с каждым месяцем приходило все к большему и большему развалу.

Война требовала, прежде всего, денег и денег. По официальным данным, расходы, связанные с войною, составили до 1 января 1917 г. 27,1 миллиарда рублей. Каждый день войны стоил в 1915 г. 25,7 млн. рубл., в 1916 г. — 41,7 млн. рублей. Откуда брались на это деньги? Обычные доходы государства не только не могли покрыть военных расходов, но не покрывали и обычных расходов. Правда, по официальным данным выходило так, что, если не считать военных расходов, то по росписи оставался даже избыток; достигалось такое бухгалтерское благополучие благодаря тому, что в расходы, связанные с войной, вносили такие, какие, в действительности не были прямо с ней связаны (содержание армии по мирному ее составу и уплата процентов по новым краткосрочным обязательствам). Если этого рода расходы включить в обычные расходы, тогда окажется, что по росписи за 1914 г. получился (приблизительно) дефицит в 430 млн. руб., по росписи за 1915 г. — дефицит — 509 млн. руб. и за 1916 г. — дефицит 82 млн. руб. Если к этим дефицитам прибавить недостаток по каждому году средств по расходам на войну, тогда окажется, что в 1914 году дефицит составил 2 с лишним миллиарда рублей, в 1915 г. — 9,3 миллиарда руб., а в 1916 г. — 14,6 миллиард. руб., т. е. дефицит равнялся приблизительно четырем годовым бюджетам государства.

Эти десятки миллиардов нужно было получить со стороны и они получались прежде всего путем займов. Задолженность государства за время войны нарастала катастрофически: к 1 января 1914 г. долги России равнялись 8,8 миллиард. руб., к 1 января 1915 г. — они увеличились до 10,4 мрд. руб., к 1 января 1916 г. — до 18,8 мрд. руб., а к 1 января 1917 г. — до 33,5 мрд. руб., т. е. за $2^1/_2$ г. увеличились почти в четыре раза. Займы делались и краткосрочные и долгосрочные, и внутренние и внешние. Союзники, как мы уже упоминали, предоставляли России кредиты, так что по всем военным заказам за границей и срочным обязательствам правительство

расплачивалось этими кредитами, а большая часть заказов непосредственно оплачивалась Англией за счет, конечно, России. Чтобы составить представление о том бремени, какое задолженность эта налагала на население, достаточно сказать, что на рабочую или крестьянскую семью из 5 человек приходилось долгу до 1.200 руб., а с процентами по займам — свыше 1.500 руб.

Но и этих колоссальных средств вместе с обильными доходами государства, нехватало на покрытие расходов по войне. Военные расходы с каждым днем возрастали и с каждым днем требовалось все больше и больше денег. В мирное время в обращении находились, наряду с золотой монетой, бумажные деньги, обеспеченные золотом, которое в определенной сумме хранилось в запасе, так что всегда можно было обменять бумажные рубли на золотые. С наступлением войны золотой запас понадобился для других целей — для расплаты за границей, для закупки иностранной валюты и т. п. Поэтому с самого начала войны был прекращен обмен бумажных денег на золото и бумажный рубль золотом больше не обеспечивался. Этим самым открылась широкая возможность выбрасывать в обращение все больше бумажных денег, чтобы этим покрыть нужду в последних. А так как денег требовалось все больше и больше, то и печатные станки работали все сильнее и сильнее. К началу войны в обращении находилось бумажных денег на 1.633 млн. руб., к концу 1914 г. их было уже 2.947 млн., к 1 января 1916 г.—5.616 млн., 1 января 1917 г.—9.103 млн. руб. В военные месяцы 1914 г. в среднем выпускалось бумажных денег на 232 млн. руб., в 1915 г. в среднем в месяц — 212 млн. руб., в 1916 г.— 290 млн. руб. В особенности бурно несся поток бумажных денег в 1916 г.; в июне, напр., их было выпущено на 249 млн. руб., в октябре на 496 млн. руб., в декабре на 720 млн. руб.; в первые два месяца 1917 г. их было выпущено на 850 млн. руб. Другого выхода перед царским правительством не было, потому что в своей финансовой политике оно возлагало все налоговое бремя на трудовые массы, всячески щадя помещиков и капиталистов. Даже в годы войны правительство прежде всего увеличивало косвенные налоги (был увеличен налог на сахар, табак, нефтяные продукты, дрожжи, введен был налог на чай, на перевозки по железным дорогам и т. д.); подоходный налог в

слабых ставках был введен только в 1917 г., а в 1916 г. был введен налог на прирост прибылей торгово-промышленных предприятий и на доход от личных промысловых занятий, также малочувствительный для тех крупных торговцев, промышленников и землевладельцев, которых нужно было прежде всего обложить налогами. Благодаря такой финансовой политике нигде выпуск бумажных денег не получил таких размеров, как в России: в то время, как к октябрю 1917 г. у нас было выпущено их на 14 мрд. руб., Англия выпустила их всего на 1,8 мрд., Франция на 6 мрд., Германия на 5 мрд.

Громадный выпуск бумажных денег приводил к обесценению рубля как на внутреннем, так и на международном рынке. В мирное время фунт стерлингов равнялся приблизительно 9 р. 50 к., в самом начале войны цена фунта сразу поднялась до 12 р. 50 к., т.-е. цена рубля пала, а к концу февраля 1917 г. за фунт стерлингов платили 17 р., т.-е. рубль упал до 55 коп. На внутреннем рынке падение ценности рубля означало повышение товарных цен, усиление дороговизны, принявшее в особенности катастрофические размеры в связи с развалом всего народного хозяйства, принесенным войною.

Под влиянием войны промышленность должна была радикально перестроиться. Армия и фронт требовали орудий, снарядов, амуниции, и поэтому многие предприятия, обычно работавшие на рынок, стали переходить на изготовление всякого рода военных припасов. Металлические заводы приспособлялись к производству ружей, орудий и снарядов, текстильные фабрики к производству тех сортов сукна и тканей, которые нужны были армии и которые раньше производились только немногими из предприятий. Такое изменение в строении промышленности должно было привести к сокращению производства предметов широкого потребления и к увеличению производительности военной промышленности. Однако, если первое, в действительности, сократилось, то и вторая не избежала, в конце концов, той же участи. Для того, чтобы военная промышленность и связанные с ней отрасли производства могли работать без перебоя, требовалась наличность достаточно квалифицированной рабочей силы, сырья, топлива, технического оборудования, сколько-нибудь нормальная работа железных дорог и т. д. Но именно всего этого не было, и вся

промышленность, работавшая на оборону, как и на рынок, оказалась в состоянии глубокого развала.

Мы видели, что в России было мобилизовано до 18 млн. человек, что составляло приблизительно до половины всей наличной рабочей силы в самом цветущем возрасте. И сельское хозяйство и промышленность сразу лишились привычной рабочей силы. Чтобы ослабить ущерб от отвлечения от фабрик квалифицированных рабочих, были установлены отсрочки по призыву в войска рабочих, занятых в предприятиях, которые работали на оборону. Но отсрочки не применялись настолько широко, чтобы разрешить вопрос о рабочей силе, и промышленники не раз тщетно возбуждали ходатайства о возвращении рабочих с фронта на фабрики. Кроме того, отсылка на фронт применялась правительством в качестве репрессии при стачках, так что очень часто были случаи, когда рабочие, получившие отсрочку, призывались в войска за участие в забастовках. В связи со всем этим число квалифицированных либо привычных рабочих сильно сократилось и место их занимали свежие рабочие, раньше не работавшие, благодаря чему и производительность труда понижалась. Это понижение производительности труда не могло быть возмещено техническим улучшением производства, так как машиностроение было в России развито слабо, а с возникновением войны сократился привоз машин из-за границы. Сократился также привоз всякого сырья, падала добыча каменного угля. Железные дороги, слабо оборудованные, были загружены перевозкою войск, военных припасов и продовольствия для армии, и грузы, необходимые для промышленности, залеживались, либо совсем не могли дойти до места назначения. Так одно связывалось с другим, разрушение одного звена в сложном народно-хозяйственном сцеплении приводило к потрясению всего строя народного хозяйства, которое к тому же обладало малою сопротивляемостью и по своей устойчивости меньше всего могло осилить хаос, рожденный войною.

Чтобы дать представление о состоянии промышленности в годы войны, остановимся на некоторых отраслях производства.

Начнем с каменноугольной промышленности. Общая добыча угля, с отпадением Домбровского района (в Польше), занятого в 1915 г. немцами, из года в год падала: в 1913 г. было,

добыто 2.199.349 т. п., в 1914 г. — 2.181.637 т. п., в 1915 г.— 1.919.496 т. п. и только 1916 г. дал небольшое повышение добычи —2.096.194 т. п. Однако, если исключить добычу Домбровского района, то получится повышение добычи по всем прочим районам: в 1913 г. в них было добыто 1.773.039 т. п., в 1914 г.—1.950.627 т. п., в 1915 г.— 1.916.496 т. п. и в 1916 г.— 2.096.194 т. п. Этот рост добычи угля приходился, конечно, на счет крупнейшего Донецкого бассейна, в котором было добыто: в 1913 г.—1.543.790 т. п., в 1914 г.—1.683.780 т. п., в 1915 г.—1.626.580 т. п. и в 1916 г.—1.743.896 т. п.

Если судить по этим цифрам, можно прийти к заключению, что с минеральным топливом дело обстояло благополучно и каменноугольная промышленность не переживала тяжелого времени. Но это не так. Повышение добычи в Донецком бассейне достигалось, главным образом, увеличением числа рабочих. Если в последний предвоенный месяц число рабочих составляло в Донбасе 203 т. чел., то к концу июля 1914 г. оно сразу упало до 137 тыс. Принятыми мерами к концу 1914 года число рабочих было доведено до 205 тыс., в начале 1915 г., в связи с мобилизацией, снова пало до 155 тыс., но затем опять начало подниматься, достигнув к концу 1915 года 205 тыс., к концу 1916 г. — 291 тыс. Но рабочая сила, в виду массовых мобилизаций, пополнялась пленными, китайцами, персами, женщинами и подростками (в 1916 г. военнопленных работало около 45 тыс., женщин около 12 тыс., подростков с малолетними 17 тыс.) и вообще рабочими, раньше в копях не работавшими. Привлечение такой новой и малопригодной рабочей силы не могло не сопровождаться понижением производительности труда: во второе полугодие 1914 г. средняя месячная производительность одного рабочего составляла 757 п., в первом же полугодии 1916 г. она пала до 656 п., а к концу 1916 г. понизилась еще больше. Увеличение общей добычи, достигавшееся повышением числа рабочих, приводило, при понижении производительности труда, также к ухудшению качества угля, благодаря недостаточно умелой его отборке и добыче.

Но самое существенное состояло в том, что, несмотря на повышение добычи в Донецком бассейне, общее количество добываемого угля, благодаря отпадению Домбровского района все же значительно понизилось, не будучи в состоянии

полностью покрыть спрос, а железные дороги не были в состоянии доставить топливо не только для промышленных предприятий, но и для собственной надобности. Так потребление железными дорогами донецкого топлива увеличилось с 320 м. п. в 1913 г. до 581 м. п. в 1916 г., но одновременно увеличилось потребление нефти (с 164 млн. п. до 247 м. п.) и даже дров (с 117 м. п. до 179 м. п.), т.-е. несмотря на более усиленное потребление угля, его было недостаточно и он заменялся нефтью и дровами. Вместе с тем, более усиленное потребление дорогами угля шло не столько за счет постоянного привоза нового угля, сколько за счет старых его запасов: так, в декабре 1916 г. потреблено было топлива 63 м. п., а привезено было 44 м. п., т.-е. 22 м. п. было взято из запасов, так что дороги оставлялись с запасом угля всего только на две недели. Еще хуже обстояло дело с другими потребителями топлива, в особенности тех, которые не работали на оборону: им было недовезено из Донецкого бассейна в 1916 г. около 100 м. п., т.-е. 25% их потребности в угле.

Металлургическая промышленность в военные годы дала, по сравнению с мирным временем, значительное понижение производства. Производство чугуна, составлявшее в 1913 г., 297 м. п., упало в 1916 году до 231 м. п. Число действующих доменных печей с 140 в 1913 г., уменьшилось до 115 в 1916 г., а число бездействующих повысилось с 21 до 36. Соответственно уменьшилось производство металлических полупродуктов и готовых продуктов: производство первых сократилось с 263 м. п. в 1913 г. до 260 м. п. в 1916 г., вторых с 219 м. п. в 1913 г. до 205 м. п. в 1916 г. Из общей потребности в 241 м. п. готовых железа и стали государство для нужд обороны требовало 177 м. п., а для нужд прочей промышленности требования сокращались до 15 м. п. и для частного рынка до 48 м. п. Но и эти потребности не могли быть удовлетворены, так как производство, вообще, сократилось и львиная доля его поглощалась военной промышленностью. „Нужды государства (т. е. войны),—читаем в одном из обзоров состояния железной промышленности в 1916 г.,—превалировали над потребителями частного рынка; урезывался и сокращался спрос не только на предметы домашнего обихода населения, но и спрос на предметы, необходимые для сельского хозяйства. Строительное железо, листовое и универсальное железо, а также

сортовой металл шли на нужды военного кораблестроения, на усиленное строительство как казенных военных заводов, так и на расширение частных заводов, переоборудываемых в целях приспособления их к работам на нужды обороны". Из 21 м. п. катаной проволоки уделялось на военные нужды (колючая проволока) 18 м. п. или 85,4%, а для гвоздильных заводов оставлялось только 2 м. п. или 9,4% потребности. Металлический рынок ощущал острую нужду в товарах массового потребления—кровельном железе, чугуне, литье, гвоздях, топорах и т. д. Стальные инструменты для кустарной и ремесленной работы повысились в цене, по сравнению с 1913 г. на 300—400%. Острый недостаток в металле испытывала и военная промышленность: в октябре 1916 г., напр., недостаток металла для нужд обороны определялся в 3 млн. пудов, в декабре 1916 г. крупные металлические заводы выработали стали 14 м. п., в январе 1917 г.—10 м. п., в феврале всего 4 м. пудов На рынке — бестоварье, на военных заводах — падение выработки, — все это говорило о все большем развале тяжелой индустрии.

Недостаток топлива при все возраставшей разрухе железнодорожного сообщения приводил к тому, что заводы и фабрики приостанавливали либо сильно сократили производство. В декабре 1916 г. в Петрограде 39 предприятий прекратили производство вследствие отсутствия топлива и 11—вследствие неподачи электрической энергии, вызванной также недостатком топлива. В январе 1917 г. Обуховский завод имел запаса угля на 10 дней, запаса кокса на 18 дней, а антрацита совсем не имел; арсенал имел запаса антрацита на 6 дней, а угля на один день. В Московском районе в начале 1917 г., благодаря недостатку топлива стояли такие предприятия, как Даниловская мануфактура, завод Динамо, снарядный завод Земгора, ряд мукомольных мельниц и т. д. Не лучше обстояло дело и на заводах,—и при том даже работавших на оборону—с запасом металла. В Петербурге, в декабре 1916 г., девять заводов приостановили производство, в виду недостатка чугуна и железа. На Балтийском заводе снарядной заготовки имелось 400—500 пудов при ежедневном расходе в 1.500 п. Соединенные кабельные заводы чушковой меди имели запаса на 5 дней, завод Айваз располагал запасами чугуна в 200 п. при ежедневном расходе в 400—500 пудов и т. д.

На развале промышленности сказывалось, прежде всего, ее техническая отсталость, слабое развитие в России машиностроения, в частности. Подводя итоги 1916 г., официальная „Торгово-Промышленная Газета“, например, писала: „В химической промышленности ощущался недостаток в реактивах и приборах, служащих для разнообразных исследований. Металлическая и металлообрабатывающая промышленность, текстильная, кожевенная, бумажная отрасли страдали от отсутствия необходимых станков, некоторых машин и их запасных частей, по причине слабого развития русского машиностроения, с одной стороны, и затруднительности в доставке из-за границы, с другой. Нехватало машин не только сложных конструкций, но и иногда самых простых, в виду чего многие фабрики и заводы volens-nolens (волей-неволей) вынуждены были вернуться к своим устарелым производствам“.

Одной из главных причин, усиливавших катастрофическое положение промышленности, была также разруха на железных дорогах. Еще до войны подвижной состав дорог был ниже среднего: от 20 до 25% паровозов были в возрасте 40—45 лет, в то время как средняя служба паровоза не должна была превышать 25 лет, недохватка в мирное время товарных паровозов определялась в 2 тыс. и товарных вагонов—в 80 тыс. С началом войны пришлось перегрузить работой наличный подвижной состав. С этой целью установлена была беспрерывная работа паровозов при двух сменах бригады, удлинены были сроки осмотра паровозных котлов, ослаблялись требования, предусмотренные для сохранности вагонов. Все это содействовало быстрой изнашиваемости подвижного состава, понижению его провозоспособности, увеличению числа „больных“ паровозов и вагонов при уменьшении их ремонта, так как железнодорожные мастерские и вагоностроительные заводы заняты были работой на оборону. Одновременно с этим уменьшались запасы топлива на дорогах: в январе 1915 г. запасы эти составляли 59 м. п., в декабре 1915 г.—33 м. п., в январе 1917 г.—26 м. п., а в феврале — всего 12 м. п. Естественно, что в таких условиях железные дороги, занятые к тому же, главным образом, перевозкой войск и продовольствия для армии, могли в самой ничтожной степени выполнять свою работу по снабжению промышленности сырьем и топливом.

Развал народного хозяйства достиг столь угрожающих размеров, что приостановили производство даже те заводы, которые расположены были близко к районам сырья и топлива,— в Донецком бассейне. В начале 1917 года завод б. Гантке в Нижнеднепровске приостановил работы, так как поступившего топлива едва хватало на освещение завода и снабжение его водой, в Екатеринославском районе из 130 заводов большинство в декабре 1916 г. и январе 1917 г. сократили производство наполовину. В ноябре 1916 г. Сергиевский рудник Русско-бельгийского общества (Горловский район) остановил 36 печей за недостатком угля, в октябре завод Донецкого общества (в Дружковке) по той же причине остановил коксовые печи, на Урале Кизеловский завод сократил выплавку чугуна на 34% вследствие недостатка древесного топлива и т. д. А ведь это были заводы, работавшие на оборону, и, стало-быть, принадлежавшие к числу тех, о снабжении которых топливом и сырьем заботились в первую голову.

Приостановка предприятий и сокращение работ стало массовым явлением ко второй половине 1916 г. Сокращались рабочие дни в неделю, уменьшались часы дневной работы, сплошь да рядом в случае стачек рабочих заводы закрывались на „неопределенное время“ не только для того, чтобы „проучить“ рабочих, но и потому, что работать все равно было трудно вследствие недостачи сырья либо топлива.

Сокращение работ постепенно охватывало все отрасли промышленности, в том числе и текстильную, которая также испытывала недостаток в топливе и сырье, особенно в шерсти. Количество товаров на рынке уменьшилось, а это повышало их цену. Рост бестоварья на рынке в особенности вызывался тем обстоятельством, что большинство предприятий работало для армии. Помимо металлургической и металлообрабатывающей промышленности, приспособленных, прежде всего, для нужд военного времени, на оборону работали и другие производства. К концу второго года войны текстильная промышленность могла дать вольному рынку не более 30% своей продукции, так как 70% ее шло на выполнение казенных заказов; снабжение армии обувью, упряжью и воинским снаряжением поглощало почти всю продукцию кожевенной промышленности; на нужды армии работало овчинно-шубное производство, производства по изготовлению валеной обуви,

упаковочного материала, разного рода пищевые производства и т. д. Все это в сильнейшей степени понижало поступление товаров на вольный рынок, а это, в связи с обесценением рубля, вызванным громадным выпуском бумажных денег, повышало товарные цены в небывалой степени.

В среднем за первый год войны товарные цены поднялись на 31%, за второй на 85%, за третий на 148%. По отдельным группам товаров повышение цен перешло за эту среднюю „норму". В 1916 году, т.-е. на второй год войны, цены на суконные и шерстяные товары повысились, по сравнению с 1914 г., до 100—130%, на кожевенные товары—до 150—170%, на металлические изделия—на 300—400%, на москотильные и галантерейные товары—до 500%; разные сорта угля дали повышение в 1915 г., по сравнению с 1913 г., на 106—178%; антрацит, при средней цене в 14—15 к. в 1915 г., в феврале 1917 г. в Мариуполе поднялся до 45 к., т.-е. в три раза: чугун, железо сортовое и кровельное в 1916 г., по сравнению с 1914 г., поднялись в цене в $1^1/_2$ раза; в 1916 г. вольный рынок остался без железа, так что старое железо шло по цене 20 р. за пуд., медь в 1916 г. повысилась в цене на 167%, гвозди на 160% и т. д.

Этот бешеный рост цен зависел, конечно, в слабой степени от удорожания себестоимости производства—на бестоварьи нагревали руки не только всякие спекулянты и торговцы, но и крупные промышленники. Казенные заказы они получали по высоким ценам, заранее обеспеченные авансом, а с прочих заказчиков, и тем более с вольного рынка, брали сколько хотели и могли. Вот один из многих примеров, касающийся не частного заказчика или покупателя, а такой организации, как земский и городской союзы, сдававшие заказы на военные нужды. Если сопоставить цены 1914 г., себестоимость заводов с накидкой до 25%, и цены, по которым покупали союзы, то получится такая картина для второй половины 1915 г. (в рубл. за пуд):

	Цена, по которой платили союзы	Цена 1914 г.	Себестоимость	Союзы платили больше 1914 г.	Союзы платили больше себестоим.
Железо	1,9 — 2,2	1,55	1—1,1	22,6%	100%
Медь	35,5 —37,5	14—15	8—9	146 „	311 „
Чугун	0,97— 1	0,68—0,70	70,4—0,45	43 „	122 „
Антрацит	0,28— 0,3	0,155	0,1	93 „	150 „

Таким образом, на заказах земского и городского союзов промышленники зарабатывали по 100—300%, нисколько не сообразуясь с себестоимостью, уже повышенной до 25%. А дело союзы имели с синдикатами „Продамета", „Продуголь", „Медь", которые были монополистами на рынке и могли повышать цены без всякого удержу.

Неудивительно, что при общем развале страны одни промышленники чувствовали себя именинниками и наживались, как никогда раньше. „Чистая прибыль многих предприятий больше, чем удвоилась,— читаем, напр., в отчете официальной „Торгово-Промышленной Газеты" о прибылях акционерных обществ в 1916 г.— Повышение налогов, небывалый рост цен на сырые материалы и рабочие руки оказались не столь страшными для промышленных предприятий, как этого можно было заранее опасаться. Все это компенсировалось огромной перевыручкой от повышения продажных цен и отчасти тем что у многих промышленных предприятий, имелись запасы сырых материалов по сравнительно низкой цене". Еще бы промышленникам испугаться повышения цен на сырье и рабочие руки! Все это с лихвой покрывали казенные заказы, а на вольном рынке промышленники были монополистами, не знавшими никакой узды. Военная прибыль была для капитала настоящим „даром небес", сверх-прибылью, о которой и мечтать нельзя было в мирное время. Так, семь крупнейших металлургических предприятий Донецкого бассейна получили прибыли на капитал в 1913 г. 12,6%, в 1916 г.—23,1%, четыре других предприятия получили прибыль в 1913 г.—3,9 млн. руб., в 1916 г.—18 млн. руб., т.-е. на 355% больше и т. п. Если прибыль 1913 г. принять за 100, то для текстильной промышленности увеличение прибыли для 1914 и 1915 г. г. выразится в таких данных:

	1914 г.	1915 г.
Хлопчатобумажное производство .	100,7	198,1
Шерстяное „	128,1	190,1
Льняное „	126,7	209,9

Отчислили в прибыль текстильные фабриканты в 1913 г. 14,6%, а в 1915 г. 39,7%. В некоторых предприятиях прибыль приблизилась даже к сумме основного капитала. Так, товарищество Тверской мануфактуры в 1915 году при основном

капитале в 9 млн. руб. получило прибыли 10,4 млн. руб., Никольская мануфактура С. Морозова при основном капитале в 15 млн. руб. получила прибыли 9,4 млн. руб., т.-е. 63%, Ярославская Большая мануфактура — 57,6%, фабрика Четверикова — 95,4%, Ростовская льняная мануфактура — 126% и т. д. По всем группам производств прибыль, если размер ее в 1913 г. принять за 100, составила в 1915 г. — 120,3 и для 1916 г. — 185. Коммерческие банки также урвали свою долю: в 1916 г. они получили чистой прибыли на 124% больше 1915 г. и на 99,5% больше 1913 г.

Высокие прибыли порождали учредительскую горячку — образование новых акционерных обществ и усиление капиталов старых обществ. Так, с 1914 по 1916 год было выпущено акционерными обществами дополнительных акций:

Банками на	74.250.000 р.
Металлургич. и механ. предпр.	110.700.000 „
Нефтяными „	55.618.250 „
Каменноуг. и горн. „	25.106.000 „
Мануфактурными „	18.900.000 „
Прочими „	75.491.900 „
Всего	360.066.150 р.

Таким образом, за 2½ года войны акционерные общества усилили свои капиталы на 360 млн. руб., при чем наиболее энергично действовали в этом отношении те предприятия, которые работали на оборону (из 360 млн. руб. на их долю приходится 218 млн. руб.), да банки, также связанные, главным образом, с теми же промышленными предприятиями. Но, кроме того, еще более усиленно шло образование новых акционерных обществ. С начала войны до 1 января 1917 г. было организовано 402 новых акционерных предприятия с основным капиталом в 603 млн. руб., в том числе 223 с основным капиталом в 340 млн. руб. для продолжения единоличных предприятий на акционерных началах и 179 с капиталом в 263 млн. руб. для образования новых акционерных предприятий. Большой приток капиталов в единоличные предприятия, с целью преобразования их в акционерные, показывает, насколько выгодно было помещение капиталов в действующие уже предприятия, как и вообще привлечение за 2½ года войны в промышленность одного только акционерного капитала в сумме до миллиарда рублей (360 млн. руб. + 603 млн. руб.)

свидетельствовало о богатой жатве, собранной капиталом. Если же вспомнить, что это было время развала промышленности, банкротства ее даже в смысле снабжения армии, то вывод будет ясен: именно на развале, на общей нужде в товарах, на разрушении народного хозяйства наживались промышленники. Это был пир во время чумы, „патриотический“ грабеж на неслыханном народном бедствии.

Что происходило в области сельского хозяйства?

Мобилизации, призвавшие на фронт до 18 млн. человек, как и реквизиции лошадей, не могли не вызвать сокращения площади посевов. Уменьшение в сельском хозяйстве человеческой рабочей силы и рабочего скота должно было в особенности сказаться на земледельческом производстве России с ее слабым применением машин в земледелии. И, действительно, посевная площадь составляла:

Годы	Десятин (в тысяч.)	В процентах по отнош. к 1913 г.
1913	102,6	100
1915	88,5	86,6
1916	83,9	81,7

Таким образом, посевная площадь в 1915 г. сократилась, по сравнению с 1913 г., на 14%, а в 1916 г.— на 18,3%. Посевы сократились, главным образом, в крестьянских хозяйствах,— хозяйства помещиков, напротив, посевы даже увеличили. Это и понятно. Во-первых, при бестоварьи крестьяне не имели оснований расширять запашки для продажи хлеба, так как на вырученные от продажи хлеба деньги не могли ничего купить, в то время как помещик при деньгах находил все необходимое ему на рынке. А, во-вторых, убыль мужской рабочей силы в своем хозяйстве крестьяне могли отчасти восстановить только работой женщин, помещики же, помимо того, что могли нанимать рабочих, пользовались еще трудом беженцев и пленных, которые предоставлялись в их распоряжение правительством. Так, по данным десяти губерний, в крестьянском хозяйстве пленные составляли всего 0,2% всей рабочей силы, в помещичьем — 11,1%, в первых беженцы мужчины — 0,4% и беженцы женщины — 0,5%, во вторых — 3,1 и 2,9%. При всем недостатке рабочей силы, в помещичьих хозяйствах все же мужчин работало больше (47,5%), чем

женщин (35,4%), в то время как в крестьянских хозяйствах было занято женщин больше (60,7%), чем мужчин (38,2%).

Сокращение посевов должно было уменьшить количество хлеба в стране. Правда, до войны Россия вывозила на заграничные рынки несколько сот млн. пудов разных хлебов, и, казалось бы, с прекращением вывоза убыль от недосева могла быть восполнена тем хлебом, который не был вывезен и остался на внутреннем рынке. В действительности, однако, это оказалось не совсем так. Пшеницы, напр., вывозилось до 200 млн. пуд., но в годы войны с уменьшением потребления мяса и жиров, потребление хлеба увеличилось, так что эти 200 млн. пуд. излишка не составили. Ячменя и овса вывозилось до 350 млн. пуд., но в то время, как в крестьянском хозяйстве лошади полагалось овса, в среднем, 15 пуд. в год, лошадь на фронте получала 10 ф. в день, так что и здесь излишков не было. Словом, как бы ни переоценивать Россию в качестве „житницы Европы", недосевы в военные годы нельзя рассматривать иначе, как понижение общего количества хлебов в стране в ущерб повышенному в годы войны потреблению хлеба армией и населением.

Это понижение количества хлебов в связи с обесценением рубля должно было повести к росту хлебных цен. Так оно и было. Если мы возьмем, напр., Москву (в районе, потребляющем хлеб) и Харьков (в районе, производящем хлеб), то увидим такой рост цен на муку:

	Средн. цена 1913 г. (в коп.)	Цена в июле 1916 г. (в коп.)	Повышение цены 1916 г. в процентах
			Пшеничная
Москва	246	390	158,5
Харьков	173	295	170,0
			Ржаная
Москва	138	253	183,6
Харьков	127	183	144,3

К концу второго года войны мука повысилась в цене более, чем в $1^1/_2$ раза, при чем повышение это оказалось одинаково значительным как в потребляющем, так и в производящем районе. Если мы обратимся вообще к городским ценам на продукты продовольствия в 1915 и 1916 г.г., то увидим такую же картину. Вот, напр., рост цен с июня 1915 г. по июнь 1916 г. по ряду городов, вообще, и по городам в потребляющем районе, в частности.

Увеличение цен в процентах

	В городах вообще	В городах потребл. района
Рожь	18	27
Пшеница	31	—
Ржаная мука	22	24
Пшеничная мука	28	52
Говядина	83	103
Масло	83	89
Молоко	50	37
Яйца	109	125
Соль	73	84

Таким образом, в течение только второго года войны хлебные цены повысились не меньше, чем на 25%, а цены прочих продуктов больше, чем на 75%. Мы увидим, что к концу 1916 г. пошло дальнейшее повышение цен, принявшее катастрофический характер: к декабрю 1916 г. в Петрограде цены поднялись в шесть раз, а в провинции в 5 — 6 раз.

Почему цены на продукты сельского хозяйства возрастали так сильно и почему уже на второй год войны началась подлинная продовольственная разруха? Здесь действовали те же причины, что и в промышленности, но прибавились и новые. Повышение цен было вызвано, прежде всего, сокращением сельско-хозяйственного производства и усиленным спросом со стороны армии. Вздутию цен способствовала спекуляция и алчность капитала — банки, помещики, хлебные торговцы и мукомолы наживались на народном голоде так же, как фабриканты — на товарном голоде. Прибыль мукомольных акционерных предприятий возросла, напр., с 12,4% в 1913 г. до 21% в 1914 г. и до 35,7% в 1915 г. Банки спекулировали хлебом и сахаром, вздувая цены, действуя, когда нужно, через подставных лиц, поддерживая крупных частных спекулянтов. „Совершенно бесспорен факт,— писал один из знатоков банковского дела,— что (банковские) счета, которые носят специфический товарно-спекулятивный характер, сильно возросли за время войны и даже показывают гораздо больший итог, чем в соответствующие месяцы до войны“. Располагая таким сильным средством, как выдача всякого рода ссуд торговцам, банки „регулировали“ рынок таким образом, чтобы держать курс на все большее повышение цен. Той же цели

служили непосредственные торговые операции банков, делавшие их монополистами на рынке. Когда Петрограду потребовалось закупить сахар, то из 357 завезенных вагонов на долю банков пришлось 237 вагонов, не считая торговцев, которые пользовались ссудами из банков и деятельность которых так же направлялась банками.

Еще более глубоко и разрушающе действовали, однако, отсталость сельского хозяйства и продовольственная политика правительства. Подавляющую часть хлеба поставляло крестьянское хозяйство, но оно велось примитивно, не могло восполнить сокращение посевов повышением производительности сельского хозяйства, как вообще не было в состоянии приспособиться к новым, более сложным условиям рынка. При сокращении количества хлебов кризис мог бы быть смягчен сколько-нибудь разумной продовольственной политикой. Но правительство на такую политику не было способно даже в отдаленной степени, как оказалось оно банкротом и при попытках регулировать промышленность (потребление топлива, хлопка). Оно не только не было в состоянии применить те „плановые" начала, какие практиковались во время войны буржуазными правительствами Запада, но вообще не могло руководствоваться и в продовольственной политике, не чем иным, как самовластным самодурством и ограждением интересов помещичьего хозяйства. Сгнивавшее на корню, помышлявшее только о самосохранении, привыкшее полагаться исключительно на развращенное и продажное чиновничество, пренебрегавшее интересами широких слоев населения и охранявшее лишь выгоды поземельного дворянства и промышленного капитала, самодержавное правительство пыталось и продовольственный вопрос разрешить мерами военного интендантства и полицейского участка. В условиях войны и отсталого сельского хозяйства политика эта не могла не привести к продовольственной катастрофе.

Первое время правительство вообще не принимало никаких мер к регулированию продовольствия, щадя помещиков, предоставляя им продавать хлеб по вольной цене и организуя снабжение армии на обычных началах. Единственная мера, сразу принятая (в августе 1914 г.), состояла в предложении городам издавать таксы на предметы продовольствия и в надзоре правительства за этими таксами. Но таксы в большинстве

случаев повторяли стоявшие на рынке высокие цены и повышались, как только поднимались рыночные цены. С другой стороны, каждый город издавал таксы по своему усмотрению, поддерживая этим анархию цен и возможность спекуляции на их разнице в пределах даже одной и той же губернии. Так, например, в Тульской губернии в октябре 1915 г. такса на керосин в Ефремове была 1 руб. 80 коп., а в Одоеве 2 руб. 80 коп.; во Владимирской губернии — на овес в Юрьеве 1 руб. 30 коп., в Меленках — 2 руб. 20 коп.; в Орловской губернии — на гречневую крупу в Ельце — 1 руб. 80 коп., в Дмитровске 2 руб. 40 коп. и т. д. По мере того, как вольный рынок приходил в расстройство, а цены повышались, правительство вынуждено было перейти от спокойного созерцания назревающего продовольственного кризиса к активной политике. В феврале 1915 г. главноначальствующим было предоставлено право: 1) запрещать вывоз запасов из их районов, 2) устанавливать цены при закупках продовольствия и фуража для армии и 3) реквизировать хлеб и фураж при отказе продать по установленной цене с понижением последней на 15%. Эти меры, однако, только усилили продовольственный хаос. Прежде всего они имели в виду исключительно снабжение армии, но не населения, так что вольный рынок оставался неприкосновенным. При реквизиции всячески щадились интересы помещиков и крупнейших хлебных спекулянтов. Реквизировалось то, чего не нужно было реквизировать, но реквизициям не подвергались ни хлебные запасы помещиков, ни запасы банков, спекулировавших хлебом. Право запрещения вывоза из одного района в другой разбило страну на ряд военных деспотий, независимых одна от другой; каждый генерал, по широте своего кругозора и понимания экономики страны, решал, что лучше всего будет, если удержать хлеб в его районе, а благодаря этому хлеб задерживался в производящих районах и не поступал в потребляющие районы. Продовольственный кризис такими мерами не только не смягчался, но, наоборот, усиливался, ибо к анархии вольного рынка присоединилась анархия военных и штатских генералов. Не был смягчен он установлением твердых цен для закупок по снабжению армии, так как для снабжения населения твердые цены не были введены. Напротив, вся эта политика, предусматривавшая особые меры снабжения

армии, вносила еще большую дезорганизацию в продовольственное дело, создавая две, друг от друга обособленные, продовольственные системы.

Московский городской уполномоченный по продовольствию в записке 21 января 1916 г. так изображал положение: „В разных губерниях запрещен вывоз тех или иных продуктов уполномоченными, а в некоторых военных округах — командующими войсками и генерал-губернаторами. Вся эта система запрещений, разделившая Россию на мелкие ячейки с самыми разнообразными колебаниями спроса и предложения, совершенно искусственно созданными и противоречащими самым жизненным интересам населения, повлекли за собой развитие злоупотреблений и спекуляций, бороться с которыми особенно трудно, потому что разные лица, обходя законы и взвинчивая цены, все-таки доставляют необходимые для питания продукты, которые, благодаря запрещениям, легальным путем доставлены быть не могут. В этой области взаимоотношений с лицами, ведающими правом запрещения вывоза, органы уполномоченных, земские и общественные учреждения и кооперативы поставлены в такие условия, что не могут принимать нелегальных мер, а потому и не получают нужных им продуктов, между тем как спекуляция, не стесняясь средствами, вывозит из запрещенных мест и привозит по железным дорогам множество грузов“.

Эта политика сохраняла в неприкосновенности вольный рынок и оставляла незатронутыми интересы помещиков и хлебных торговцев, и потому правительство за нее крепко держалось. Когда в ноябре 1916 г. возник вопрос об установлении такс при розничной продаже и твердых цен при оптовых закупках для нужд населения, правительство решительно воспротивилось осуществлению таких мер. Особое совещание по продовольствию, отвергшее твердые цены и расширение таксировки, приводило такого рода соображения: „Разрешение продовольственного вопроса лежит не в огосударствлении всего продовольственного дела, а главным образом, в улучшении условий транспорта. Совершенно очевидно, что никакая правительственная регламентация, как бы далеко она ни шла, не заменит сама по себе вагонов и паровозов, не доставит продовольствия в достаточном количестве, и во всяком случае, не доставит его в большем количестве,

чем это сделала бы свободная торговля“. Отдавая, таким образом, все преимущество свободной торговле и охраняя интересы вольного рынка, особое совещание находило целесообразным „облегчение условий торгового оборота“, признало необходимым отказаться „от систематического и последовательного применения таксировки“, а применение твердых цен допускало лишь в совершенно исключительных случаях, когда местные власти, признающие такую меру совершенно необходимой, докажут в каждом отдельном случае, что имеющимися у них средствами могут быть обеспечены как подвоз необходимого количества таксируемого продукта, так и фактическое соблюдение такс. В соответствии с таким пониманием продовольственной политики, правительство (в феврале 1916 г.) допустило применение плановых перевозок продовольственных грузов, а установление твердых цен предусматривало только в исключительных случаях, по особым ходатайствам уполномоченных по продовольствию.

В таком положении дело оставалось до второй половины 1916 г. Правительство упорно не хотело сходить с позиции ограждения интересов помещиков и вольного рынка. Продовольственный кризис, однако, обострялся, и правительство вынуждено было перейти к более радикальным мерам — к признанию твердых цен и разверстке хлебных запасов. Но, разумеется, и эти меры проводились с таким расчетом, чтобы не посягнуть на карман помещиков и не умалить „престижа власти“. Единственной направляющей все продовольственное дело силой оставалось чиновничество — уполномоченные, назначенные правительством, да военное начальство. Твердые цены назначались высокие — с повышением на 30% против цен 1915 г., чтобы помещики не потеряли на продажах хлеба. Какова была эта политика твердых цен, показывает протест представителей союза городов, указавших, что твердые цены, принятые особым совещанием по продовольственному делу, немотивированно преувеличены, что „чрезмерно высокий их уровень грозит непосредственным бедствием для 50 млн. населения, покупающего хлеб“, что „рост цен на продукты вызывает огромные затраты государственного казначейства и новые колоссальные выпуски бумажных денег, и, следовательно, расстройство денежного обращения, что в конечном итоге твердые цены на хлеб приведут

к дезорганизации тыла и тяжело отразятся в деле государственной обороны".

Таким образом, сами общественные организации, впервые выдвинувшие требования твердых цен, пришли в ужас от того извращения, какое эта мера получила в руках правительства. Что же касается хлебной разверстки, введенной 2 дек. 1916 г., то она была поставлена всецело в зависимость от земства, т.-е. помещиков, да и вообще не была построена на твердом принудительном начале. Поэтому вышло так, что правительство наметило к разверстке 506 млн. пуд., губернские земства разверстали по уездам 450 млн. пуд. (т.-е. 89%), а уезды еще меньше—321 млн. пуд. (63%). Когда же дело дошло до волостей, то они разверстали 118 млн. пуд., а сельские сходы разверстали по домохозяевам 67 млн. пуд., т.-е. 57% всей уездной разверстки и 29% правительственной. Так, чем ближе было к делу, к хлебу, тем более уменьшался размер разверстки. Всего же ожидалось к поступлению около 170 млн. пуд., т.-е. меньше $^1/_3$ предположенного правительством, но до этого дело не дошло уже по причинам, от правительства независящим: операция эта должна была быть закончена к 1 марта 1917 г., когда от самодержавия осталось только свежее, скверное воспоминание.

Каждая из правительственных мер вносила новые элементы разложения продовольственного дела, вся продовольственная политика в целом, на почве уменьшения наличности хлеба, породила настоящий хаос, когда не только все продукты, но и хлеб начал цениться на вес золота, когда даже в хлебных губерниях городскому населению приходилось сидеть без хлеба, когда страшный призрак голода повис над страной, не знавшей такой сплошной голодовки даже в годы сильных неурожаев. Продовольственный кризис обострялся постепенно, сначала исчезали одни продукты, затем другие, наростали хвосты у лавок, население лихорадочно делало запасы. К осени 1916 года наступил новый резкий перелом в продовольствии, а с декабря страна вошла в полосу продовольственной катастрофы, из которой был один только выход — в революции.

С октября 1916 г., когда твердые цены были распространены на все сделки, правительство взяло на себя снабжение продовольствием не только армии, но и населения. Районы

потребления были приписаны к определенным хлебным районам и забота о снабжении населения продовольствием была возложена на особых уполномоченных министра земледелия. Но как министр, так и его уполномоченные главное внимание сосредоточивали на армии. Министр земледелия Риттих сам заявил, что он мало думает о „какой-либо Туле или Оренбурге“, уполномоченные вторили своему начальнику. Но без уполномоченных города не могли получить хлеб, и, таким образом, продовольствие населения очутилось в руках и власти уполномоченных. Дадут уполномоченные зерно или муку — хлеб будет, не дадут — хлеба не будет. „Заботясь“ о снабжении армии, которая также хлеба не получала, уполномоченные не только не выпускали хлеба из своей губернии, но и не отпускали его для тех городов, о которых они должны были заботиться; уполномоченный одной из самых богатых хлебом губерний — Таврической — отпустил Симферополю вместо 125 тыс. пуд. всего 85 тыс. пуд., т.-е. по одному пуду на душу. Нижегородская губерния должна была поставлять хлеб, но уездные города этой же губернии слали телеграммы: „Население голодает, вышлите муку“. К Воронежской губернии был приписан ряд городов, в то время как излишками она не обладала, и также города, как Тамбов, Казань, Орел, Тула, приписанные к этой губернии, оставались без хлеба. Уполномоченные, призванные снабжать население, сплошь и рядом конфисковали хлеб, который удавалось приобрести городам. Во Владикавказе уполномоченный реквизировал 176 вагонов хлеба, закупленные городом, тамбовский уполномоченный систематически реквизировал хлеб, заготовленный городом, и т. п. По своему усмотрению уполномоченные отменяли твердые цены и устанавливали цены произвольные: в Орле, напр., мешок пшеничной муки по твердой цене стоил 21 р., по „полутвердой“ 24 р., по вольной — 30 — 40, в Туле — 20, 30 и 54 р.

Железные дороги не могли справиться с перевозкой грузов, так что одно время пришлось даже прервать пассажирское движение, чтобы пропустить накопившиеся продовольственные грузы. Иваново-Вознесенск запрашивал в ноябре 1916 г. 576 вагонов, предоставлено ему было 85, а получено им всего 42, в декабре испрашивал 782, предоставлено 55, получил — 24. Для Москвы назначено было по плану с 10 дек.

по 9 янв. 1917 г. 10.227 вагонов, погружено же было 3.318 вагонов. Древесного топлива Москвою было недополучено в октябре 1916 г. 4.765 вагонов, или 70%, в ноябре 73%, в декабре 87%. Вагонов „по плану“ получить нельзя было, а за взятку, хотя и с трудом, получали. Из Уральска сообщали о плановых перевозках (по лит. „А“): „какой там план, какое включили, грузили по лит. Д. (деньги). Другой план не прививается“. Тому же Уральску из Москвы предлагали отпустить муку по 50 р. за мешок, но коммерчески предупредили: „погрузка наша, счета не надо“. В Курске установлена была такса на вагон из Москвы — 1.300 р. В одном городе, по цензурным соображениям этот город в печати не назывался, платили местному уполномоченному по 50 руб., а уполномоченному места закупки по 30 — 40 р. с вагона на „канцелярские расходы“ и в „фонд закупок“. Создавшееся положение продовольственники-остряки Иваново-Вознесенска характеризовали такой формулой: всякая продовольственная задача представляет собой в настоящее время уравнение с четырьмя неизвестными: первое — это особое совещание по продовольствию, второе—это особое совещание по перевозкам, третье — местный уполномоченный по продовольствию и четвертое — местный уполномоченный по заготовкам, а известно лишь одно,— что хлеба нет.

При таком общем хаосе процветала нелегальная перевозка хлеба из одной губернии в другую с нарастанием, конечно, „накладных расходов“. Из Киевской губ. муку возили гужом в Чернигов, где она поднималась в цене на 50%; по дороге у застав платили для отвода глаз по 2—3 руб. с куля. Из Чернигова таким же путем мука шла в Гомель и здесь повышалась в цене на 30%, доходя до 50—60 руб. за пуд. Из Курска возили хлеб гужом в Орловскую губернию, так как в Курске цена пшеницы была 4 руб. пуд, в Брянске—15 руб. Из Покровска возили контрабандой на другой берег Волги хлеб в Саратов. Из Таврической губернии вывозился хлеб в Бахмутский уезд Екатеринославской губернии, вагонами, но вагон обходился в 2 тыс. руб.: начальнику станции—400 руб. за подвоз „гужом ночью“—800 руб., агенту уполномоченного — 100 руб. и т. д.

Платили всяким взяточникам города, всего больше платили хлебные спекулянты, а население хлеба не имело.

В Вязьме в декабре 1916 г. не только обыватели, но и госпитали остались без хлеба. В Калуге доедали последние запасы пшеничной и ржаной муки. В Тамбове потребление пшеничного хлеба было ограничено $^1/_2$ фунт. в день на человека. В Минске в августе 1916 г. выдавали по 20 фунт. ржаной, 10 фунт. пшеничной, 3 фунт. крупы, в декабре—10 фунт. ржаной, 5 фунт. пшеничной и 1 фунт крупы, в январе 1917 г. только 5 фунт. пшеничной муки без ржаной муки и крупы, а в феврале—2 фунт. одной пшеничной муки. В Царицыне еще с ноября мука отпускалась по 1 пуд. в месяц на человека. В Москве в начале февраля 1917 г. на булочных красовались самодельные объявления: „Сегодня хлеба нет и не будет“.

Не было не только хлеба, но и топлива. Москва вынуждена была в январе сократить на $50^0/_0$ электрическое освещение во всех городских зданиях и учреждениях, закрыть до весны некоторые лазареты, так как их нечем было отапливать, закрыть в городских зданиях вентиляцию, действующую нагретым воздухом, возбудить вопрос о сокращении трамвайного движения, регулировать употребление электрической энергии в частных квартирах, ресторанах, театрах, магазинах, призвать население к экономии в употреблении газа, воды, дров. Характерно, что постановление московской думы с призывом к населению ограничить свои потребности не было допущено к оглашению в печати — московские сатрапы-самодуры думали таким образом скрыть от московского населения, что оно лишено и хлеба, и воды, и света! А к концу февраля в Москве было запасов: муки на полтора дня, мяса на 4 дня, сахару на неделю, сена по полпуда на лошадь, а овса совсем не было.

Во всех городах — не только в столицах — росли и множились хвосты у магазинов. Нехватало хлеба, мяса, жиров, топлива, керосина и т. д. В Одессе в очередях за керосином стояли по двое суток, в Александровске в таких же очередях собирались тысячные толпы, на Украине фунт керосина стоил $1^1/_2$ руб. Керосин нельзя было заменить свечами, потому что и их не было. Население жгло лучины, вазелин, лампадное масло. В Екатеринославе даже воинские части нередко сидели в темноте. Во многих городах остановились электрические станции и водопроводы. В Одессе еще

в начале зимы закрылись „народные бани“, а потом пришла очередь и для бань, обслуживающих зажиточное население.

Не продовольственная разруха, конечно, создала революцию. Но она послужила тем тараном, который бил и по желудку и по разуму, бил и сытых и голодных. Некий нижегородский мукомол писал союзу городов в январе 1917 г.: „все средства исчерпаны, остается итти на улицу и кричать „караул“. Мукомолы собирались кричать, а другие, которым хлеб нужен был не для перемола, уже кричали. Вот ряд сообщений, относящихся к январю 1917 г. Казанский городской голова телеграфировал министру земледелия: „отсутствие крупчатки может повлечь за собой нежелательные явления“. В Тамбове замечалось всеобщее недовольство населения, „грозящее перейти в открытые эксцессы“. В Астрахани —„настроение тревожное и угрожающее“. В Бахмуте — „ежедневно можно ждать эксцессов“. В Сызрани — „обыватель стонет“. В Царицыне—„ждут самого худшего“. В Иванове-Вознесенске— опасаются „шествия рабочих“ с требованием хлеба. Начальник московского охранного отделения еще в октябре 1916 г. доносил департаменту полиции: „Невзгоды широких масс, понижающие настроение, так велики, что во многих случаях приходится говорить не только о недоедании, но и о форменном голоде. Не подлежит ни малейшему сомнению, что пресловутые „хвосты“ в дни острых продовольственных кризисов равноценны по влиянию революционным митингам и десяткам тысяч прокламаций .. Можно с уверенностью сказать, что подобного раздражения и озлобления масс мы еще не знали. В сравнении с настроением данного момента, настроение 1905-1906 г., несомненно, являлось для правительства более благоприятным“. А в январе 1917 г. департамент полиции высказывал такого рода мысли: „Если население еще не устраивает голодные бунты, то это не означает, что оно не устроит их в самом ближайшем будущем; озлобление растет и конца его росту не видать... С каждым днем все большее количество голосов требует в столице: „или обеспечьте нас продуктами, или кончайте войну“. И эти массы — самый благодарный материал для всякой открытой и подпольной пропаганды: им терять нечего от невыгодного мира. Когда это будет и как все это произойдет в действительности, судить сейчас трудно, но во всяком случае события

чрезвычайной важности, и чреватые исключительными последствиями для русской общественности не за горами".

Устами охранников говорила на этот раз истина, и оказались они настоящими пророками в своем отечестве. Война развалила народное хозяйство страны до самого основания. Дело было не только в том, что перемещался центр тяжести промышленности из предприятий, работавших на рынок, в предприятия, работающие на оборону, или в сокращении посевной площади. Разлагающее действие войны шло глубже — разрушались производительные силы страны, вообще не столь богатые, уничтожалась почва, на которой может покоиться сколько-нибудь устойчивое народное хозяйство — страна оказалась нищей. В сравнительно короткое время опустошен был товарный рынок, а пополнять его было нечем, исчерпаны были свободные хлебные запасы, а дальше их надо было брать силой, реквизицией. В этот хаос, рожденный войною, самодержавное правительство внесло все, что могли внести охранники, взяточники, министры и градоправители, развращенные свободой беззакония и произвола. Монархия помещиков в эти годы смерти, крови и нужды заботилась только о сохранении своей власти и о том, чтобы не разорились дворяне-землевладельцы, да мечтала „о кресте на св. Софии" в Константинополе. Каждая попытка ее проявить свое „творчество" ухудшала положение, усиливала развал. Города оставались без хлеба и товаров, деревня — без соли, керосина, сахара, кожи, гвоздей и т. п., армия — без снарядов и продовольствия. Мы можем поверить мукомолу, когда он говорил, что не остается ничего другого, как выйти на улицу и кричать „караул". Просвета не было, новое могло получиться не из старого, а только на разрушении этого старого. Война предстала не в виде походного марша под звуки „гром победы раздавайся", она показала свое другое, подлинное, не искаженное ложными прикрасами лицо в бесчисленных солдатских братских могилах и в голоде, развале того, что называлось „тылом" и было — страной.

Конечно, охранники были правы: „как все это будет и как все это произойдет в действительности", сказать было трудно. Но верно было одно: „все это" будет и „все это" произойдет. Предсмертные судороги старого порядка начались задолго до февральских дней 1917 г. Когда приостанавливался

транспорт, замирали фабрики, гас электрический свет, бездействовал водопровод, закрывались лазареты, потому что не было топлива, а население призывалось к экономии дров и воды, а хлеб доставлялся с трудом, нелегально, когда задолго до гражданской войны страна фактически переживала все ее невзгоды,— тогда это было смертью старого порядка, тогда у порога стояла революция...

VI. Царство охранников и погромщиков.

Режим, установившийся после разгрома первой революции,— режим Столыпина, — был, по определению Ленина, „гегемонией совета объединенного дворянства над буржуазией, настроенной контр-революционно“, гегемонией, которая осуществлялась „при содействии, сочувствии, активной или пассивной поддержке этой буржуазии“. После встряски революции 1905 г. Столыпин пытался „обновить“ самодержавие на союзе помещика и капиталиста, на соглашении реакционного дворянства и контр-революционной буржуазии. Запуганная революционной борьбой рабочих и крестьян буржуазия была сама готова искать помощи у реакции, как и дворянство, спасая свои земли, само было готово проводить в деревне буржуазную аграрную политику. Получив в этом сближении господствующих классов новую социальную опору, монархия стремится сохранить гегемонию помещика, которая наиболее полное выражение получает в самодержавном порядке, в самодержавии царя, который рядом с собой не терпит никакой власти и который, если и готов разделить ее, то только с реакционным дворянством, этой верной опорой царского трона. Вся политика Столыпина, а после его убийства, преемников его вплоть до последних дней царизма, сводилась к тому, чтобы пронести через все бури целостным самодержавие, чтобы удержать его господство как в союзе с буржуазией, так и против нее.

Революция вырвала у царя манифест 17 октября 1905 г., которым признавались в качестве „незыблемых“ свободы, а самодержавие было ограничено предоставлением законодательских прав государственной думе. Но царское правительство не могло примириться с этой вынужденной уступкой и не покидало мысли исправить свою оплошность. Характерно, что образованное в 1906 г. под председательством Николая II

совещание по пересмотру основных законов немало повозилось с вопросом о том, оставить ли в законе определение власти царя, как власти неограниченной. Николай II на совещании откровенно заявил, что уже целый месяц думает об этом и к окончательному выводу не пришел. „За все это время,— говорил царь,— я продолжаю получать ежедневно десятками телеграммы, адреса, прошения со всех концов и углов земли русской от всякого сословия людей. Они изъявляют мне трогательные верноподданнические чувства вместе с мольбой не ограничивать своей власти, и благодарность за права, дарованные манифестом 17 октября. Вникая в мысль этих людей, я понимаю их так, что они стремятся, чтобы манифест 17 октября и дарованные в нем моим подданным права были сохранены, но чтобы при сем не было сделано ни шагу далее и чтобы я оставался самодержцем всероссийским. Искренно говорю вам, верьте, что если бы я был убежден, что Россия желает, чтобы я отрекся от самодержавных прав, я бы для блага ее сделал это с радостью“. Телеграммы черносотенных организаций,— последние-то выступали от имени „всякого сословия людей“—убедили царя, что Россия не только желает, но и требует, чтобы он остался самодержцем. От слова „неограниченный“ пришлось, впрочем, отказаться и в основные законы его не включать. Но в этом словесном отказе от „неограниченного самодержавия“ не было ничего, кроме лицемерия, как и в замечании царя, что он готов отказаться от неограниченных прав, если этого требует благо России. Лицемерием это было потому, что самодержавный царь и есть неограниченный, а указание на самодержавную власть царя в законах было сохранено. Лицемерием это было и потому, что основным стремлением Николая II и его правительства было сохранение в полной силе ничем неограниченного самодержавия, с откровенным попиранием всех тех жалких прав, какие признаны были манифестом 17 октября за „верноподданными“ и государственной думой.

Мы уже упоминали, что объединенное дворянство с первых же дней существования государственной думы подняло вопрос о ее разгоне и об изменении избирательного закона. Правительство также шло твердо к этому. Когда выяснилось, что вторая государственная дума, как и первая, не так легко становится послушной, правительство решает не только

разогнать думу, но и добиться такой думы, какая была бы ему всецело послушна. Создается провокационное обвинение против социал-демократической фракции с требованием исключения из думы всех социал-демократов и предания их суду, в тиши вырабатывается новый закон, принимаются заблаговременно все меры к разгону думы. 15 мая 1907 г. Столыпин поднимает в совете министров вопрос о необходимости на случай разгона думы усилить военно-полевые суды и безотлагательно заменить драгунами донские второочередные полки, которые, как показали примеры, отказываются усмирять рабочих и крестьян. В мае же департамент полиции рассылает губернаторам циркуляр, в котором сообщает, будто профессиональные союзы готовят боевые дружины для вооруженного выступления в случае разгона думы и предлагает усилить репрессии по отношению к союзам. А 30 мая Столыпин докладывает Николаю II, что все готово к разгону думы; последней предъявляется требование об исключении 55 депутатов и об аресте 15 из них, „которые вместе с тем являются и цветом левых партий", „избирательный закон переписывается", манифест также готов. 3 июня дума была разогнана и одновременно был издан новый избирательный закон, обеспечивший господство в думе помещиков. Этот государственный переворот лучше всяких слов показывает, какова была искренность Николая II, когда он заявлял, что готов пойти на ограничение своих прав.

Но и актом 3 июня не была достигнута полностью основная цель — восстановление самодержавия в том виде, в каком оно существовало до революции 1905 г. Помещичьей реакции было тесно даже в союзе с третьеиюньской думой, и потому, когда обнаружилось, что и в этой думе не все идут на поводу у правительства, возникла мысль о новом государственном перевороте. В октябре 1913 г., накануне возобновления занятий думы, министр вн. дел Маклаков пишет Николаю II письмо, в котором просит разрешения выступить в думе и сделать ей „спокойное, ясное, но решительное предупреждение о том, что путь, на который она пытается вступить, опасен и недопустим", а если такое предупреждение не подействует, то распустить думу и объявить Москву и Петербург на положении чрезвычайной охраны. В ответ на это письмо Николай II, вполне соглашаясь с планом Маклакова, с своей стороны,

добавлял: „Также считаю необходимым и благовременным немедленно обсудить в совете министров мою давнишнюю мысль об изменении статьи учреждения государственной думы, в силу которой, если дума не согласится с изменениями государственного совета и не утвердит проекта, то законопроект уничтожается. Это, при отсутствии у нас конституции, есть полная бессмыслица. Предоставление на выбор и утверждение государя мнения большинства и меньшинства будет хорошим возвращением к прежнему спокойному течению законодательской деятельности и при том в русском духе“. Мысль свою царь выразил не совсем грамотно, но совершенно ясно: государственная дума должна быть лишена законодательных прав и царю должно быть предоставлено право по его усмотрению утверждать мнения, принятые большинством или меньшинством, т.-е. возвратиться к тому времени, когда государственной думы не было и законы предварительно обсуждались в государственном совете. Речь шла, стало-быть, о полном восстановлении самодержавного порядка в том виде, в каком он существовал до революции 1905 г.— такова была давнишняя мысль Николая II. Этот план нового государственного переворота, шедшего дальше переворота 3 июня 1907 г., обсуждался в особом совещании в Петергофском дворце в 1914 г. и, если не был принят, то не потому, конечно, что его принципиально отвергли, но потому, что на осуществление его не было шансов: в 1907 году революционная волна, разбитая реакцией, пала — в 1914 году она снова поднималась, и в случае переворота пришлось бы считаться не только с думой, как в 1907 г., но и с все более широким революционным рабочим движением. Однако самая мысль о перевороте и об упразднении думы не умирала, и вся политика правительства в годы войны сводилась к тому, чтобы отделаться от думы.

Эта задача — восстановление во всей силе самодержавного порядка — наполняла все содержание политики правительства, и оно шло к ней не только тайным путем, закулисными заговорами, но и открыто. Достаточно напомнить, что в четвертую думу — можно сказать, накануне войны,— внесен был правительством проект закона о печати, который в основе своей имел проект, выработанный советом объединенного дворянства, и уничтожал даже слабые намеки на свободу печати,

завоеванную революцией 1905 г.: проект узаконял штрафы, налагавшиеся в административном порядке, требовал, чтобы ответственный редактор обладал средним образованием, предоставлял администрации привлекать к ответственности не только редактора, но и издателя, возлагал на владельца типографии ответственность за то, что он печатал и т. д. В то же время внесен был проект закона об обществах и профсоюзах, фактически упразднивший право объединения рабочих в союзы: на всех собраниях союзов должна была присутствовать полиция, вступать в союзы могли только лица, достигшие 17 лет, принимать участие в делах союза могли лица, достигшие 21 года, выбираться в члены правления — достигшие 25 лет, право участвовать в общих собраниях союза получали только проработавшие в предприятии не меньше года, безработные лишались права быть членами союза и т. д. В последнюю предвоенную сессию думы был привлечен к ответственности член социал-дем. фракции Чхеидзе за речь, произнесенную в думе, чем уничтожалась свобода депутатского слова и упразднялась неприкосновенность депутата. Каждым мелким и тем более крупным поводом правительство пользовалось для того, чтобы подчеркнуть, что оно не считается с думой и сохраняет само всю полноту власти. Это наступление развернутым фронтом с целью восстановить дореволюционный порядок совпало с замыслами правительства упразднить думу, как законодательное учреждение, и восстановить полностью самодержавие, о чем мы только что говорили.

Но питать такие замыслы и итти к такой цели царское правительство могло лишь при подавлении всякого противодействия, в борьбе со всякими проявлениями свободы и самодеятельности всех, кто не хотел пребывать в рабстве. Чтобы сохранить и укрепить самодержавие, нужно было одновременно вести беспощадную борьбу с революционным движением и подавлять в стране вообще всякие признаки жизни. И не было тех средств, кровавых и гнусных, законных и беззаконных, которые большие и малые самодержцы не пускали бы в дело в целях самозащиты. Генерал-губернаторы, градоначальники, полиция и жандармерия, не говоря уже о министрах, были наделены чрезвычайными полномочиями и могли творить суд и расправу по своему усмотрению. Законы,

если это не были законы, усиливавшие власть, не имели никакого значения: с ними просто не считались или толковали их так, как это выгодно было правительству. Судьи, состоявшие из чиновников, покорно выполняли волю начальства, постановляли приговоры по его желанию — душили печать, сажали в тюрьму, ссылали на каторгу с таким же рвением, с каким это делали жандармы, не облеченные судебной властью. Армия с ее жестокой дисциплиной служила тем же карательным целям: из солдат делали полицейских и жандармов и гнали их на усмирение всякого рода беспорядков, военные и военно-полевые суды часто заменяли собою суды гражданские там, где нужно было усилить репрессии виселицей и расстрелом.

А основу всей этой системы составляли шпионы, провокаторы, погромщики, направляемые и руководимые из центра, проникавшие повсюду и повсюду творившие свое грязное дело, составляя подлинную опору всего этого чудовищного строя. Провокаторы в школе, в армии, среди рабочих и крестьян, во всякого рода обществах и организациях — везде и всюду было это „государево око". Бывший тов. министра внутр. дел Джунковский признал, что даже он был поражен, когда в списках агентов охранного отделения нашел учеников шестого и седьмого класса гимназии. Настоящим властелином в стране был департамент полиции с его густой сетью жандармских управлений и охранных отделений. Его „наблюдению" подлежало все население, от его решения зависела свобода и жизнь каждого, на его выводах строилась политика, он был душою всей палочной системы. Шпионы и провокаторы должны были проникать всюду и все держать в своих руках, „штаты" их не предусматривались никакими законами, миллионы, шедшие на их содержание, не включались ни в какие бюджеты. Еще в 1912 г. секретным циркуляром департамента полиции было предложено жандармским управлениям „безотлагательно принять самые энергичные и действительные меры к приобретению агентуры, способной всесторонне осветить переживаемые явления в оппозиционной и революционной среде, обратив особое внимание на освещение преступных партийных начинаний среди воспитанников высших учебных заведений, крестьянских обществ, железнодорожных служащих, войсковых и морских частей". В 1916 году — в год войны — была

подтверждена необходимость усиления агентуры в войсках, при чем допускалось „использование секретных сотрудников, принятых на службу в войска, при условии соблюдения их полной конспиративности“. В 1915 году снова предписывалось „путем заведения надлежащей агентуры освещать настроение рабочих“ и т. д.

Всех провокаторов не перечислить — все новые и новые имена их раскрываются еще и в наши дни. Но о некоторых напомнить нужно, чтобы восстановить картину нашего недавнего прошлого.

Известный провокатор Азеф поступил на службу в 1893 г. и пробыл в этом высоком звании до конца 1908 г., т.-е. 15 лет. Будучи уже агентом, он втерся в доверие партии социалистов-революционеров, был одно время членом ее ЦК и руководителем боевой, террористической организации. Департамент полиции находился, таким образом, в курсе всех предприятий партий с.-р., так как агент его стоял в самом центре и от него не было никаких тайн. Чтобы не потерять доверия среди своих товарищей по партии, Азеф сам руководил несколькими террористическими актами (убийство вел. кн. Сергея Александровича, Плеве и др.), но еще больше покушений предупреждал, выдавая жандармам их руководителей. Насколько широко раскинул свои сети Азеф и как ценны были услуги его правительству, показывает щедрая оплата его работы: он получал в последний год 1000 р. в месяц — почти министерское содержание.

Разумеется, столь же ценного агента правительство стремилось направить и в ряды социал-демократической партии. И здесь родился смелый план, пример которому едва ли можно найти в практике провокаторов всех стран света. Правительство решило провести в думу агента охранного отделения в надежде, что он будет членом социал-демократической фракции, и, стало-быть, будет связан с центральными партийными учреждениями. Кандидат нашелся: на службе в московском охранном отделении находился рабочий Малиновский, пользовавшийся популярностью в рабочей среде. Начальник московского охранного отделения приехал в Петербург и самолично доложил начальству о том, что Малиновского можно провести в думу. Вопрос этот обсуждался не рядовыми только охранниками — счастливую идею одобрил и т. министра

внутренних дел Джунковский и сам министр Макаров. Встретилось, правда, небольшое препятствие: Малиновский в 1899 г. был осужден за кражу со взломом, отбыл в 1902 г. наказание и, по закону, был лишен избирательных прав. Препятствие это, однако, легко устранили, решив скрыть порочащее Малиновского обстоятельство, а сам Малиновский за взятку добыл на родине свидетельство о „нравственном" поведении. После этого все пошло, как по маслу. Малиновский был занесен в списки избирателей, а кандидатура его, как популярного в Москве рабочего, была принята и проведена партийными организациями, которые, конечно, не подозревали, что имеют дело с Иудой-предателем. В качестве же депутата Малиновский оказался чрезвычайно полезным правительству. „Сведения Малиновского,— рассказывает бывший директор департамента полиции Белецкий,—давали возможность департаменту полиции проверять сведения заграничной агентуры; затем — давать осведомительные сообщения о руководящих началах работ этих партий (т.-е. социал-демократических); затем посредством его разбивать то, что могло так или иначе мешать правительству. Он относился с таким доверием, что некоторые письма, которые он сообщал департаменту полиции в копиях, давали возможность знать о задачах партии. Наконец, он был командирован фракцией в Швейцарию на съезд партии". Во все время своего депутатства Малиновский работал с департаментом полиции в самом тесном согласии: речи, которые он должен был произносить в думе, заранее просматривались в департаменте, о каждом шаге своем Малиновский, разумеется, ставил в известность свое начальство, как и докладывал обо всем, что ему было известно. По словам другого видного руководителя департамента полиции Виссарионова, Малиновский доставлял департаменту сведения о жизни думской фракции, об ее связях, о партийном органе, о связях отдельных членов фракции, приносил проекты речей, журналы и отчеты заседаний фракций, сообщал о предстоящих поездках членов фракции и т. д. Этой предательской деятельности был положен конец только тогда, когда какая-то дама по телефону сообщила председателю думы Родзянко о том, что Малиновский — агент охранки, и Родзянко спросил об этом товарища министра внутренних дел Джунковского. Опасаясь разоблачений и скандала, правительство убрало

Малиновского из думы, наградило его 6 тыс. руб. и выпроводило за границу.

Мы уже упоминали, что провокация сыграла главную роль в разгоне второй думы и в предании суду ее социал-демократической фракции. „Когда выяснилась невозможность жить в мире со второй думой и необходимость в чрезвычайном порядке изменения избирательного закона,— рассказывает один из ближайших сотрудников Столыпина, Крыжановский,— вдруг, как по щучьему велению, возникло среди левого крыла думы преступное сообщество для ниспровержения государственного строя, с созданием и участием нижних чинов петербургского гарнизона". Щучье веление это было просто веление министерства внутренних дел. Охранное отделение направило своего агента Шорникову в военную социал-демократическую организацию и, по настоянию отделения, она приняла на себя обязанность секретаря организации. Вот что передает о своей деятельности в письме департаменту полиции сама Шорникова: „Работала в социал-демократической организации в качестве секретаря военной организации, работала вполне добросовестно, будучи секретарем. Я знала лично членов центрального комитета, которые находились в то время в Петербурге, всех представителей солдат военной организации; все связи, все явки военных организаций в России, а также военный архив находились у меня. Все эти сведения я точно и аккуратно передавала в охранное отделение, а также лично присутствовала во всех районных собраниях, летучках и заседаниях, так что всегда была в курсе дел". На одной из сходок военной организации было решено подать в социал-демократическую фракцию наказ, при чем принести наказ во фракцию должны были сами солдаты. Шорникова обо всем этом доносила охранному отделению, а самый наказ составлялся с ведома другого провокатора, Болеслава Бродского. Охранное отделение могло, конечно, в любой момент арестовать всех участников военной организации и не допустить посещения ими социал-демократической фракции. Но оно этого не делало, потому что главная задача состояла ведь в том, чтобы установить связь фракции с солдатами и предъявить ей на этом основании обвинение в подготовке вооруженного восстания. Во всяком случае, с содержанием наказа охранное отделение было знакомо. Больше того. Все нити этой провокации

восходили непосредственно к Столыпину, который выразил желание, чтобы наказ — еще до того, как был доставлен во фракцию — был доложен ему. „Начальник охранного отделения,— рассказывает Шорникова,— ездил к Столыпину, который выразил желание иметь наказ, который был еще написан от руки. Так как солдаты плохо читали по писаному, то мне, как секретарю, было предложено членами организации переписать его на пишущей машине. Заботясь об охранном отделении, я вместо одного экземпляра, напечатала два экземпляра“, при чем один экземпляр Шорникова дала военной организации, а другой охранному отделению. Известила Шорникова охранное отделение также о часе, когда депутация от солдат должна была прийти во фракцию. Не успели солдаты вручить наказ депутату Озолю, как нагрянули жандармы. Наказ им, однако, не удалось получить при обыске во фракции, так как Озоль положил его в портфель, а обыскать Озоля не имели права, как члена думы. Все предприятие охранного отделения грозило, поэтому, рухнуть, ибо оставалось неустановленным, для чего, собственно, солдаты явились во фракцию. Но провокаторы обошли и это препятствие: они „приобщили к делу“ тот экземпляр наказа, который доставлен был Шорниковой в охранное отделение, и этот документ фигурировал в обвинительном акте по делу фракции. А Шорниковой, которая привела солдат во фракцию и была секретарем военной организации, дали возможность скрыться.

Мы напомнили только об этих двух-трех провокаторах, с именами которых связаны наиболее гнусные дела царского правительства. Но таких провокаторов, больших и малых, было великое множество. В особой инструкции жандармским учреждениям предписывалось: „секретных сотрудников надлежит иметь в каждой из действующих в данной местности революционных организаций и по возможности по нескольку в одной и той же организации“. Наставление это, конечно, не оставалось только на бумаге. Предатели находились всюду, и жандармы их услугами широко пользовались. В школах агентами были школьники, в войсках—солдаты, в государственной думе—отбросы газетных репортеров, на фабриках—подонки рабочих и т. д. Можно без преувеличения сказать, что на редкой фабрике из крупных не было агентов, навербованных жандармами. Не только в столицах и крупных городах, но

и в какой-нибудь деревне, в Ярославской или Владимирской губернии, на каждой значительной фабрике имелись агенты, либо „вспомогательные сотрудники" охранных отделений, которые доносили о стачках, о наиболее выдающихся рабочих, о появляющихся прокламациях, о толках, слухах и т. д. Каждый рабочий, о котором упоминалось в донесении агента, регистрировался в департаменте полиции, считался уже „замеченным" и над ним всегда висел дамоклов меч тюрьмы или ссылки. Тысячи арестовывались за „подстрекательство" к забастовкам по указаниям агентов, с которыми очень часто конкурировали фабриканты, с своей стороны сообщавшие полиции о „зачинщиках".

Вся эта система провокации и шпионажа, широко разветвленная, не разрешала, однако, полностью задачи. Армия, чиновничество, корпус жандармов и свора охранников — опора, казалось бы, достаточная, но и при ней царское правительство не чувствовало себя в безопасности. Нужна была еще „народная поддержка", нужно было получить еще одну наемную силу, которая действовала бы смотря по надобности, в резерве или в авангарде, которая творила бы дело расправы „именем народа". Эту роль выполняли черносотенные организации, возникавшие и работавшие под руководством правительства. Это было нечто среднее между фашизмом в будущем и опричиной в прошлом,—организованные банды погромщиков, творивших царево „слово и дело". Черносотенные организации вербовались из людей продажных, в низах, как и на верхах, из всякого сорта общественных подонков. „Хулиганы, головорезы и злостные агитаторы, с одной стороны, а нередко обыкновенные воры, грабители и поджигатели, подчас с тюремным прошлым — с другой, вот кто в большинстве случаев составляет ядро деревенских подотделов союза русского народа"— такую характеристику дал черносотенцам никто иной, как правый земец в бессарабском земском собрании. И таковы были, конечно, не только сельские черносотенные организации. Повсюду основную массу их составляли люди с темным прошлым и настоящим, хулиганы по профессии, готовые за деньги на убийство и погромы, а на грабежи и без особого вознаграждения. Это они были участниками погромов в октябре 1905 года при подстрекательстве и попустительстве правительства и благословении

черносотенного духовенства. Это их рук дело — убийства депутатов первой думы Иолосса и Герценштейна и второй думы Караваева. Это они--ближайшие постановщики на суде дела еврея Бейлиса, обвинявшегося в убийстве христианского мальчика с ритуальной целью. Это они—на казенные деньги посылали телеграммы царю с „мольбою" прислушаться к „народному голосу" и восстановить самодержавие. Это они—еще в 1914 г. на приеме у царя обещали, что „наступает смута страшная, кровь прольется рекой и от зарева пожара солнца не видно будет".

Казенные банды погромщиков находились в самой тесной связи и с правительством и с реакционным дворянством. Вожди и вдохновители черносотенных организаций — Марков и Пуришкевич—были влиятельными участниками съездов объединенного дворянства. На съезде дворянства в 1906 г. Пуришкевич говорил: „нам надо демократизироваться, мы можем выиграть только при общении с землей, при тесной связи с народом". Черносотенные организации должны были представлять собою демократию в дворянстве, о чем и докладывал Пуришкевич съезду, „как дворянин и один из главных руководителей союза русского народа", живописуя колоссальные успехи черносотенного движения: союз, якобы, насчитывал тогда больше 3 миллионов членов, открыл 205 отделов, а средства собирал „копеечным сбором". Пуришкевич лгал, конечно, вообще и о средствах, в особенности. Теперь, когда все тайное стало явным, из архивных документов мы знаем, что черносотенные организации существовали исключительно на средства правительства, которое щедро наделяло их субсидиями. Из опубликованных пока данных видно, что в 1914 г. на субсидии, главным образом, правой печати, было израсходовано 826 тыс. руб., в 1915 г.—1.018.300 руб., в 1916 г. — 1.700.000 руб. и на 1917 г. ассигновано было тоже 1.700.000 р. Среди получавших деньги значатся правые депутаты—Пуришкевич, Марков, Замысловский, Бобринский, епископы Антоний и Алексей и многие др.; выдавались деньги как на печать, так и на другие надобности. Пуришкевич получил 31 тыс. руб. на организацию потребительской лавки при союзе Михаила архангела, Бобринский 40 тыс. руб. „на пропаганду идеи объединяющей русской государственности среди зарубежных подъяремных славян". С бахвальной откровенностью Марков

на допросе следственной комиссии временного правительства о полученных им казенных деньгах сказал: „Мы их получали и ничего в этом зазорного не видели. Идеями без денег жить нельзя, а организации требовали денег“. При столь плодотворной „идее“ и щедротах казны деньги обильно притекали в карманы черносотенцев.

За деньги покупались услуги черной сотни, а заслуги погромных дел мастеров доставляли им влияние и силу. Сам самодержец украшал себя знаком союза русского народа, а прием им черносотенных делегаций, как и обмен телеграммами, свидетельствовал о крепкой политической дружбе царя с продажными проходимцами. Мин. вн. дел Маклаков, в благодарность за поднесенный ему знак союза Михаила архангела как-то ответил: „С радостью принимаю этот знак, а членом вашего союза я был всегда и буду“. Столыпин в особенности широко раздавал субсидии черносотенцам, а министр путей сообщения Рухлов насаждал черносотенные организации среди железнодорожников. Что же говорить после этого о губернаторах или каких-нибудь исправниках? Они уже, по примеру „высших сфер“, считали своей служебной обязанностью всячески поддерживать черносотенные организации и находиться с ними в ближайшем общении. И даже представители иностранных держав, поскольку это им было нужно, считались с „правительственной партией“. Был такой случай в 1907 г., когда екатеринославский губернатор, при содействии французского консула побудил администрацию французского общества южно-русской каменноугольной промышленности в Горловке отвести на заводе помещение для союза русского народа. Администрация завода, старавшаяся соблюсти политическую невинность, отговаривалась тем, что если дать помещение черносотенцам, то придется дать и социал-демократам. Консул французский, вероятно, убедил заводскую администрацию в том, что союз русского народа это — „партия“ совсем особого рода и никакого сравнения с социал-демократией не выдерживает.

На дружном союзе и сотрудничестве охранников и черносотенцев процветали погромы и погромная агитация. В г. Александровске (Екатериносл. губ.) жандармский ротмистр Будаговский в конце 1905 года печатал и распространял погромные прокламации, сообщая департаменту полиции, что он

действует совместно „с патриотическим союзом“, а прокламации „приносят существенную пользу в деле борьбы с революционным движением“. В то же время в помещении департамента полиции поставлен был станок, печатавший, под руководством ротмистра Комиссарова, погромные воззвания, из которых одно носило подпись „группа русских фабрично-заводских рабочих г. Петербурга“; воззвания эти распространялись в Петербурге „союзом русского народа“, в Москве при содействии редактора „Московских Ведомостей“ Грингмута. Когда потребовалось, в Тифлисе быстро сфабрикована была в октябрьские дни 1905 г. „рабочая партия патриотов“; на докладе тульского губернатора того же времени об организации „лиц, вполне благонамеренных с целью объединения в интересах правительственных“, Трепов положил резолюцию: „Правительство обязано поддерживать друзей и не поощрять врагов правительства“, давая этим самым повод к повсеместной организации дружеских банд, и т. д.

В любой момент правительство располагало образцовым погромным аппаратом: в центре—департамент полиции, на местах—губернаторы и охранные отделения, в роли активистов—погромщики из черносотенных организаций. Но следует все же признать, что массовые грабежи и убийства не составляли повседневного занятия царского правительства и черносотенцев. Еврейские и всякие иные погромы оставлялись для торжественных случаев, когда нужно было показать „единение царя с народом“ и демонстрировать по какому-нибудь исключительному поводу силу „русской государственности“. Но угроза погромами никогда не сходила с порядка дня, слухи о них распространялись и перед днем 1 мая, и перед готовящейся какой-нибудь демонстрацией, и в дни студенческих волнений, террористических актов и т. д. Беспрерывно действующей оставалась и погромная агитация, подготовлявшая почву для государственного переворота, мысль о котором никогда не оставлялась, как и для укрепления режима гнета и насилия. Руководящие идеи правительственной политики вырабатывались объединенным дворянством, затем они „демократизировались“ в черносотенных организациях и оттуда направлялись в качестве „голоса народа“—к царю, чтобы стать делом. Солидарная работа этих черных сил направляла в основном всю политику правительства, в особенности сказывалась

она на угнетении разных национальностей, — „инородцев“. В эту сторону было направлено исключительное внимание реакции, ибо, с одной стороны, бесправные национальности проявляли живой дух протеста, который нужно было искоренить до конца, а с другой стороны, политика натравливания против „инородцев“ должна была отвлечь внимание русских народных масс от истинных виновников их бесправия.

Финляндия издавна имела свою конституцию и свой законодательный сейм, с чем самодержавное правительство не могло, конечно, примириться. Начинается долголетняя борьба с финляндскими вольностями с целью превратить Финляндию в русскую окраину. Сейм распускался, не созывался, правительство пыталось действовать без него или против него; в Финляндию посылались русские чиновники, русские войска, устанавливалась военная диктатура генерал-губернатора. Наконец, в 1910 г. был издан закон, совершенно упразднявший финляндскую конституцию: сейм был лишен права обсуждать целый ряд вопросов государственного характера и должен был ограничиться рассмотрением мелких вопросов, относящихся к местным делам; такие вопросы, как государственный бюджет, воинская повинность, народное образование, законы о печати, обществах и собраниях и т. п. разрешению сейма не подлежали и должны были разрешаться законодательными учреждениями России.

В Польше вся политика правительства сводилась к руссификации, к насильственному превращению Польши в русские „привислянские губернии“. Упразднить совершенно польский язык, как и финляндский, было бы, конечно, мечтой бессмысленной, но если употребление польского языка в печати и литературе не преследовалось, то в школе и учреждениях допускался только русский язык, и на это возлагалась главная надежда в смысле руссификации. Польша, как и Финляндия, наводнялась русскими чиновниками и русскими войсками, в ней, как и в Финляндии, царила генерал-губернаторская диктатура, главнейшей задачей которой было искоренение всякой возможности национального движения и укрепление, наряду с общеполитическим, национального гнета. В годы войны, желая привлечь на свою сторону поляков и конкурируя с Германией и Австрией, которые также уверяли, что воюют за „освобождение народов“, правительство обещало

полякам независимость, на самом деле нисколько не помышляя о выполнении своего обещания. Первое заявление об этом было сделано в начале войны от имени верховного главнокомандующего, хотя само это воззвание к полякам исходило от совета министров и им было составлено. Такая форма была выбрана с умыслом, именно для того, чтобы правительство ничем не связывать. Министерство Штюрмера, как рассказывает один из его участников, „пришло к заключению, что воззвание великого князя, как верховного главнокомандующего, как по форме издания его, так и по содержанию своему, не является манифестом или государственным, в установленном порядке изданным, актом, налагающим на корону обязанность признать совершившимся фактом объявление политической независимости Польши, требующим дальнейшего его осуществления, а лишь обязует правительство принять во внимание точку зрения великого князя при рассмотрении польского вопроса во всей его совокупности для законного направления его по этому поводу определения“. Таким образом, правительство на самом деле не считало, что принимает на себя какие-либо обязательства по отношению к Польше, а самое воззвание ничем не отличалось от простого шулерства: воззвание, составленное советом министров и одобренное царем, выдавалось за „точку зрения“ верховного главнокомандующего, которую можно было принять и не принять во внимание. И, действительно, проект будущего устройства Польши, выработанный советом министров, отвергал всякие намеки на независимость Польши, исходя из начал куцой автономии, примерно, в том виде, в каком вопрос решен был для Финляндии, после долголетней борьбы с ее вольностями: „свободная“ Польша должна была начать с того, чем кончила порабощенная Финляндия. Но и такой реформы Польша при царизме не получила бы. Влиятельные при дворе поляки хлопотали о том, чтобы правительство объявило, наконец, „о даруемой Польше свободе“; союзники, встревоженные слухами о том, что Германия намерена провозгласить независимость Польши, также поддерживали эту мысль. Русский посол в Париже, излагая точку зрения союзников, писал министру иностранных дел, что „необходимо внушить им (полякам) надежду на то, что победа союзников уготовит им лучшую будущность, а для этого, прежде всего, следует возвратить им

утраченное доверие к обещаниям России, достичь этого возможно лишь в том случае, если Россия возьмет на себя выработку проекта широкой автономии воссоединения Польши“. Однако из всего этого ничего не вышло. Князь Любомирский, один из польских вельмож, обивавших царские пороги, из беседы с царицей вынес убеждение, что она питает „нескрываемую недоброжелательность к каким-либо попыткам разрешить польский вопрос“. Александра Федоровна, между прочим, спросила Любомирского, будет ли счастлив наследник, если Польша получит права, и заметила, что если дать права Польше, то придется сделать то же самое в отношении Курляндии и других областей России. В те же дни царица писала Николаю II по поводу проекта об устройстве Польши: „Думаю, что было бы разумнее несколько обождать, и ни в коем случае не следует итти на слишком большие уступки, иначе, когда настанет время нашему Бэби*), ему тогда трудно придется“. В конце концов, решили подождать, и — снова в приказе по армии, чтобы не брать на себя ответственности даже за такого рода обещания — упомянули наряду с „обладанием Царьградом и проливами“ о „свободной Польше“, как о цели войны. Так решалась судьба народов с точки зрения интересов „Бэби!“

Украина в царской природе не существовала вообще — были „малороссийские губернии“, был „Юго-Западный край“, но Украины не было. Еще с 70-х годов XIX века употребление в печати украинского языка было воспрещено — разрешалось лишь печатание исторических документов и художественной литературы, но и то по правилам русского правописания, а не украинского. Дальше итти в преследовании национальности, кажется, некуда — гонимым, нелегальным признавался самый язык, так что о преподавании на украинском языке или об украинской газете и помышлять было преступно. С 1905 г. украинская печать существовала полулегально, потому что старые ограничения формально не были отменены. А с началом войны полностью воскресло старое. Сразу закрыты были все украинские газеты, а одновременно с захватом русскими войсками Галиции и там закрывались украинские издания. При цензуре книг подвергалось просмотру не только содержание, но и язык, и даже правописание —

*) Т.-е. наследнику Алексею.

многие слова оказались под запретом. Вместе с тем все украинцы, по родству с галичанами, превратились в пособников Австрии, в шпионов и государственных изменников, в чем был найден удобный предлог для усиленных репрессий, вдохновляемых черной сотней.

Такая же политика применялась к прочим национальностям, с тем добавлением, что одними задачами руссификации не всегда ограничивались. Грузин натравляли на армян, армян— на грузин, мусульман — на армян, стремясь всех уравнять в бесправии. Высшего совершенства эта политика достигла в применении к евреям. Здесь разгулу черносотенного слова и дела не было никаких пределов. Здесь не довольствовались тем, что преследовался язык, установили „черту оседлости", в границах которой евреи могли жить, ограничивали доступ их в школы, лишали прав не только политических, но и гражданских. Евреи были на положении париев, жизнью которых можно было играть во славу самодержавия, „великой России". На „жида" сознательно отводилось недовольство темных людей, „жида" бросали на растерзание хулиганской опоре царского трона, за преследование „жида" держались, как за драгоценное наследие средневековья, увековечивающего народную темноту и покорность, — поистине, если бы не было „жида", высшей царской награды заслужил бы тот, кто бы его выдумал. Еврейские погромы — этот массовый грабеж и убийство — являлись самыми отвратительными и кровавыми средствами политической борьбы самодержавия, если в богатом арсенале последнего можно вообще отдавать предпочтение одному средству борьбы перед другим.

Еврейские погромы составляли существенную часть внутренней политики царизма, им вызывались к жизни и им активно направлялись. По свидетельству бывшего военного министра Куропаткина, и Николай II и министр вн. дел Плеве открыто говорили, что „евреев надо проучить", — проучить погромами, в которых царское правительство видело одно из самых действительных средств борьбы с революционным движением и отвлечения внимания народных масс от истинных виновников их угнетения. Когда до министерства внутр. дел дошли сведения о готовящемся погроме в Кишиневе (апрель 1903 года), Плеве, как сообщалось в заграничной печати, предложил губернатору „в виду несомненной

нежелательности внедрения при помощи черезчур строгих мер антиправительственных чувств населению, которое еще не охвачено революционной пропагандой, способствовать немедленному прекращению могущих возникнуть беспорядков при помощи увещаний, отнюдь не прибегая к помощи оружия. Этим самым рекомендовалось погромщиков поощрять, ибо, конечно, не „увещанием" можно было их успокоить. И хотя бывший в то время директором департамента полиции Лопухин уверяет в своих воспоминаниях, что тщательным расследованием выяснена была подложность циркуляра Плеве, который на самом деле такого распоряжения не отдавал, но фактом остается, что „к помощи оружия" в Кишиневе, действительно, не прибегали, о чем местные власти и доносили министру, зная, очевидно, что это обстоятельство его в особенности интересует. Уже в первый день погрома (6 апреля) прокурор суда, донося о событиях, сообщает, что „оружие в ход не употреблялось", губернатор, с своей стороны, сообщал, что погром был прекращен „без употребления, однако, в дело оружия". Прокурор судебной палаты, производивший расследование на месте, установил, что губернатор только 7 апреля передал город в распоряжение начальника гарнизона, разрешив ему пустить в дело оружие. Однако и начальник гарнизона не спешил с подавлением погрома, и, явившись днем к губернатору, потребовал от него письменного разрешения для употребления оружия, а когда такое разрешение было получено, войскам отдан был приказ об этом только к вечеру, когда погром уже прекратился. Так тщательно соблюдались в Кишиневе директивы, данные министром Плеве! Те, которые должны были разгонять погромщиков, стали их покровителями и попустителями. Прокурор судебной палаты пишет в своем донесении министру юстиции, что „разгром и расхищение вещей происходили на глазах войска и полиции, которые, с своей стороны, не принимали никаких мер к прекращению этого бесчинства". „До чего безучастно относились местные власти к погрому, — писал прокурор, — можно заключить из того, что когда толпа евреев, окровавленная, убегала от бивших их буянов, в скверу, мимо которого бежала эта толпа, военная музыка играла веселые мотивы и никто на несчастных избитых не обратил никакого внимания и не оказал им помощи, а полицмейстер принимал

у себя архиерея, который делал в этот день визиты". А начальник бессарабского губернского жандармского управления в донесении департаменту полиции подчеркивал положительное значение погрома, бросая этим настоящий свет на дружное бездействие всех властей от губернатора до архиерея. „Означенный еврейский погром, — писал жандармский полковник, — явившись совершенно неожиданным для местных революционных кружков, состоявших на девять десятых из евреев, нанес очень чувствительный и едва ли скоропоправимый удар революционным затеям этих кружков... Увидев неожиданно свое же оружие направленным деморализованной ими же толпой не против правительства и существующего порядка, а обращенным против евреев, означенные революционные кружки были очень поражены, упали духом, в отчаянии прибегли к своему обычному приему — разбрасыванию преступных воззваний, в коих, с присущим им нахальством, позволяют себе обвинять правительство, полицию, жандармов, приписывая им „случившееся". Но эти „нахальные" проделки революционеров, конечно, пустяки, главное же и ценное в том, что толпа пошла против евреев, а не против правительства, ввергнув этим революционеров „в отчаяние". Только щекотливость темы не позволяла жандарму открыто признаться начальству, что не вредно было бы и впредь прибегать к столь полезному средству исцеления от революционных увлечений.

Но благотворность этого средства была признана общим молчаливым согласием — о погромах не говорили, их делали. Кровавой полосой прокатились они в октябрьские дни 1905 г. по бесчисленному ряду городов в качестве надежной контрреволюционной тактики. И здесь в точности повторилось все то, что было в Кишиневе в 1903 году. Сенатор Кузьминский, производивший расследование об одесском погроме, признал, что градоначальник с самого начала погрома, „сняв городовых с постов, лишил город полицейской охраны", что вместе с тем он не передал власти военному начальству, благодаря чему „гражданская и полицейская власть" бездействовали, хулиганы грабили и убивали евреев на глазах и полиции и войска. В Киеве, по расследованию сенатора Турау, „в то время, когда по всему городу уже происходил погром, чины полиции, по удостоверению как частных, так и должностных лиц, бездействовали". Погром начался к вечеру 18 октября,

а приказ о подавлении его был отдан полицмейстером Цихоцким только вечером 19 октября, когда толпа свободно громила уже полтора дня. Цихоцкий сам шел во главе громил, которые за его спиною занимались грабежом. И только 20 октября, т.-е. на третий день погрома, и. д. генерал-губернатора приказал Цихоцкому прекратить погром и погром прекратился. Но уже и после этого, в присутствии генералов, Цихоцкий „развивал мысль, что еврейский погром имел и хорошую сторону, так как заставил революционеров притаиться“. Такого же мнения придерживались и военные власти. Начальник военной охраны генерал Драке, по словам Турау, „действовал вяло, нерешительно“, а генерал Бессонов „в погроме видел справедливую расправу с евреями и своими замечаниями и речами, без должной осторожности и такта, давал повод предполагать, что погром разрешен властями и что с его стороны умышленно не предпринимаются меры к его прекращению“. В Гомеле погромом руководил жандармский офицер, стоявший во главе местной черносотенной организации. И так дело обстояло во всех случаях погромов. Витте, бывший в то время председателем совета министров, с осторожностью рассказывает в своих воспоминаниях: „После 17 октября по всей России появились демонстрации радости, которые вызывали контр-революции со стороны шаек так называемых черносотенцев. Они были названы черносотенцами вследствие их малочисленности и были составлены по преимуществу из хулиганов, но так как они находили в некоторых местах поддержку со стороны местной власти, то скоро начали возрастать, и дело иногда переходило в погромы преимущественно, если не исключительно, евреев... Вскоре черносотенцы начали получать поддержку в административных властях, а затем и выше. Великий князь Николай Николаевич, вырвавший с револьвером, грозя застрелить себя, манифест 17 октября, уже через несколько недель после 17 октября конспирировал с известным вождем черносотенных хулиганов, доктором Дубровиным, относительно принятия мер для обезвреживания 17 октября“. Пружины, приводившие в движение погромный аппарат, восходили, таким образом, до дворцов и министерских кабинетов, где в тесном сотрудничестве с черной сотней вырабатывались планы организации и поощрения погромов.

Антисемитская пропаганда в самых изуверских ее формах нигде в мире, даже в благословенной Румынии, не достигла такого совершенства и вместе с тем не сохранила в себе столько средневековой прелести, как в царской России.

Как о средневековой инквизиции, люди будут с ужасом читать о том, что в 1913 г. на царском суде разбирался вопрос, употребляют ли евреи христианскую кровь с ритуальной целью. Этот кровавый навет веками поддерживался в интересах господствующей клики насильников, как страшный яд, отравляющий народную душу. И когда в 1913 году потребовалось подновить легенду, достойную дикарей, когда в интересах политической самозащиты нужно было разбудить в человеке зверя и легендой об употреблении евреями христианской крови оправдать систему кровавого насилия не только над евреями,— тогда сфабриковали и поставили на суд дело Бейлиса. Теперь архивы раскрыли все тайны этого дела. Если киевские черносотенцы, быть может, и не убили мальчика Ющинского, то они воспользовались этим, чтобы обвинить Бейлиса в ритуальном убийстве. Столь счастливого обстоятельства не упустил министр юстиции Щегловитов, чтобы самолично руководить делом, устранить следователя, который не находил оснований для обвинения Бейлиса, доставлять копии следственного материала известному черносотенцу Замысловскому, выступившему в деле гражданским истцом, послать в Киев особого чиновника для наблюдения за процессом. Нити этого гнусного дела восходили и выше — о подготовлении процесса Щегловитов делал доклад Николаю II, от которого и получил, нужно думать, одобрение. Ближайшее участие в деле принимало, разумеется, и министерство вн. дел: департамент полиции установил „наблюдение“ за присяжными заседателями, приставив к ним агентов охранки, из средств департамента полиции было выдано в вознаграждение несколько тысяч двум экспертам, вызванным для подтверждения того, что евреи употребляют для ритуальных целей христианскую кровь; когда защита вызвала одного свидетеля, находившегося в ссылке, департамент полиции распорядился об аресте его; начальник жандармского управления на суде показывал в качестве свидетеля по директивам департамента, а с посланным в Киев чиновником департамента совещались председатель суда и прокурор. А когда это славное дело

было доведено до конца, небольшая, но теплая компания, в которой были Щегловитов, прокурор Виппер, обвинявший Бейлиса, известный черносотенец Дубровин, сотрудник „Нового Времени“ Меньшиков, митрополит Флавиан, архиепископ Никон и др., послали телеграмму составу суда, в которой приветствовали „героев киевского процесса“, этих „неподкупных независимых русских людей“. Бесспорно, это был процесс единственный в мире — по крайней мере, едва ли в средние века такого рода процессы подготовлялись так сознательно, с таким цинизмом, с такой уверенностью в безнаказанности, в таком тесном сотрудничестве царя, министров, суда с охранниками и погромщиками.

После такого приема в деле политической расправы с целой национальностью едва ли что-нибудь может вызвать удивление. И, однако, та политика, которую из тех же побуждений повело по отношению к евреям правительство во время войны, может выдержать конкуренцию даже с делом Бейлиса. Конечно, и хозяйственную разруху, и даже военные неудачи правительство поспешило связать с евреями. Штаб ставки сообщил департаменту полиции, будто евреи виноваты в исчезновении звонкой монеты и повышении цен, а департамент немедленно, в январе 1916 г., разослал циркуляр, в котором сообщал все это для „сведения“, т.-е. для руководства в расправе с евреями. „Широкое участие евреев в описанной преступной деятельности,— говорилось в циркуляре,— повидимому, объясняется стремлением их добиться отмены черты еврейской оседлости, так как и настоящий момент они считают наиболее благоприятным для достижения своих целей путем поддержания смуты в стране“. Циркуляр этот преследовал явную цель оправдать новые репрессии против евреев, да за одно свалить на них ответственность за продовольственный и денежный кризис, вызванный войною. Но и это обвинение — вздорное и злостное—было невинной шуткой по сравнению с тем, что проделали военные власти на фронте, с благословения, конечно, правительства.

Евреев стали обвинять в повальном шпионаже и предательстве. Стоило где-нибудь войскам потерпеть неудачи, как находился еврей, который будто сигнализировал немцам, телефонировал, сообщал о расположении войск и т. п. В громадном большинстве случаев все эти обвинения оказывались

ложными, но это не мешало тому, что в шпионаже обвиняли всех евреев. Наиболее известный случай связан с с. Кужи, о котором официально сообщалось, что до прихода русских войск в это местечко „во многих его подвалах евреи спрятали немцев, и по выстрелу подожгли Кужи со всех сторон; немцы, выскочив из подвалов, бросились к дому командира нашего пехотного полка“. По проверке оказалось, что в Кужах было всего сорок домов, из которых шесть еврейских, что не только „многих“ подвалов, но и вообще подвалов там не было ни одного, что евреи не только не прятали немцев, но предупреждали русских офицеров о том, что немцы находятся в четырех верстах, что когда начался обстрел, все без исключения евреи ушли вместе с русскими войсками. О том, что сведения официального сообщения ложны, правительство знало, но не опровергло их, а в приказах по армии предлагалось об этом случае сообщать „всем до последнего рядового“; редакторов, под угрозой штрафов, заставляли печатать правительственное сообщение, которое, по распоряжению военных властей, расклеивалось по улицам. И такие случаи повторялись десятками, ложь распространялась газетами, разносилась по фронтам и по стране, а в связи с этим стали ползти слухи о золоте, вывозимом евреями за границу в гробах, о еврее на белом коне, который едет впереди войск и подает неприятелю сигналы, о ветряных мельницах, приводимых в движение руками, о телефонах, устраиваемых при помощи веревок и т. д. Распуская эти лживые слухи и используя их, правительство обрушилось на евреев с все новыми репрессиями. Отступающие армии выселяли из местечек поголовно всех евреев и гнали их тысячами вглубь страны, предварительно разгромив их имущество. Если от поголовного выселения отказались, то не потому, разумеется, что перестали обвинять евреев в повальном шпионаже, но потому, что такие выселения, в конце концов, осложняли передвижение армий. А отказавшись, заменили выселение другой, такой же жестокой мерой, заложничеством. „Верховный главнокомандующий, — говорилось в приказе по армии,— признает поголовное выселение евреев крайне затруднительным и вызывающим много нежелательных осложнений. Главнокомандующий допускает применение поголовного выселения только в исключительных случаях и считает необходимым взять заложников из неправительственных

раввинов и богатых евреев с предупреждением, что, в случае измены со стороны еврейского населения, заложники будут повешены“. Так постепенно совершенствовалась система репрессий, в основе которой лежала, как и в деле Бейлиса, сознательная и преднамеренная провокация погромов и погромных настроений. Добавим, что начальником штаба главковерха, откуда вся эта система исходила, был Янушкевич, активный участник съездов объединенного дворянства, автор проекта о недопущении евреев в армию. Руководящая рука черносотенной клики видна и здесь.

Засилие охранников и погромщиков разного ранга и звания было основой и венцом всей государственной системы. В борьбе за существование, за сохранение своего господства, самодержавие не выбирало средств, ничем не брезгало, действовало гнетом, насилием, провокацией, подкупом, погромами, расстрелами, казнью... Что же буржуазия? Видела ли она то, что происходило? Конечно, видела и даже протестовала, по крайней мере в либеральной своей части. Немало типографской краски было потрачено, еще больше слов произнесено было в государственной думе. Бывали статьи яркие и речи жгучие. Но от них не падала стена самодержавия, не изменялась система. Убрать охранников — значило разрушить самодержавие. Устранить погромщиков — значило лишить самодержавие души. Что осталось бы от самодержавного порядка без провокации, подкупа, погромов, казней? Как мог существовать этот порядок, если отнять у него все средства его самозащиты? Не разоблачением, не призывами к совести, не требованием законности можно было осилить этот порядок. Над разоблачениями правительство смеялось, над призывами издевалось, пока в его руках оставалась вся власть, пока в его распоряжении был весь государственный аппарат, на который никто не покушался. Выбить самодержавие из крепости, взять власть в свои руки — таков мог бы быть путь буржуазии, ибо только такой путь мог привести к уничтожению царства хулиганов и погромщиков. Но... „за спиной крупной буржуазии стоит пролетариат“. Начать не разговоры, не уговаривание, а борьбу с самодержавием с целью его ниспровержения, а не исправления — значило вызвать вместе с тем красный призрак революции, за которым вырисовывалось восстание рабочих и крестьян. Этого буржуазия боялась

больше, чем всех гнусностей режима охранки и погрома, а потому предпочитала быть „оппозицией его величества“, говорить неприятные самодержавию слова, но не делать неприятных ему дел, которые подрывали бы самое его господство. Эта политика с началом войны и с провозглашением „священного единения“ привела к „гражданскому миру“, в условиях которого ничем уже несдерживаемое самодержавие достигло такой „зрелости“, что стало безудержно гнить на корню.

VII. Крестьянство до войны и в годы войны.

До сих пор мы говорили о господствовавших классах и силах — о дворянстве, буржуазии и о самодержавном правительстве. Посмотрим теперь, что происходило на другом общественном полюсе — в крестьянстве и рабочем классе.

Выше уже было отмечено, что при освобождении крестьян от крепостной зависимости громадная часть земли осталась в руках дворян и только $^1/_3$ ее перешла к крестьянам. При реформе этой больше заботились о том, чтобы наделить землей дворян, чем крестьян. Подавляющая часть последних получила недостаточные земельные наделы: почти половине крестьян (43%) досталось меньше 3 дес. на душу, а больше половины (53%) получили меньше 5 дес. Если принять во внимание, сколько земли нужно было крестьянину, чтобы прокормиться от своего надела, то окажется, что 28% крестьян получили наделы ниже их продовольственной нужды, 32% — по их трудовой силе (т. е. столько, сколько они могли ее обработать своей рабочей силой) и только 40% получили наделы не ниже их продовольственной нужды, — иначе говоря, $^1/_3$ крестьян получила возможность приложить к земле свою рабочую силу, $^2/_5$ получили возможность от земли только прокормиться, а свыше $^1/_4$ не получили и этой возможности. Кроме того, $^1/_5$ всего числа крестьян, что составляло приблизительно 4 млн. мужчин, не получили совсем надела или получили его в размере не свыше 1 десятины на душу.

Все это не только создавало массовое крестьянское малоземелье, но и углубляло то расслоение крестьянства, которое складывалось в крепостную пору и получило теперь новую силу в условиях как освобождения крестьян, так и проникновения в деревню капиталистических отношений. На одной

стороне находилась немногочисленная группа кулацких хозяйств, на другой — хозяйства середняков и бедняков. Маломощные хозяйства, как мы видели, попадали в зависимость от дворян-помещиков, на них падала тяжесть податной политики правительства. В водовороте капиталистических отношений классовое расслоение деревни становилось все более глубоким, и все больше увеличивалось число крестьянских хозяйств, не обеспеченных землею, либо совсем земли не имевших. К концу 90-х годов прошлого века безземельных насчитывалось около $^1/_4$ (22$^0/_0$) всего числа крестьян, а в некоторых губерниях и больше: в Ярославской — 45$^0/_0$, в Московской — 44$^0/_0$, во Владимирской — 36$^0/_0$ и т. д. Незадолго до революции 1905 г. само правительство определяло, что на надельной крестьянской земле для работ требуется не больше $^1/_5$ наличной рабочей крестьянской силы, а остальным $^4/_5$ на наделе делать нечего, так что заработка на стороне должно было искать 23 млн. человек или 52$^0/_0$ всего числа работников обоего пола.

Царское правительство, разумеется, не только ничего не делало для облегчения земельной нужды крестьян, но всей своей политикой содействовало обнищанию крестьянства. Поощряя крупное дворянское землевладение и создавая для него всякого рода льготы, правительство отвергало всякую мысль о дополнительном наделе крестьян землею, а крестьянское хозяйство облагало относительно сильнее, чем хозяйство помещиков. Крестьянству предоставлялось, под гнетом помещика и помещичьей монархии, влачить свою нищенскую жизнь без всякой надежды на какой-нибудь просвет. Единственной отдушиной оставалось переселение на сибирские земли и покупка земель через крестьянский банк. Но с 1893 г. по 1905 г. под переселение было отведено всего 11$^1/_2$ млн. дес. с 619 тыс. душевых долей, а на самом деле переселялось меньше, да и устроиться на новом месте могли только более крепкие хозяева. Что же касается покупки земли через крестьянский банк и без него, то со времени освобождения от крепостного права до 1905 года в руки крестьян перешло всего 16 млн. дес., что, в среднем, было равносильно, примерно, увеличению земли на каждый двор в 1 дес., а фактически означало усиление крепких кулацких хозяйств, так как ни безземельные, ни малоземельные купить землю не были

в состоянии. В результате, к 1905 г. среди крестьянских дворов насчитывалось до 15% безземельных, до 20% — с наделом до 5 дес., до 35% с наделом в 5—10 дес., 15% с наделом в 10—15 дес., 12,9% с наделом 15—20 дес. и 1,4% с наделом свыше 50 дес. на двор. Незначительная кулацкая верхушка крестьянства, составлявшая 1,4% всех дворов, владела 13% всей крестьянской земли, трети же крестьянских дворов (35%), совершенно не обеспеченных землей, принадлежало всего 17% всей крестьянской земли.

На эту острую земельную нужду крестьянство ответило в 1905 г. аграрной революцией. На сходах и митингах крестьяне требовали передачи им помещичьих земель, пытались самовольно засевать земли помещиков, жгли помещичьи усадьбы, увозили помещичий хлеб и т. д. Правительство пустило в ход весь свой богатый арсенал кровавых мер, рассылало по деревням карательные экспедиции, расстреливало безоружных крестьян, жгло деревни, — шло на все, чтобы убить в крестьянстве волю к земле. „Вчера прибыл в село Покровское, серьезный революционный пункт. Артиллерия выпустила семь гранат. Однако население упорствует, не выдает членов комитета. Сегодня утром снова начну обстрел. В соседнем селе Константиновском пробыл три дня. Артиллерия сделала одиннадцать выстрелов“, — так сообщал в Петербург один из многих усмирителей. А из Петербурга подбадривали: „Подавите движение во что бы то ни стало, хотя бы самыми суровыми мерами. Применять на месте военно-полевой суд“. Подавляя крестьянское движение, правительство действовало по всем правилам войны, совершенно так, как полагается на театре военных действий. В январе 1906 г. для усмирения крестьянских волнений рекомендовались такого рода правила: „1) Приведение в известность численности расположенных в губернии войсковых частей, принимая во внимание особые условия каждой губернии, а также топографический характер ее и состояние и род наличных путей сообщения; 2) определив места расквартирования войсковых частей, составить заблаговременно план и сделать соображение, по какому направлению каждая часть может кратчайшим путем возможно скорее и удобнее проследовать к месту вызова для прекращения беспорядков; 3) ознакомить воинских чинов, до субалтерн-офицеров и унтер-офицеров включительно, с местностью

губернии и смежных уездов и с значением наиболее населенных местностей и пунктов; 4) обязать все воинские части иметь географические карты для изучения путей сообщения".

Деревню залили кровью, но крестьянской жажды земли не уничтожили, земельного вопроса из жизни не вычеркнули. Правительство под давлением аграрной революции мечется из стороны в сторону в поисках выхода. Прежде всего, конечно, усиливаются те же репрессии: в январе 1906 г. на усиление полицейской стражи отпускается 14 млн. руб. и помещикам предоставляется право образовать собственную стражу, делается распоряжение о „быстрейшем" передвижении в Европейскую Россию войск, особенно кавалерии из действующей армии, находившейся в Сибири, и т. д. Одновременно разрабатывались и меры утоления земельного голода крестьян. В момент наибольшей паники правящих главное управление земледелия выдвинуло даже вопрос об отчуждении помещичьих земель, но в каком виде? Проект ставил вопрос ясно: целью его было „отнюдь не всеобщее дополнительное наделение, а лишь устранение случаев особо резкого малоземелья среди той части земледельческого населения, которое не нашло исхода из своей земельной нужды в неземледельческих заработках". Таким образом, самый радикальный из правительственных проектов имел в виду устранить только „особо резкое малоземелье". В соответствии с этим, для расширения крестьянского землевладения предполагалось воспользоваться казенными и монастырскими землями, и только „за недостатком их" — землями частных владельцев. Все земли как казенные, так и помещичьи, должны были приобретаться крестьянским банком по добровольному соглашению с владельцами и только при отсутствии такого соглашения подлежали принудительному отчуждению по оценке. Стало-быть, не только помещичьи, но и казенные земли, должны были отчуждаться не безвозмездно, но покупаться банком — и помещики и казна должны были получить за землю плату. На кого же, в конце концов, падали эти платежи? Конечно, на крестьян. По проекту, крестьяне должны были выплачивать проценты и погашать ту сумму, за которую земля приобреталась крестьянским банком и переходила к крестьянам,— делалось это для того, чтобы не допустить в крестьянстве „мысли о даровом приобретении земли". По

самым скромным подсчетам, на покупку земель требовалось до $2^1/_2$ миллиардов рублей — этот выкуп возлагался на крестьян, превышая почти в два раза те выкупные платежи, которые возложены были на крестьян при освобождении от крепостной зависимости (приблизительно $1^1/_2$ млрд. руб.). Таким образом, на удовлетворении „особо острой“ земельной нужды крестьян помещики должны были выручить несколько сот миллионов рублей, как в 1861 г. они за освобождение крестьянских „душ“ получили около миллиарда.

Конечно, даже такой проект был правительством отвергнут. Не потому, разумеется, что он не разрешал земельного вопроса для крестьян или возлагал на них новое бремя платежей, но потому, что он, хотя бы и частично, покушался на помещичьи земли. Совет министров отклонил проект, основываясь „на принципиальном взгляде о святости понятия собственности и опасностях, угрожающих государству от потрясения этой главнейшей основы общественной жизни“; совет министров указывал, что „никакие частичные мероприятия по передаче крестьянам частновладельческих земель не приведут к успокоению их, так как они всегда будут стремиться, ободренные к тому в своих вожделениях, к полному захвату всей земельной собственности“. Николай II, с своей стороны, положил резолюцию: „Не одобряю“, „частная собственность должна остаться неприкосновенной“, — и проект благополучно отправился в архив. Правительство сосредоточило усилия на искании выхода, который оставил бы нетронутыми земли помещиков и направил бы мысль крестьян в сторону от этих земель, подальше от потрясения „святости понятия собственности“ — дворянской, конечно, ибо крестьяне могли обойтись и без всякой собственности.

Так родилась земельная реформа, связанная с именем Столыпина. Мы уже упоминали, что мысль о ней была выдвинута дворянством. Спасая свои земли и стараясь укрепить „святость“ их, дворянство стремилось направить крестьян по руслу увеличения частной их земельной собственности, завлечь их приманкой покупки земельного участка и тем сделать их также сторонниками „святости понятия собственности“. До этого времени крестьяне были затруднены в приобретении земли в личную собственность. По закону им это не запрещалось, покупать землю они имели право, но в большинстве

губерний большинство земель считалось собственностью крестьянских обществ, и каждый крестьянин получал надел не в собственность, а в пользование: наделы могли переделяться, переходить от одного двора к другому, но продавать их крестьянин не имел права: при общинном землевладении, требовавшем неотчуждаемости крестьянских наделов крестьянин был связан со своим наделом, не мог им свободно распоряжаться и потому был стеснен в приобретении на стороне земли в личную собственность. Покупали землю только богатые крестьяне, державшие от себя в зависимости бедноту, прибиравшие к своим рукам наделы последней. Толкнуть крестьян на погоню за покупкой земли в личную собственность значило упразднить общинное землевладение и разрешить крестьянам продажу их земельных наделов. Эту мысль выдвинуло дворянство и ее осуществил Столыпин. Проведенный им закон предоставлял каждому крестьянину право требовать выдела ему земли в собственность из общины, а этим общинное землевладение фактически разрушалось, так как превращалось в добровольное; кроме того, по закону, в тех случаях, когда земли не переделялись в общине определенное число лет, наделы считались уже перешедшими в личную собственность.

Наряду с этой реформой, которая, как мы сейчас увидим, радикально изменила весь уклад деревни, правительство занялось усиленным поощрением переселений крестьян в Сибирь, в надежде успокоить крестьян добровольной ссылкой. Если за время с 1893 по 1905 г. было отведено под переселение 11$^{1}/_{2}$ млн. дес. земли с 619 тыс. душевых долей, то в пятилетие 1905—1910 г.г. было нарезано 1.329 тыс. душевых долей и почти 22 млн. дес. земли. При таком массовом отводе земель участки отрезывались плохого качества, а обстановка для переселенцев создавалась угрожающая, так как интересы их резко сталкивались с интересами местного населения, в Сибири — старожилов, в киргизском крае — киргиз: нужные для переселенцев земли от киргиз просто отнимались. В общем, на приманку эту крестьянство не пошло. Уже с 1909 г. началось сильное обратное переселение из Сибири в Россию на старые места: если в 1907 — 1909 г.г. за Урал проходило 570—580 тыс. переселенцев, то в 1910 г. оно пало до 323 тыс., а в последующие годы не достигало и такой цифры.

Тем усерднее правительство должно было проводить столыпинскую реформу, на которую возлагались все упования. Если дворянство надеялось этим путем, погоней крестьян за покупкой земли, отвлечь крестьянство от помещичьей земли, то правительство в собственнике-крестьянине думало получить новую опору самодержавной власти. По существу же это была буржуазная аграрная реформа, насаждавшая в деревне буржуазный строй, вместо старого патриархального. Она развязывала в деревне капиталистическую стихию, уничтожала в корне патриархальные отношения, разрушала общину, отрывала крестьян от „мира“, бросала крестьянскую землю в водоворот купли-продажи, создавая условия для насаждения новых капиталистических форм зависимости. Место революционной борьбы за землю 1905—1906 г. г., которая велась за конфискацию помещичьих земель, должна была занять борьба за землю на рынке, деньгами, на основе и в условиях сохранения „святости собственности“, этой основы капиталистического строя. А в такой борьбе мог победить, выиграть, извлечь выгоду только тот, кто побогаче, кто располагает большими средствами, кто может свое благополучие устроить за счет других. Выиграть мог кулак, пошатнуться и перейти в безземельные — середняк, еще больше обеднеть — бедняк. „Обогащайтесь!“ „Грабь общину, но поддержи меня!“ — таков был, как писал Ленин, лозунг самодержавия, обращенный к кулаку.

Развязанная капиталистическая стихия, как жернова, захватила громадные массы крестьянства. К 1 янв. 1916 г. выделились из общины 2 млн. домохозяев на земельной площади в 14.122 т. дес. К тому же времени заявили о своем выделе из общины, но еще не были фактически выделены 2 млн. домохозяев на земельной площ. в 14 млн. дес. Таким образом, всего к 1 янв. 1916 г. охвачено было процессом выделения из общины 4 млн. домохозяев на площади в 28 млн. дес. земли. Если к ним присоединить домохозяев в тех общинах, которые распадались, так как в них долго не было переделов (около $1^1/_2$ млн. домохозяев), то получим, что на начала личной земельной собственности переходило около 5½ млн. домохозяев, что составляло свыше $50^0/_0$ всего числа крестьян-общинников. Стало-быть, за десять лет действия столыпинского землеустройства больше половины общинников переходило на частно-собственнические земли. Общие же итоги разложения общины можно

выразить, примерно, в таких данных: если из всего числа крестьянских дворов, имевших земельные наделы, владели ими в 1905 г. на общинном праве 76% и на подворном праве 24%, то в 1916 г. соотношение получилось обратное — на общинное право переходило 33%, на подворное — 67%.

Кто же выделялся и какое это имело значение в жизни деревни?

Наиболее активно стремились к выделу, с одной стороны, более зажиточные крестьяне — сельская буржуазия, с другой — те крестьяне, которые теряли связь с землей. Последние выделялись для того, чтобы получить возможность продать свой надел, на котором им делать было нечего. Зажиточные выделялись, чтобы получить лучшую землю, свести наделы к одному участку, повести хозяйство в более крупных размерах. „За выход на укрепление стоят более всего богатые и непорядочные: первые купить, вторые продать“,— писали из Пензенской губ., разумея под „непорядочными“ крестьянскую бедноту. Когда выделялись отдельные домохозяева, это почти всегда были домохозяева зажиточные. Правительство, поощряя выделы, оказывало таким домохозяевам льготы, содействовало укреплению за ними большего количества земли, лучшей и удобно расположенной. Такие выделы отдельных зажиточных домохозяев служили обыкновенно как бы сигналом к дальнейшему выделению: одни спешили выделиться, чтобы сохранить за собой излишки земли, образовавшиеся благодаря давним переделам (это были также большей частью зажиточные крестьяне), другие опасались, что, если они промедлят с выделом, то получат худшие земли, так как лучшие разберут отдельно выделяющиеся кулаки. „Каждый укрепляет за собою,— писали из Нижегородской губернии,— даже есть вдвойне против другого, через это есть раздоры; у кого мало земли, тот говорит: выкупные платили поровну, а земли имели неравно; а у кого земли много, тот говорит: я имею на нее право, что я ею пользовался, не деля, 24 года и более. Первые укрепляются с целью захватить землю поближе от села и получше, почему землеустроительная комиссия, как первых уходящих, уважила“. „У кого побольше земли, начали с нею утекать потихонько“,—подводили итоги из той же Нижегородской губ. О том же сообщали из Симбирской губ.: „Количество укрепляемой земли семейному составу почти никогда не соответствует,

так как спешат укрепить „стародушники“ — самые многоземельные семьи — с большим числом душевых наделов на двор“. В малоземельных обществах охоты выделяться было меньше. „Какая же может быть выгодность подворного расселения,— писали из Нижегородской губ.,— когда у нас малоземелье, так что на один душевой надел причитается меньше казенной десятины пахотной земли“. Такие крестьяне предпочитали получить землю путем „нарезки“. „Ожидают выработки закона земли на имеющиеся в настоящее время мужского пола души“,— писал крестьянин из Нижегородской губ. „Мы все ждем, когда по воле правительства наступит для нас лучшее, нам нужна земля, а без земли крестьянину-земледельцу плохо“,— писал крестьянин из Пензенской губ. Эта часть малоземельных действовала нерешительно, надеясь на „прирезку“, но также должна была выделяться, чтобы не остаться при худшей земле. Более активно выступали те, которые были мало связаны с землей, или совсем с ней порвали. „Бывшие в отлучке, приехавшие требовают себе землю,— писал крестьянин из Пензенской губ.— На каковые требования говорят: приезжай и паши — отказу тебе не будет. Недовольный подает в суд, суд присуждает, после чего (приехавший) ищет покупателя и продает землю, как свою собственность, богатому мужику“.

Так с двух сторон шел натиск на старые общинные порядки. Прежде всего выдела требовали зажиточные крестьяне, чтобы стать еще более зажиточными. Бедняки и бобыли спешили получить надел в собственность, чтобы продать его тому же зажиточному соседу. А под напором с этих сторон должны были спешить с выделом и те, которые вообще не имели охоты выделяться, но делали это для того, чтобы не остаться при худших землях, если опоздают с выделом.

Выделившись из общины, перейдя на хуторское хозяйство, зажиточный крестьянин мог улучшить и укрепить свое хозяйство, так как имел и деньги, и скот, и орудия. Положение малоземельного при выделе не могло становиться более благоприятным уже по одному тому, что земли оставалось у него так же мало, как было прежде. Свою земельную нужду он должен был, как и раньше, удовлетворять арендой, прежде всего; у переходивших на отруба арендованной земли было до четверти всей обрабатываемой ими земли. Но за последние

довоенные годы арендная плата сильно возросла, за 18 лет удвоившись, а это все более затрудняло аренду малоземельными. Им приходилось поэтому все чаще так круто, что не оставалось ничего другого, как сдать в аренду свой участок, либо продать его. По данным 14 губерний в аренду сдавалось в 1910—1912 г. г. до 22% наделов, а в некоторых губерниях и свыше — до 38%. Еще более быстро росла продажа наделов. За время с 1907 г. по 1 янв. 1916 г. было продано всего свыше 4 млн. дес. надельной земли (4.089,1 т. дес.), при чем, по данным 1910—1912 г. г., из выделившихся дворов продали свои наделы 19%, а из остававшихся в общине — 2,7%, т.-е. выделившиеся значительно чаще прибегали к продаже своей земли. Продавали, конечно, малоземельные,— в среднем на двор приходилось 3 дес. проданного надела, покупали кулаки, зажиточные крестьяне. „Богатые крестьяне с нетерпением ждут, как бы у кого купить и могут купить по 10 душ и более",— писал крестьянин из Пензенской губ. „Означенный закон,— сообщали из Рязанской губернии,—богатым крестьянам дал возможность покупать надельную землю и тем обогащаться, а беднякам дал возможность продавать, отчего и выходит из бедняка бобыль, и это выходит не от глупости или от мотовства, а от неблагоприятных неудач".

Насаждению отрубов и хуторов содействовал также в сильной степени крестьянский банк. С 1907 года банк продавал крестьянам землю сравнительно мелкими участками, а ссуды в высшем размере выдавались банком только при покупке земли в личную собственность и при переселении перекупщика на приобретенный участок. Крестьянский банк, стало-быть, должен был действовать в том же направлении, что и столыпинское землеустройство,— поощрять личную земельную собственность крестьян и выделение их на отруба и хутора.

С 1907 г. по 1 янв. 1916 г. крестьянским банком было продано свыше 4 млн. дес. земли (4.116 тыс.), из них свыше 3 млн. дес. или 78% отрубными и хуторскими участками; из казенных земель было продано 231 тыс. дес., при чем на отруба и хутора приходилось еще больше — 90%. Кто покупал землю у крестьянского банка или при его посредстве и кто извлекал все выгоды из таких покупок? Тот, кто наиболее активно шел и на выход из общины. „Многие зажиточные

крестьяне товариществами покупали землю у соседних помещиков через посредство крестьянского банка с доплатою,— собщали, напр., из Воронежской губернии,— но бедные не были в состоянии присоединиться к зажиточным товариществам, хотя и имели необходимую нужду в земле, и через то удручены своим бедственным положением". Иначе не могло быть, потому что и для того, чтобы купить землю у банка, нужно было располагать средствами. При продаже земли банк требовал доплаты в размере одной пятой покупной суммы, а остальные платежи рассрочивались на $55^1/_2$ лет. Доплата эта все повышалась, так что в 1915 г. приходилось доплачивать в $2^1/_2$ раза больше, чем в 1907 г.— в 1906 г. доплата составляла 20 р. на дес., в 1915 г.— 53 руб. Конечно, без всякого риска покупать на таких условиях мог только зажиточный крестьянин, бедняк же должен был оставить всякую мысль о покупке земли и при содействии крестьянского банка. Середняки с менее устойчивым хозяйством прельщались возможностью купить землю с рассрочкою платежа, но попадали в кабалу к банку и часто лишались купленной земли, которая продавалась с молотка в покрытие недоимок. С течением времени задолженность покупщиков банку все возрастала, и, если в 1910 г. недоимки составляли 21% годового оклада, то в 1915 г. они поднялись до 68%. Такая задолженность приводила к продаже банком земли недоимщиков, которая также все более возрастала. В 1910 г. всего было 1.082 случая продажи с молотка 20 тыс. дес. земли, в 1915 году — 3.623 случая с 53.647 дес., т.-е. за это время число случаев продаж увеличилось в три раза, а количество проданной земли почти в $2^1/_2$ раза. Лишались купленной земли, конечно, те, кто не был в состоянии аккуратно платить банку,— малоземельные хозяйства, удерживали же за собою купленную землю хозяйства зажиточные. Если в отчетах банка и попадаются указания на участие в покупке земель „беззеемельных", то это бывали торговцы, городские мещане, волостные писаря и т. п., т.-е. также зажиточные, которые раньше не имели земли, но могли теперь ее купить, потому что это было им под силу.

Какое же влияние на жизнь деревни могла оказать вся эта аграрная политика по поощрению личной земельной собственности крестьян?

Покупка помещичьей земли и наделов, а также аренда земли, значительно увеличили количество земли, находившейся в личной собственности крестьян. Определяют, что за довоенные последние годы крестьяне приобрели в собственность до 10 млн. дес., а платежи их как за купленную, так и за арендованную землю. достигали 700 млн. руб., т.-е. почти дошли до суммы, уплаченной по выкупу с 1861 г. (около 900 млн. р.). Такой быстрый рост частного крестьянского землевладения наиболее наглядно свидетельствовал о быстроте процесса развязывания капиталистических отношений в деревне. До 1905 г. крестьянская земля в оборот почти не поступала, а частная земельная собственность была развита в крестьянстве слабо; переход крестьянской земли из рук в руки задерживался и маскировался общинным землевладением, когда земля считалась собственностью общины. После 1905 г. усилилась продажа помещичьих земель и в оборот поступали крестьянские надельные земли. Деревня пришла в состояние как бы землетрясения. Старые формы землевладения и землепользования ломались, кто мог, гнался за землей помещичьей и надельной, крестьянская земля становилась таким же предметом оборота, как хлеб или скот. Вплоть до 1905 г. крестьянин оставался прикрепленным к земле — не так, разумеется, как при крепостном праве, но все же к ней привязанным, надел его не мог отчуждаться. Теперь он мог свободно распоряжаться землей, как своей собственностью, и был связан с ней, пока мог, или хотел сохранить эту связь. Достаточно вспомнить, как велика „власть земли“ над крестьянством, насколько весь уклад деревни определялся этой властью и старыми формами землевладения, чтобы признать, что в период с 1905 г. до войны крестьянство переживало время настоящей аграрно-капиталистической революции, ломавшей все старые деревенские устои.

Революция эта приводила, прежде всего, к усилению процесса классового расслоения крестьянства. Покупать землю и с выгодой выделяться из общины мог только зажиточный крестьянин, который на покупной земле и хуторском хозяйстве мог укрепить свою силу. Положение бедняка с выделом не изменилось, купить земли он не мог. Больше того: бедняцкие ряды могли теперь еще сильнее пополняться за счет малоимущих хозяйств. Если малоимущий хозяин от общины мало

выигрывал, то с выделом он терял всякую надежду на улучшение или увеличение своего надела — земельный участок, перешедший в собственность, затвердевал, так сказать, на вечные времена. Усиление кулацких хозяйств, увеличение продажных земельных цен (с 1906 г. по 1912 г. продажная цена земли повысилась на 15%), рост арендной платы, быстрое возрастание дороговизны жизни в предвоенные годы, в том числе на предметы крестьянского хозяйства,—все это ставило малосильные хозяйства во все более тяжелое, шаткое положение. В эти слабые места малосильных середняцких хозяйств всего сильнее била столыпинская реформа. Зажиточное крестьянство предавалось земельной горячке, стремилось к закреплению своих земельных излишков и к захвату общинной земли; экономическая сила этого слоя крестьянства давала ему возможность держать от себя в зависимости беднейшее крестьянство, облегчало его борьбу за землю и, опираясь на закон, он мог всегда добиться выдела и этим поставить и других в необходимость выделяться, хотя бы это и было для них невыгодно. В том же направлении действовал нажим правительства, которое спешило, в предупреждение крестьянской революции, выиграть „ставку на сильных“, насадить кулацкое, чисто собственническое хозяйство, которое стало бы в деревне опорой „порядка“. Нажим этот действовал, как мы еще увидим, во всех тех случаях, когда нужно было заставить слабых пойти на выдел в угоду сильных. Под таким ударом с двух сторон малоимущие хозяйства выделялись, а, выделявшись, прельщались покупкой земли через крестьянский банк, накопляли недоимки, лишались купленной земли, продавали свои наделы. Для беднейшего крестьянства столыпинская реформа означала насильственное обезземеление (экспроприацию) в пользу сельской буржуазии.

Чтобы дать возможное представление о конечных результатах процесса классового расслоения деревни, приведем следующие данные, относящиеся к 1917 г. (в процентах).

Хозяйств

Без посева	11,49	21,83	69,11	Без раб. лош.	28,75
С посев. до 1 д.	10,34			Имеющ. 1 раб. лош.	47,62
„ от 1,1 до 4 д.	47,28			„ 2 „ „	17,57
„ „ 4,1 „ 10 „	25,81			„ 3 „ „	3,98
„ „ 10,1 „ 19 „	4,39			„ 4 „ „ и более	2,08
„ „ 19,1 „ 30 „	0,56				
Свыше 30 дес.	0,13				

Данные эти относятся к 1917 г. и, стало-быть, на них сказывается влияние войны. Годы войны должны были понизить лошадность крестьянства, а это отразилось на размерах посева. Тем не менее основные черты картины, как она изображается приведенными данными, складывались в предвоенные годы под влиянием пережитой деревней встряски социальных отношений и война могла только еще более усилить процесс расслоения, но не изменить его в самой основе. Приведенные данные показывают, что без малого четверть хозяйств была совсем без посева и с посевом до 1 дес., а почти половина хозяйств (47,28%) — с посевом от 1 — до 4 дес. Высшие группы, с посевом свыше 10 дес. на хозяйство, составляют совсем ничтожную величину (5,08%). Также ничтожна по своей численности и группа хозяйств, обеспеченных лошадьми (свыше 3 лошадей на хозяйство — всего 6,06% всех хозяйств), зато безлошадных хозяйств более четвертой части, а с одной лошадью почти половина всех хозяйств. Если по этим признакам судить об экономической силе хозяйств, то можно сказать, что на ничтожную группу кулацких хозяйств приходилось большинство хозяйств бедняцких и между ними — хозяйства середняков.

Процесс, который переживала деревня в довоенные годы, состоял, наряду с экспроприацией беднейших крестьян, в росте и усилении сельской буржуазии в условиях и на почве развязывания капиталистической стихии, явившейся в результате столыпинской земельной реформы. Для громадного большинства крестьян реформа эта не принесла ничего, кроме нового разорения, и поэтому она не устранила остроты для крестьянства земельного вопроса, не уничтожила той основной движущей силы, которая подняла в 1905 г. крестьянство на борьбу за землю.

Вместе с тем, несмотря на глубокие изменения в строе крестьянской жизни, происшедшие под влиянием роста частной крестьянской земельной собственности и развития капиталистических отношений, процесс радикального преобразования деревни не был доведен до конца. Оставалось еще крупное дворянское землевладение с господством дворян-помещиков, с земским начальником, со всей политикой помещичьей монархии, старавшейся удержать власть дворянства над крестьянами, не исчезли окончательно кабальные формы зависимости

крестьянского хозяйства от помещичьего, нужда в аренде помещичьей земли, столкновения из-за потрав, наем к помещику на работы и т. д. К этим старым формам экономического гнета присоединились новые — растущая сила кулака, захват им общинной земли, необходимость продажи ему надела, и прежде всего — насильственное проведение столыпинской земельной реформы к выгоде кулака и к ущербу беднейшего крестьянства.

Мы уже упоминали, что правительство вовсе не оставалось равнодушным к тому, как проходил выход из общины. Оно поощряло к выходу зажиточных крестьян, давало им всякого рода льготы и не отступало перед тем, чтобы силою заставить общинников пойти на раздел, если они последнему сопротивлялись.

В с. Арнаутовке, Херсонск. губ., в мае 1910 г. произошло столкновение между кулаками и обездоленными крестьянами. Кулаки не только скупили у бедняков землю чуть ли не по 25 р. за дес., но и составили мирской приговор об отводе им лучших земель, пустив в дело мертвые голоса общинников, уже давно покинувших село. Беднота заволновалась, стала противиться разделу, но приехал губернатор, арестовал восемь „зачинщиков“ и дело закончилось к удовольствию кулаков. В одной из деревень Псковской губ. часть крестьян, нежелавших выдела, оказала сопротивление землемеру в его работе— на другой день в помощь землемеру подоспели урядник со стражниками и крестьяне больше не сопротивлялись. В с. Лыково, Могилевск. губ., четверо богатых крестьян пожелали выйти из общины; общество, ссылаясь на малоземелье, протестовало, землемера встретила толпа с палками и кольями. На следующий день прибыли стражники, под охраной которых землемер произвел выдел. В одном из сел Киевской губ. крестьяне, противясь выделу, уничтожили чертежи и планы; становой пристав доносил начальству, что при усмирении крестьян „стрелять нельзя было, потому что в селе и толпе сильное брожение“. Но в других местах не было остановки и за расстрелами. В с. Болотовке, Тамбовск. губ., 60 домохозяев из общего числа 480 пожелали выделиться; большинство сопротивлялось этому, а на худой конец просило отложить нарезку земли до уборки урожая; когда же и эта просьба не была услышана, крестьяне заявили, что не допустят до нарезки, преградили толпой

доступ к спорной земле. Исправник приказал стражникам дать залп — 6 человек было убито на месте и 15 ранено. В д. Большая Атмень, Казанск. губ., при таких же обстоятельствах было убито 6 человек и ранено 10 и т. д.

Для крестьянской бедноты все эти бесчисленные столкновения служили хорошим уроком классовой борьбы, тем более, что она развертывалась вокруг земли, а в этой борьбе правительство, во всеоружии своей власти, становилось на сторону кулаков.

Наряду с этим обострялись и отношения между общинниками и выделившимися домохозяевами. „Общинники, — сообщали из Казанской губ., — к лицам, укрепившим наделы в личную собственность, относятся с презрением, потому что каждый из них укрепил по одному наделу умерших душ, которыми до этого пользовалось общество“. Собственников называли ироническими кличками „помещик“, „барин“ и т. п., задевая их всячески на улицах и базарах. В Казанском уезде „укрепляющихся считают за самых последних людей и бойкотируют их при выборах на волостные должности“. В Царевококшайским уезде „общинники наносят собственникам частые побои“, в Цивильском уезде „две трети из укрепившихся получили побои“, в Чистопольском уезде выделенцев „очень ненавидят, даже сулят красного петуха“. „Как я первый укрепился,— сознавался один из выделившихся,— то за это было у меня много озорства; по ночам нельзя было ходить по деревне, били два раза, хотели облить керосином и зажечь“. Из Воронежской губернии сообщали: „Крестьянам, выходящим на отруба, если бы кто пожелал выйти, грозят не пропустить через свои поля и, таким образом, как бы замкнуть на участке... Домохозяев, укрепившихся черезполосно, на сходы уже не пускали“. И такие сообщения в изобилии поступали из многих мест. „Закружились между собой судами из-за земли“,— писали из Пензенской губернии. „Раздоров у обществ с выходами много“,— сообщали из Нижегородской губернии. Отношения до того обострялись, что порою кулаки боялись получать надельные земли, не без основания опасаясь, что наделы эти у них отберут обратно. „Думают, что это нарочно, а потому покупать такую землю боятся“,— сообщали из Симбирской губернии. „Боятся, говорят, что это долго не может просуществовать, что сыновья

продавцов отнимут“,— писали из Саратовской губ. Кулаки эти как-бы не верили своей удаче, легкой возможности скупать наделы бедняков. Наиболее проницательные из них предвидели, что настанет час расплаты.

Так обострялась классовая борьба в деревне. К борьбе с помещиками присоединилась борьба между беднейшим крестьянством и кулаком на почве выделов. Классовое расслоение деревни выражалось не только, как раньше, в имущественном неравенстве и в экономической зависимости слабого от сильного: теперь становились друг перед другом две враждебные активные силы, два класса. Неудовлетворенная нужда в земле большинства крестьян, растущая политическая активность на почве землеустроительной расправы правительства, обострение борьбы между беднотой и кулачеством — такова обстановка, которая создалась в результате столыпинской реформы. Она совсем не обещала скорого „успокоения“ деревни. Силы, боровшиеся за землю, только перестроились, но сама борьба не становилась менее обостренной и полностью сохранилась почва для нового массового взрыва крестьянского движения.

Война умерила землестроительный пыл правительства. Опасаясь новых волнений, правительство сократило землеустройство и предлагало местным чиновникам при разверстке уделять „особое внимание семьям призванных на войну“. Если с этой стороны внешне стало в деревне тише, то в остальном последствия столыпинской реформы продолжали действовать: осталось углубленное расслоение в крестьянстве, остались и враждебные отношения между теми, кто выиграл на выделе, и теми, кто потерял. Но война внесла и ряд новых осложнений в жизнь деревни.

Мы уже упоминали, что война больше всего отняла рабочей силы в крестьянских хозяйствах. Из мобилизованных 18 млн. громадное большинство пришлось на крестьянство и притом на возрасты самые работоспособные; из мужчин в деревнях остались только старики (свыше 50 лет) да молодежь. Восполнить убыль в мужской рабочей силе крестьяне могли только женским трудом, и не могли, как помещики, пользоваться трудом беженцев и военно-пленных. Вот соотношение рабочей силы в крестьянских и помещичьих хозяйствах в 1916 г. по данным 10 губерний:

На каждые 100 чел. приходилось:

	В крестьян. хоз.	В частновлад. хоз.
Своих и наемн. рабочих:		
Мужчин	38,2	47,5
Женщин	60,7	35,4
Беженцев:		
Мужчин	0,4	3,1
Женщин	0,5	2,9
Военнопленных	0,2	11,1

Мужчины, включая беженцев и военно-пленных, составляли в крестьянских хозяйствах 38,8% всей рабочей силы, в хозяйствах помещиков 61,7%, женщины, наоборот, составляли в крестьянском хозяйстве 61,2%, в помещичьих 38,3%. Если до войны число женщин работниц превышало число мужчин приблизительно на 10%, то в 1916 г.— на 58%. В 1915 г. женский труд был широко использован в сельском хозяйстве 40% губерний, в 1916 г.— 70% губерний, вообще же за годы войны острота кризиса рабочей силы возросла в $2^1/_2$—3 раза.

Соотношение труда мужчин и женщин в крестьянском хозяйстве и хозяйстве помещиков было как раз обратное: помещики продолжали работать по преимуществу трудом мужчин, крестьяне — трудом женщин. Если же принять во внимание, что из крестьян наемным трудом мужчин могли пользоваться только зажиточные, то нужно прийти к выводу, что малоимущие хозяйства, которых было громадное большинство, пользовались почти исключительно трудом женщин, подростков и стариков. Существует мнение, что крестьянки-работницы оказались „на высоте положения“ и что от усиления женского труда за счет мужского крестьянское хозяйство мало проиграло. Конечно, женщины выполняли все те работы, которые были возложены на их плечи: пахали, косили, жали, молотили и т. п. Но думать, что от убыли мужчин восторжествовал в деревне только принцип „женского равноправия“, значит не оценить того значения, какое в крестьянском хозяйстве имеет мужской труд. Крестьянин — не только главная физическая сила, но и руководитель хозяйства, отсутствие этого руководителя, само по себе, должно было принести много неблагоприятных осложнений: недаром в годы войны

„большаки" становились во главе нескольких хозяйств, в которых остались одни женщины. Но, помимо того, убыль мужчин должна была сказаться также на производительности земледельческого труда, отразиться на исправлении инвентаря, построек и т. п., как, прежде всего, она должна была привести к сокращению аренды и посевов.

Вот что писал, напр., из Пермской губ. крестьянин, возвратившийся в деревню с фронта. „Те хозяйства, где количество рабочих рук не уменьшилось или уменьшилось незначительно, не пострадали от войны... Но таких меньшинство. В тех же хозяйствах, где работники ушли на войну, площадь посева сократилась. А главное — урожай там значительно понизился, так как поля обрабатывались плохо. Причина этому та, что работниками являются старики, женщины и дети, которые не могут, как следует, вспахать землю, или направить соху, или же земля обрабатывается наемными работниками, которые, конечно, не заботятся о добросовестности своего труда. Те поля, которые обрабатываются „помогами", тоже возделываются неважно и несвоевременно, так как каждый старается прежде всего сделать свое, а потом уж помочь какой-нибудь соседке или родственнице".

Существенные изменения претерпело крестьянское хозяйство и в отношении рабочего скота. Если за годы войны общее число лошадей, несмотря на реквизиции, все же увеличилось, то увеличение это произошло за счет молодняка, который к работе был мало пригоден. Это не могло не отразиться на крестьянском хозяйстве столь же неблагоприятно, как и громадные мобилизации.

Сокращение посевов означало вместе с тем уменьшение аренды крестьянами земель. „Местное крестьянское население, которое до войны много арендовало земли у частных владельцев и у казны, в настоящее время стало сокращать арендование земли; это вызвало сильное понижение арендных цен, которые пали почти на 50%", — сообщали из Мелитопольского уезда. В Смоленской губ. арендная цена пала на 30—35%, в Симбирской губ. на 30—50% и т. д.

Покупка крестьянами земли через крестьянский банк сократилась почти в три раза: если количество земли, проданной крестьянским банком во втором полугодии 1913 г. (449 т. д.) принять за 100, то во втором полугодии 1915 г. это количество

(142 тыс. дес.) составит 32%. Разумеется, от покупки земли вынуждены были отказаться только малосостоятельные слои крестьянства, лишившиеся, к тому же, рабочей силы. „Покупная цена на землю здесь упала до 50%, — писали, напр., из Таврической губ.,—и этим обстоятельством широко пользуются находящиеся здесь теперь „при деньгах“ купцы, деревенские кулаки и просто спекулянты, закупающие землю чуть ли не задаром“. Одновременно продолжалась продажа крестьянами своих наделов: с июля 1914 г. по июль 1915 г. было продано около 900 тыс. дес. надельной земли, при чем средний размер проданного участка равняется примерно 3 дес., т. е. продавали наделы малоземельные хозяйства, переходившие в разряд безземельных. „Сейчас у нас замечается движение по продаже земли, — писали, напр., из Самарской губ. — Многим стало не в моготу работать, а особенно бедным хозяйствам, за отсутствием рабочих рук. Больше всего замечается стремление продать землю у отрубников. Отрубники все понижают и понижают цены“.

Уменьшились либо приостановились затраты крестьян на обновление и восстановление инвентаря, построек и т. п. Ссудные операции учреждений мелкого кредита сократились уже в первый год войны на 18%, а ссуды эти шли на хозяйственные нужды крестьян.

Значительно сократились и заработки крестьян от подсобных промыслов. В Новгородской губ. за первые 9 мес. войны заработки эти сократились наполовину, в Псковской и Олонецкой губ. на $^1/_3$, во Владимирской губ. число уходящих на заработок сократилось на 26%, в Пермской губ. на 17,2% и т. д. Обратное явление, когда уход не уменьшился, наблюдалось, как исключение, напр., в тех губерниях, которые поставляли рабочих для шахт и рудников Донецкого бассейна; значительно же более распространенный отход, напр., на строительные, лесные и т. п. работы повсюду уменьшился. Пали за время войны и кустарные промыслы, за исключением тех немногих, которые могли выполнять военные заказы: вздорожание инструментов и материалов лишало многих кустарей всякой возможности продолжать производство. По данным, напр., анкеты Костромского земства, неблагоприятное влияние войны на кустарные промыслы отмечено в 47,7% случаев, благоприятные — только в 10,7%.

Не для всех крестьян обстоял благополучно и вопрос о продовольствии. Хлебные излишки вообще были в хлебопроизводящих губерниях, но не в потребляющих. Хлебные запасы были у зажиточных крестьян, и если большинство крестьян в довоенные годы продавало хлеб не от излишков, а для уплаты податей и покрытия всякого рода расходов, и затем вынуждено было покупать хлеб для потребления, то такое положение сохранилось и в годы войны, может быть, только в несколько меньшей степени. Такое нуждающееся в покупном хлебе крестьянство попадало в руки кулаков или пыталось закупать хлеб в городах, где, однако, хлеба не получало, так как взамен хлеба требовали мяса, овощей, молочных продуктов. В Сумах, напр., мука из городских складов не выпускалась на рынок в базарные дни. Бахмут не отпускал крестьянам муки, в Воронеже крестьяне тоже безуспешно старались получить хлеб и т. д.

Но, конечно, неизмеримо сильнее был для деревни товарный голод. То немногое количество товаров, которое обращалось на рынке, поглощалось городским населением, в деревню они совсем не попадали или попадали в ничтожном количестве при ценах неимоверно вздутых; такая же участь постигала и немногие нормированные предметы продовольствия (сахар) или такой необходимый предмет питания, как соль. Уже к августу 1915 г. плуги повысились в цене на 20 — 35%, серпы и косына 30 — 50%, пуд гвоздей обходился крестьянам в 12 п. пшеницы. К осени 1916 г. стан колес стоил 100 руб. вместо 15 р. мирного времени, телега 140 — 150 р. вместо 25 р., деревянная лопата—75 к. вместо 20 к., пуд веревок 14 р. вместо 4 р. 50 к. Получая далеко не всегда по $^1/_4$—$^3/_8$ фунта сахара, крестьяне должны были совсем отказаться от него, или заменять его конфектами, за которые платили по 1 р. 50 к.—2 р. за фунт, мануфатура, кожа, галантерея и т. п. совершенно исчезли с крестьянского рынка. Деревня ничего не могла купить либо потому, что необходимых товаров не было, либо потому, что цены на них стояли баснословные.

Высокая продажная цена хлеба должна была содействовать накоплению среди крестьян денег, но, конечно, далеко не у всех. Богатые крестьяне, продававшие хлеб, откладывали „царские деньги“ в кубышки, в которых они так без толку и пролежали все годы революции, сделав из таких крестьян—

любителей-собирателей старых денег. Бедное крестьянство хлеба не продавало или продавало его в таком количестве, что откладывать денег не могло: покупка лошади или коровы, вместо реквизированных, приобретение по высокой цене продуктов, без которых нельзя было обойтись, поглощало всю денежную наличность таких хозяйств. Если на вздорожании хлеба зажиточные крестьяне богатели, то малоимущим хозяйствам война несла разорение.

Все это должно было еще больше углубить классовое расслоение деревни. Вместе с тем, земельный вопрос, борьба за землю вовсе не были сняты войною с очереди. Напротив, у крестьян даже появилась уверенность, что в результате войны они обязательно будут наделены землею. Если буржуазия за свои „жертвы“ войне требовала компенсации Константинополем и проливами, то крестьяне надеялись, что за их действительно бесчисленные жертвы они будут вознаграждены землею. Настроения эти отражали даже крестьянские депутаты госуд. думы, принадлежавшие к правым партиям. „Земельная реформа необходима, господа, там (т.-е. на фронте) теперь борются за нее“,— говорил один из крестьян-депутатов в думе. „На это мы теперь имеем право и свою судьбу с честью отстаиваем на поле брани“,— говорил другой. „Крестьяне еще не забыли слов, сказанных самодержцем, что им будет дана прирезка земли там, где существует теснота земельная. Где этой тесноты нет? Она повсеместно за последние 10 лет усилилась. Дайте же им эту земельную прирезку, они этого особенно ждут, сильнее, чем всего другого“,— говорил третий. Так в умеренной и аккуратной форме заговаривали крестьяне депутаты о земле, говорили о ней потому, что и на них давило крестьянское настроение. О широко распространенной среди крестьян уверенности в прирезке земли после войны доносили и жандармские управления разных губерний. „Крестьяне убеждены, что за все невзгоды за время войны они будут наделены землей“,— писал начальник Симбирского жандармского управления. „Никогда не замирающее стремление крестьян к земле с началом войны не только не ослабело, но наоборот усилилось,— писал начальник Екатеринославского жандармского управления.—Во всех толках крестьян о войне сейчас красной нитью проходит одна надежда — надежда на то, что по окончании войны участники ее будут щедро награждены землей.

В этом отношении в массе циркулируют самые разнообразные слухи, и нельзя не отметить, что слухи эти находят полную веру в рядах армии". В одном месте говорили, что к крестьянам перейдут конфискованные земли немцев, в другом — что крестьянам отдадут бесплатно все завоеванные земли, в третьем отступление армии из Галиции рассматривалось, как потеря земли, предназначенной для крестьян.

По мере затягивания войны, новых мобилизаций, новых реквизиций, роста дороговизны и общего развала страны, эти наивные настроения сменялись в крестьянстве другими. Ушедшие на фронт писали в деревню о своих страданиях и лишениях, о том, что приходится сидеть в окопах без хлеба, и в атаку итти без ружей; доходили во все большем числе вести об убитых и без следа пропавших; в деревню возвращались раненые, искалеченные, навсегда лишившиеся работоспособности; в армию призывались ратники ополчения второго разряда, последняя опора крестьянского хозяйства; жертвы становились все более бесчисленными, а конца войны не было видно, исход ее представлялся безнадежным; до деревни доходили слухи о казнокрадстве, о „старце" Распутине, усевшемся на престоле рядом с Николаем II, о „царице-немке", о всякого рода изменах и предательствах, легенды и небылицы перемешивались с правдой. Вековая покорность, погнавшая миллионы крестьян на фронт, дает зияющие трещины, отношение к войне складывается, как явно враждебное. Желание мира становится все более общим, как более острым становится и стремление изменить условия своей жизни, сбросить с плеч невероятную тяжесть военного времени, не дожидаясь, когда царю придет охота заключить мир.

„Вот берут, берут, берут, солдат, а толку нет, ни мира, ни победы", говорили крестьяне в Курской губ. „Когда же, наконец, кончится война, когда перестанут брать из семейств последних работников",— толковали казанские крестьяне. „Пора отказаться от новых призывов парней и старых мужиков, все равно правительство всех не перевешает, а немцы сумеют всех перебить или перекалечить",— говорили во Владимирской деревне. Жандармы, собиравшие все сведения о подслушанных разговорах и о различных проявлениях крестьянских настроений, в своих донесениях все чаще рисуют картину враждебного отношения крестьян к войне и правительству. „Войну считают

наказанием божьим, потому что народ истребляется, а конца ей не видно, и призывы в войска еще продолжаются", — доносят жандармы из Казанской губернии. „В крестьянской среде слышатся жалобы на призывы в войска, на реквизиции скота, раздаются речи о невозможности победить немцев, о целесообразности сдачи в плен",— таков отзыв начальника Владимирского жандармского управления. Из Херсона начальник жандармского управления писал: „После того, как точно определились наши неудачи на войне, а также после резкого выпада в государственной думе со стороны ее членов против высших чинов центральной правительственной власти, в населении, особенно крестьянском, стало замечаться враждебное отношение к высшей власти в России вообще, при чем тогда же распространялись усиленно слухи о царящей везде государственной измене, огромных подкупах и пр.". Из Екатеринослава доносили департаменту полиции: „Восторженные газетные статьи о выносливости солдат, их доблестях и подвигах, а также рассказы возвращающихся домой раненых солдат — сделали и делают свое дело; военнопленные, отпущенные на крестьянские работы, расселенные по деревням, тоже способствуют привитию крестьянству новых идей и взглядов на войну". В одной из сводных своих записок департамент полиции писал: „Теперь в деревне уж не верят в успех войны; по словам страховых агентов, учителей, торговцев и проч. представителей деревенской „интеллигенции", все ждут не дождутся, когда же, наконец, окончится эта проклятая война". В другой записке департамента говорится: „В деревнях наблюдается революционное брожение в роде того, которое имело место в 1905 — 1907 г. г. Повсюду обсуждаются политические вопросы, делаются постановления, направленные против помещиков и купцов, устраиваются ячейки разных организаций... Таким образом, крестьянство, несомненно, окажется весьма действительным участником нового и неизбежного движения".

Более определенно и, главное, более активно все эти настроения складывались в армии, основную массу которой составляли крестьяне. Между крестьянами в солдатских шинелях и деревней поддерживалась непрерывная связь; их соединяли тысячи нитей, общие нужды, общие настроения; солдатский фронт жил слухами, шедшими из деревни, деревня— слухами, доходившими с фронта. Настроения солдат, это

были настроения крестьянского тыла, деревни, лишь обостренные тяжестью войны, очищенные от покорности всей военной обстановкой, более смелые, решительные, активные. Как ни прискорбно было для правительства все больше нараставшее революционное настроение армии, но его должен был признать и департамент полиции, стараясь лишь подсластить горькую пилюлю. Одна из записок департамента уверяла, что „война в войсках популярна“, что все „готовы биться с врагом до победного окончания“, но тут же оказывалось, что „нарастает желание скорее кончить войну“, что „часто приходится слышать, как солдаты толкуют о бесполезности воевать“. Записка уверяла, будто солдаты „государя любят“, но тут же допускала возможность не только „больших волнений в случае роспуска государственной думы“, но и того, что „войска будут на стороне переворота и свержения династии“, так как,— добавляет записка, — „любя царя, они все же слишком недовольны всем управлением страны“. Ну, а если солдаты были готовы свергнуть династию, значит от „любви“ к царю у них уже ничего не осталось. И, разумеется, не было никакой „любви“, как не было желания воевать, но было желание кончить войну полной победой над старым порядком. „Я еще не встречал ни на фронте, ни в лазарете, ни в запасных полках солдат, горящих желанием биться с врагом,— говорилось в письме с фронта, адресованном в государственную думу и перехваченном жандармами. — Все устали — все жаждут мира... Солдат стал просыпаться, начинает видеть ненужность войны, сознавать, что его обманули вы и присные вам, которым выгодна война“. А департамент полиции вынужден был, в конце концов, писать: „Армия и в тылу и в особенности на фронте полна элементами, из которых одни способны стать активной силой восстания, а другие могут лишь отказаться от усмирительных действий, но при достаточной организованности первых едва ли в армии найдутся в достаточном количестве элементы, способные стать активной контр-революционной силой правительства. Вооруженный народ, стоящий тепер в окопах и в тылу, пропитан насквозь массою революционных элементов сознательных крестьян и рабочих, к которым надо прибавить еще десяток тысяч солдат угнетенных национальностей“.

Падала надежда на армию, падала надежда на крестьян. Между 1905 и 1917 г.г. в жизни деревни произошли глубокие

изменения, и ко второй революции крестьянство стало уже не тем, чем оно было ко времени первой революции. Под влиянием столыпинской земельной реформы обострились классовые отношения в среде крестьянства, быстрее продвинулась вперед экспроприация беднейших крестьян, все большую силу в деревне приобретал кулак. Земельное оскудение и нищета крестьянской массы не ослабевали, но принимали все более острую форму. Борьба за землю, в которой крестьянство в 1905—1906 г.г. потерпело поражение, не потеряла своей жгучести и не переставала стоять в порядке крестьянского движения. Мировая война еще более обострила положение в деревне. Она не только потребовала от крестьянства величайших жертв человеческой жизнью. Со всей силою она обрушилась на крестьянское хозяйство, лишила его рабочей силы, дезорганизовала рынок, обрекла деревню на товарный голод, разрушала производительные силы деревни. Черные, грозные тучи повисли над крестьянством; придавленное войной и развалом народного хозяйства, оно поднималось, чтобы сбросить с себя гнет помещика и царизма; длительный процесс обострения классовой борьбы в деревне прорывался наружу, чтобы стремительной лавиной опрокинуть и снести вековые устои крестьянской кабалы и неволи.

Царизм лишался своей опоры в крестьянской покорности, от него уплывали штыки, на которых он сидел и которые теперь обращались против него. Горючий материал, накопившийся в деревне в довоенные годы, теперь, в годы войны, достигал максимальной разрушительной силы. Безоружное крестьянство, враждебное войне и полное ненависти к помещикам и царизму, стало вооруженным народом. У порога была революция...

VIII. Рабочий класс накануне революции.

Война застала рабочее движение на высоком гребне революционной волны. В июне 1914 года бастовало 329 тыс. рабочих (считая повторные стачки), в июле (собственно в первую половину июля до объявления войны) 795 тыс. Всего в 1914 г. бастовало 1.337.458 рабочих — опять, собственно, в первую половину года (точнее в $6^{1}/_{2}$ мес.), так как во вторую половину 1914 г. бастовало всего 24.752 рабочих. В 1906 г. бастовало

1.108.406 рабочих, то-есть меньше, чем за половину 1914 г. В 1905 году бастовало 2.863.173 рабочих — в два раза больше, чем в первую половину 1914 г. Весьма возможно, что если бы не война, дистанция между стачечным движением 1905 и 1914 г.г. была бы многим меньше, ибо число стачечников в 1914 г. (за весь год) легко могло дойти до 2 мил. человек.

Как известно, стачечная волна после лет реакции начала подниматься с 1911 г. и, в особенности, с 1912 г. В 1907—1910 г.г. рабочие вынуждены были вести, по преимуществу, оборонительную борьбу, защищаться от наступления промышленников. В эти годы, под прикрытием общей реакции, объединенный капитал и отдельные фабриканты лишают рабочих почти всех экономических завоеваний 1905—1906 г.г., заработная плата сокращается, рабочий день увеличивается, восстанавливается система штрафов и т. д. Борьба рабочих направляется к тому, чтобы удержать завоеванные позиции, не дать ухудшиться условиям труда, а, при возможности, двинуться и вперед, к новым завоеваниям. Борьба эта затруднялась для рабочих кризисом, который переживала тогда промышленность, огромной армией безработных, давивших на рабочий рынок.

С 1910—1911 г.г. начинается в промышленности полоса оживления, спрос на рабочих усиливается, безработица сокращается. Создаются условия, благоприятные для наступательно стачечного движения, для борьбы за возвращения к завоеваниям 1905 г. и за повышение заработной платы. Однако, наряду с промышленным оживлением, как благоприятным моментом, налицо были также условия, создававшие для рабочих новые трудности, но и побуждавшие рабочих к борьбе, которая становилась все более обостренной. Дело в том, что после 1905 г. и вплоть до войны росла дороговизна жизни — явление это было мировым и сказывалось не только в России, но и в других странах. Рабочим приходилось поэтому не только бороться за повышение заработной платы, но и бороться за ее все большее повышение, чтобы удержать ее, по крайней мере, на уровне все возраставших товарных цен.

Чтобы показать, насколько повышение заработной платы не соответствовало повышению товарных цен, приведем данные об изменении заработной платы в ее денежной форме и реальной, т.-е. в покупной способности денежной платы при данном уровне цен (по сравнению с 1890—1899 г.г.).

Годы	Денежн. зар. плата	Реальная зараб. плата	
		по ценам хлебн. продуктов	по ценам всех вообще товар.
	В	р у б л	я х
1900	194	198	172
1906	231	189	185
1913	264	204	183

В 1906 г. денежная заработная плата повышается по сравнению с 1900 годом на 57 руб., но реальная плата повышается всего на 13 руб., т.-е. купить товаров рабочий мог больше не на 57 руб., а всего на 13 руб. В 1913 г. положение ухудшается: с 1906 г. денежная плата увеличивается на 33 руб., но реально она поднимается только по отношению к хлебным ценам (хлебных продуктов рабочий мог купить на 13 руб. больше), но понижается по отношению ко всем товарным ценам: товаров рабочий мог купить на 2 руб. меньше, несмотря на то, что денежная плата его возросла на 33 рубля. Таким образом, именно в предвоенные годы дороговизна давала о себе знать рабочему особенно остро, видвигая вопрос о дальнейшем повышении заработной платы.

В этих условиях стачечная борьба разрастается, втягивая в движение все новые и новые массы рабочих. Но в самодержавно-полицейском царстве всякая экономическая борьба неизбежно переходила в борьбу политическую. Профессиональные союзы преследовались, собрания запрещались, даже „мирные“ стачки, вопреки закону, считались недопустимыми, революционные организации подвергались постоянным разгромам, рабочие — арестам и высылке. Промышленники упорно отказывают в удовлетворении требований рабочих, а правительство становится на защиту капитала всем своим полицейским аппаратом. Летом 1912 г. петербургское общество фабрикантов и заводчиков постановило не допускать сокращения рабочего времени, повышения платы, представительства на фабрике рабочих (депутатов, старост), не платить за дни забастовок, не принимать рабочих с бастующих предприятий, вести черные списки и т. д. Всякий раз, когда стачечное движение захватывало ряд фабрик, промышленники закрывали свои предприятия, объявляли всем рабочим расчет, и затем при новом приеме выбрасывали на улицу всех неугодных рабочих (большой локаут был, напр., в Петербурге летом 1912 года, в

марте 1914 г. и т. д.). Как раз накануне войны (9 июля 1914 г.) в ответ на усиливавшееся стачечное движение петербургские фабриканты и заводчики решили закрыть предприятия и рассчитать всех рабочих; закрыто было 66 фабрик и заводов, среди них все крупнейшие заводы: Путиловский, Невский, Металлический, вагоностроительный, Айваз, Эриксон, Сан-Галли, Невская бумагопрядильня, Новая бумагопрядильня, Скороход, Треугольник и т. д. Но такое противодействие капитала вызывало еще большую настойчивость борьбы рабочих. В 1914 г. упорство стачечной борьбы достигло напряжения, небывалого в России. Средняя продолжительность одной экономической забастовки составила в июне в 1914 г. 13,2 дня, в июле — 14,04 дня, в то время как в период 1910 — 1913 г.г. максимальная продолжительность стачки составляла 12,19 дня (август 1913 г.) при средней продолжительности приблизительно в 9 дней. Данные эти говорят о чрезвычайной энергии, с какой рабочие вели экономическую борьбу в предвоенные годы.

В этой все обострявшейся борьбе настроение рабочих крепло, они готовы были активно отвечать на всякие репрессии, все больше проникались сознанием необходимости возобновить революционную борьбу, подавленную в 1905—1906 г. г., пойти новым штурмом на самодержавие. Внешним выражением этого роста революционных настроений в рабочем классе было увеличение числа политических стачек. В 1912 г. в политических забастовках участвовало 549 тыс. рабочих (75% всего числа участвовавших в стачках), в 1913 г. — 502 тыс. (56%), в 1914 г. 1.034 тыс. (77%) — в последний предвоенный год свыше $^3/_4$ бастовавших рабочих бастовали по политическим мотивам, протестуя против политического гнета, борясь с самодержавием. Свыше миллиона рабочих, бастовавших по политическим поводам в первые $6^1/_2$ мес. 1914 г., служили наглядным показателем роста революционного движения рабочих, приближавшегося по силе своей к движению 1905 г. (когда в политических стачках участвовало 1.082 тыс. рабочих) и превзошедшего движения 1906 г. (514 тыс. участников политических стачек).

Движение захватило все крупные промышленные районы, втягивая в себя все большие массы. Так, в день 1 мая бастовало в 1912 г. 217 тыс. рабоч., в 1913 г.—175 тыс., в 1914 г.—

309 тыс. В день 9 января бастовало в 1913 г. 73 тыс., в 1914 г.—183 тыс. В связи с ленским расстрелом бастовало в 1912 г. 246 тыс. рабоч., в виде протеста против преследования рабочей печати (в марте 1914 г.)—227 тыс., в связи с репрессиями против участников стачки Путиловского завода—292 тыс. и т. д. Особенной силы движение достигло, конечно, в Петербурге, где за первую половину 1914 г. бастовало (считая повторные стачки) 726 тыс. рабоч., из которых большинство бастовало по политическим мотивам. Так, в 1913 г. в Петербурге бастовало: 9 янв. — 60 тыс., в годовщину ленского расстрела — 60 тыс., 1 мая — 110 тыс., по поводу суда над обуховцами за стачку — 83 тыс. и т. д. В 1914 г. 9 января бастовало 110 тыс., в связи с обсуждением в государственной думе запроса о Лене (март) — 53 тыс., по поводу исключения из государственной думы на несколько заседаний депутатов социал-демократов (в апреле) — 38 тыс., по поводу суда над обуховцами — 70 тысяч.

Особенно крупные размеры и бурные формы приняло движение в июне-июле 1914 г. В двадцатых числах мая началась забастовка на нефтяных промыслах в Баку, охватившая свыше 226 фирм и свыше 34 тыс. рабочих; забастовка эта протекала дружно, велась настойчиво и продолжалась до первых дней объявления войны, вызвав большое замешательство в правительственных кругах. Бакинская забастовка нашла отклик в Петербурге, где в виде протеста против примененных в Баку репрессий, а также репрессий в связи с митингом на Путиловском заводе, бастовало в начале июля до 100 тыс. рабоч. Независимо от этого, в июне и первой половине июля в Петербурге не прекращались массовые стачки, сопровождавшиеся демонстрациями, столкновениями с полицией, даже попытками сооружения баррикад, принимая явно революционный характер. В дни стачек, в связи с событиями в Баку и на Путиловском заводе, в Петербурге бастовало 7 июня 110 тыс. и 8 июня 78 тыс. раб., которые не довольствовались оставлением работы и вышли на улицу.

„Особенно бурным характером отличались забастовки, возникавшие в начале июля, без всякого ясно выраженного к тому повода, — читаем в годовом отчете петербургского общества фабрикантов и заводчиков. — Охватив почти все заводы Петрограда, эти забастовки сопровождались буйствами, явно

показывающими, что внутренние причины их лежат вне условий заводской жизни". В этих словах верно только то, что стачки охватили почти все заводы столицы. Не только поводов, но и глубоких причин к забастовкам было сколько угодно и, если они не всегда коренились исключительно в условиях фабричной жизни, то всякая попытка рабочих добиться лучших условий существования встречала одинаково упорное сопротивление со стороны правительства и промышленников. Достаточно напомнить, что в течение первого полугодия 1914 г. локауты применялись промышленниками несколько раз, что десятки тысяч рабочих за стачки выбрасывались на улицу, что локауты эти систематически служили цели „фильтрации" рабочих, т.-е. увольнение всех „неблагонадежных" с занесением в черные списки; что в Баку в ответ на экономическую стачку рабочие были насильно выселены из заводских квартир и подлежали вообще выселению из города; что участились случаи предания рабочих суду за стачки; что как раз в это время усилились репрессии против легальной рабочей печати, профессиональные союзы закрывались вообще и за руководство стачками, в особенности, и т. д. Это было время нового натиска реакции, нового похода ее против того немногого, что осталось от завоеваний революции 1905 г. Мы видели, что, по почину Николая II, в эти годы обсуждался план государственного переворота с лишением государственной думы законодательных прав. В эти же годы был предпринят реакцией решительный поход против и экономической и политической борьбы рабочих. Летом 1913 г. министерством вн. дел был поднят вопрос об установлении особой уголовной кары за возбуждение рабочих к стачке из „побуждений политического и революционного характера" одновременно тем же министерством вырабатывался проект „примирительных камер" в составе председателя - губернатора (или градоначальника), фабричного инспектора и члена окружного суда, которые должны были разбирать конфликты и в известной мере заменить фабричную инспекцию. В то же время министерство торговли и промышленности проектировало предоставление фабрикантам права расторгать договор найма с рабочими в случае стачек. В октябре 1913 г. совет министров для обсуждения всех этих мер образовал особое совещание, которое закончило свою работу в начале июня 1914 г. Проект, выработанный особым

совещанием, предоставляет фабрикантам право, которого они давно добивались, — расторгать договор найма с рабочим (без предупреждения и без уплаты заработка за 2 недели вперед). при стачках и вообще при нарушении рабочими договорного рабочего времени, или иных условий найма; уголовные законы проектировалось дополнить статьей, карающей виновного „в возбуждении служащих или рабочих казенных или частных предприятий к стачке с политическими целями“ — заключением в исправительном доме, а принуждающего к такой стачке „угрозой“, насилием или отлучением от общения (т.-е. бойкотом) — заключением в исправительный дом на срок до трех лет. Так, за две недели до войны, правительство изготовило новые скорпионы для рабочих, собиралось отнять у них право стачек и экономических и политических. Все это создавало атмосферу напряженной борьбы, приближало час решительного боя, к которому правительство и капитал готовились, во всяком случае, весьма энергично. В таких условиях даже мелких поводов достаточно было для того, чтобы поднять рабочих на борьбу, а поводов было в излишестве и крупных — налицо оставался нестерпимый гнет капитала и полицейщины, ежечасно дававший знать о себе и в рабочей нужде и в рабочем бесправии.

Эта мертвая петля, которая цепко охватила пробудившийся к новой борьбе рабочий класс, должна была быть разрублена одним ударом — революцией. К этому дело и шло. Мелкие поводы к экономическим столкновениям тонули в общем протесте против экономического и политического рабства: борьба за повышение заработка в условиях дороговизны не приводила к повышению уровня жизни; стремление расширить рамки борьбы, добиться более свободных ее условий встречало новые репрессии. Мелкие стычки и по экономическим и по политическим поводам неизбежно выливались в общую, массовую борьбу, которая нуждалась только в большей организованности и должном руководстве, чтобы превратиться в революционную атаку против самодержавного порядка.

Движение 1912 — 1914 г.г., все нараставшее, разумеется, было меньше всего „стачечным азартом“, как окрестили его ликвидаторы-меньшевики, которые в беспрерывных забастовках по самым различным поводам, и экономическим и политическим, видели либо искусственное „подстрекательство“

большевиков, либо слепую стихию неорганизованной массы. Но „подстрекательство“, как и агитация, вообще не могут вызвать массового движения, если для него нет надлежащей почвы, а „стихийным“ это движение было не больше, чем всякая другая массовая борьба рабочих. Необычайная стачечная энергия рабочих — и при том не только петербургских, но и глухих фабричных мест, где порою и совсем не бывало „подстрекателей“, — говорила прежде всего о нестерпимом экономическом и политическом гнете, в условиях которого жили рабочие и сбросить который с себя они рвались, о разнузданно-наступательной тактике объединенного капитала, которая не могла не встретить противодействия со стороны рабочих, в особенности в условиях промышленного оживления, о том, что после лет реакции и промышленного кризиса к рабочему классу возвращается его активность. „Стихийность“ движения, его массовый характер и массовый напор свидетельствовали именно о революционной обстановке — борьба рабочего класса не укладывалась в обычные рамки размеренной экономической борьбы, выходила на широкую дорогу революции, заставляла искать новых путей.

Война застала рабочее движение именно на этой его стадии. Непрекращавшаяся в петербурге в течение всего июня 1914 г. забастовка превратилась в начале июля в один общий бурный поток. Когда 2 июля на Путиловском заводе состоялся митинг по поводу бакинской забастовки, полиция, при разгоне его, произвела несколько выстрелов, в результате которых оказались несколько раненых и убитых. Петербургский пролетариат немедленно ответил на это забастовкой протеста — 4 июля по призыву Петербургского комитета (большевиков) бастовало свыше 70 тыс. рабочих, продолжались забастовки и в последующие дни, не ограничиваясь назначенным комитетом трехдневным сроком. 9 июля бастовало 120 тыс. рабочих, в том числе вагоновожатые и кондуктора трамвая. Толпы рабочих выходили на улицу со знаменами и революционными песнями. На Выборгской стороне в трех местах были сооружены баррикады, сделаны были попытки заградить набережную Черной речки; прибывшие войска дали несколько десятков выстрелов, рассеявших демонстрантов. Вечером сваленными телеграфными столбами и протянутыми между домами проволоками были забаррикадированы Больш. Сампсониевский пр.,

баррикады появились на Безбородкинском просп., сделаны были попытки поджечь Сампсониевский мост. За день было зарегистрировано 5 убитых и 8 раненых выстрелами со стороны войск.

10 июля бастовало 111 тыс. рабочих, в том числе 30 типографий. В различных частях города происходили демонстрации. Шесть тысяч рабочих Обуховского завода пришли к карточной фабрике, соединившись с которой, двинулись демонстрацией. Такое же демонстративное шествие устроили рабочие Невского, Александровского механического завода и вагонных мастерских Николаевской жел. дор. У гавани были повалены трамвайные вагоны, во многих местах происходили стычки с войсками и полицией. Как раз в эти дни в Петербург приехал французский президент Пуанкаре, и полиции пришлось немало поработать, чтобы предотвратить готовившуюся по этому поводу демонстрацию.

Война сразу прервала движение. „С объявлением войны,— констатируют отчеты фабричной инспекции относительно всей России,— рабочие бастующих предприятий стали быстро приступать к работе“, благодаря чему из 364 экономических забастовок к концу июля остались по России неликвидированными всего 12 забастовок. Отчет Петербургского общества фабрикантов и заводчиков за 1914 год также с удовлетворением отмечает, что в Петербурге „за второе полугодие (1914 г.) была всего одна небольшая забастовка“. Стачечное движение было ликвидировано не мерами полиции и фабрикантов, а мировой войной. Всеобщие мобилизации, диктатура военщины, „патриотический“ угар сделали свое дело.

Война могла, однако, сбросить рабочее движение с его высоты только на время. Июльские дни 1914 г., напомнившие по революционному напряжению дни 1905 г., не могли пройти бесследно и не служить залогом того, что революционная борьба рабочих не только получит свое продолжение, но в условиях войны почерпнет новую силу. Это оставалось непреложным не только потому, что все те основные причины, которые толкали рабочих на борьбу, войною не были устранены, но и потому, что ни на один класс населения война не обрушилась с такой тяжестью, как на рабочих. Тяжело пришлось крестьянам, но они, по крайней мере, так или иначе обеспечены были хлебом и застрахованы от голода. Рабочий не получал от земли хлеба — он должен был все покупать,

а голодное существование городского населения в годы войны было, прежде всего, голоданием рабочих. Как и крестьяне, рабочие подлежали военной мобилизации, но сверх того судьба их была тесно связана с мобилизацией промышленности, переведенной на военное положение: отсрочки по военной мобилизации прикрепляли рабочих к заводам, общий военный режим на заводах затруднял борьбу рабочих и всегда держал готовым против них весь арсенал репрессий и мирного и военного времени. Поскольку же, как мы увидим, один только рабочий класс выступал активно, несмотря на тяжелые условия войны, ему, как никому другому, приходилось выдерживать и натиск реакции.

Сила сопротивления и активности возвратилась к рабочим не сразу. Первое время этому, в особенности, не благоприятствовал изменившийся состав рабочего класса. Мобилизации в сильнейшей степени разрядили основное ядро рабочих. Отсрочки по явке в действующую армию давались вовсе не так щедро, как можно думать. По данным Московского промышленного района, отсрочки были даны всего 40,4% рабочего состава мирного времени, так что больше половины рабочих мобилизованных возрастов пошло на фронт. Естественно, что больше всего давались отсрочки рабочим заводов, непосредственно работавших на оборону (механические заводы по изготовлению снарядов — 61,2%), и скупо в таких предприятиях, как металлургические заводы (39,6%), электрические станции (30,4%) и даже механические заводы с ограниченной производительностью на оборону (27,5%). Таким образом, по некоторым производствам отсрочки получали менее 1/3 рабочих. Принимая во внимание, что по многим производствам отсрочки давались еще в меньшей степени, мы можем со всей осторожностью признать, что от мобилизации было освобождено не более 40% рабочих.

Это должно было отразиться как на численности, так и на составе фабрично-заводских рабочих. В первое время общее число рабочих понизилось, а затем оно стало повышаться за счет привлечения новых рабочих слоев и, прежде всего, за счет усиления труда женщин, подростков и малолетних. Если мы обратимся, напр., к металлической и текстильной промышленности, то увидим такое изменение в ней состава рабочих в годы войны (в процентах):

Годы	Металлическая				Текстильная			
	Мужч.	Женщ.	Подр.	Малол.	Мужч.	Женщ.	Подр.	Малол.
1913 . . .	85,8	4,5	9,3	0,4	39,4	50,5	9,0	1,1
1914 . . .	85,4	4,9	9,2	0,5	36,7	52,5	9,4	1,4
1915 . . .	79,0	10,2	10,0	0,8	30,7	56,8	10,8	1,7
1916 . . .	72,0	16,2	10,6	1,2	25,2	61,0	11,1	2,7

В металлической и текстильной промышленности применение труда мужчин уменьшилось, труда подростков, детей и, в особенности, женщин увеличилось. Еще более красноречивы данные анкеты московского общества фабрикантов и рабочих, коснувшейся 339 предприятий Московского района с 259 тыс. рабочих и показывающей изменение состава рабочих с января по июнь 1916 г. по группам производств (в процентах, увеличение +, уменьшение —).

	Взрослые		Подростки	Малолетние
	мужч.	женщ.	обоего пола	обоего пола
Обработка волокн. вещ. .	— 16,9	+ 1,1	— 6,4	+ 4,0
„ металлов . .	— 4,9	+ 41	+ 9,2	+ 5,8
Химич. производ.	— 19,2	+ 8,1	— 22,8	+ 433,3
Обработка животн. прод.	— 14,8	+ 40,9	— 44,6	+ 22,1
„ пит. вещ. . .	— 27,6	+ 1,7	— 11,0	+ 105,0
„ дерева . . .	— 11,9	+ 43,2	— 18,9	+ 228,6
Бум. и полигр. произв. .	— 17,9	— 3,1	+ 0,3	+ 41,7

И здесь, по всем главнейшим производствам, труд мужчин сократился, труд женщин увеличился, но особенно возросло применение детского труда: в особо вредном химическом производстве — почти в пять раз, в деревообделочном в три раза, по обработке питательных веществ — в два раза. Усиленное применение труда детей по сравнению с сокращением труда подростков показывает, что предприниматели старались восполнить убыль рабочих применением более дешевого труда: женщины и подростки должны были заменить взрослых при более низкой оплате их работ. Такая трогательная внимательность капитала к судьбе, как „малых сих“, так и к труду женщин (а из мужчин — пожилых, стариков), приводила к тому, что, в условиях нужды военного времени, к фабрикам и заводам потянулись тысячи детей и людей в возрасте падающей работоспособности. Так, по данным московской биржи труда, в первое полугодие 1914 г. ищущих работы в возрасте до 17 лет, было 1.302, в первое полугодие 1916 года — 7.444,

в возрасте свыше 50 лет — 384 и 2.161, т.-е. увеличение для первых и для вторых почти в шесть раз.

Эта возможность для предпринимателей пользоваться трудом женщин, подростков и детей в общем ухудшила положение рабочих. Труд этот — дешевый и менее способный к сопротивлению капитала, а такое окружение затрудняло, конечно, основному ядру рабочих борьбу за повышение заработка. В этом же направлении действовали и другие условия рабочего рынка. Мы уже упоминали, что убыль в рабочих-мужчинах промышленники заполняли также свежей рабочей силой, раньше в предприятиях не работавшей. Так, еще накануне войны южные горнопромышленники вербовали рабочих среди волжских татар, лезгин и пр. В Баку нефтепромышленники усилили в годы войны применение труда мусульман. На Урале в первый год войны убыло рабочих (по мобилизации и другим причинам) 60%, а весь состав рабочих заполнен новыми рабочими на 11%. Все эти свежие рабочие силы были силой дешевой и столь же малоспособной к сопротивлению капиталу, как и труд женщин и детей.

Кроме того, промышленники имели возможность пользоваться трудом беженцев и военнопленных, т.-е. трудом принудительным и уже одним этим сбивавшим заработную плату наемных рабочих. Наконец, война породила безработицу: если в одних отраслях промышленности (работавших на оборону) был недостаток рабочих, то в других, наоборот, в виду сокращения производства, был их излишек. Некоторые определяют размер безработицы (явной и скрытой) в годы войны приблизительно в 33% состава рабочих мирного времени. Если эта цифра, возможно, и несколько преувеличена, то, во всяком случае, во многих отраслях производства предложение рабочей силы превышало спрос на нее. Так, по данным петроградской биржи труда за 1915 год из 5 записавшихся только два получали работу, а три оставались без работы, в Саратове из двух записавшихся получал работу один, в Москве получали работу 79% записавшихся и 21% оставались без работы.

Все эти условия рабочего рынка, созданные войною, не могли, по крайней мере на первое время, не понижать боеспособности рабочих. Свежепритекавшая рабочая сила должна была сама „перевариться в фабричном котле“ и приучиться к борьбе; собраться с силами должно было и оставшееся на

фабриках основное ядро рабочих, чтобы преодолеть неблагоприятные и внутренние (состав рабочих) и внешние (репрессии военного порядка и „патриотическое“ окружение) условия борьбы. И возобновиться борьба рабочих должна была тем скорее, чем сильнее на положении рабочих сказывалась война, чем тяжелее становилось жить при бешеном росте дороговизны и чем труднее было дышать в условиях разлагавшегося старого порядка.

Заработная плата в годы войны не могла не подниматься. Этому содействовала непрерывно возраставшая дороговизна жизни, за это боролись в годы войны и рабочие. Общее повышение платы по всем производствам выразилось в следующем:

Заработная плата (в месяц)

Годы	В рублях	Принимая плату 1913 г. за 100
1913	22,0	100
I полов. 1914	22,1	100
II „ 1914	22,2	101
I „ 1915	24,1	110
II „ 1915	29,5	134
I „ 1916	36,0	164
II „ 1916	45,0	204

За время войны, по сравнению с 1913 г., плата увеличилась в два раза. Рост платы начался со второй половины 1915 г.— с этого времени стала возрастать дороговизна,— так что можно сказать, что в самые годы войны — 1915 и 1916 г.— плата увеличилась в два раза.

Если мы обратимся к Московскому промышленному району, относительно которого имеем более подробные данные, то увидим такое повышение платы в течение 1916 г.:

Средняя месячная зарплата мужчин в 1916 г. (в рублях)

Группа производств	Январь	Ноябрь
Обработка волокн. веществ	33,93	63,62
Добыча металлов	44,23	75,64
Обработка металлов	59,86	108,85
Химич. произв.	42,94	83 62
Обработка животн. прод.	60,27	97,97
„ питат. веществ	45,75	86,93
„ минералов	31,37	50,68
„ дерева	36,88	68,18
Бумажн. и полиграф. произв.	46,15	84,75
Произв. электрич. энергии	94,19	176,55
Прочие производства	53,70	84,72
Средняя по всем груп.	46,30	88,33

В среднем, по всем группам производств заработная плата увеличилась в 1,9 раза, при чем приблизительно в таком размере плата возросла по большинству производств, дав меньшее повышение по группам обработки животных продуктов (в $1^1/_2$ раза) и обработки минералов (1,6 раза). Однако и при таком увеличении платы она только в двух группах превосходит 100 руб. Лишь рабочие по производству электрической энергии получали в конце 1916 г. около 6 руб. в день, даже металлисты, работавшие на оборону (группа обработки металлов) получали немногим свыше 3 руб. в день, все прочие получали меньше.

Но средняя заработная плата даже в пределах отдельных групп производств не дает полного представления о действительном заработке, так как одни рабочие получали больше, другие меньше. Если мы посмотрим, как распределялись рабочие по размеру их заработка в двух главнейших производствах (текстильном и металлическом) в том же Московском районе на протяжении того же 1916 г., то увидим следующее (в процентах ко всему числу рабочих):

Средний дневной заработок мужчин в 1916 г.

	Текстильная		Металлическая	
	январь	ноябрь	январь	ноябрь
До 1 р. . . .	2,0	0,4	0,3	—
От 1—2 „ . . .	92,8	35,3	8,3	2,4
„ 2—3 „ . . .	5,2	31,1	58,9	4,8
„ 3—4 „ . . .	—	30,4	32,2	33,2
Свыше 4 р. . . .	—	2,8	0,3	55,5

Еще в январе 1916 года в текстильной промышленности почти все рабочие получали в день не больше 2 руб., к концу 1916 г. положение изменяется к лучшему, но и тогда только $^1/_3$ рабочих получала свыше 3 руб. в день, а заработок более чем $^1/_3$ не превышал 2 руб. Лучше оплачиваемые металлисты в большинстве своем (67,5%) получали до 3 руб. и только $^1/_3$ их получала свыше 3 руб. в день. К концу 1916 года заработок металлистов повышается и половина их получает свыше 4 руб. в день, а $^1/_3$ от 3 до 4 руб.

Присмотримся теперь еще ближе к заработку и сосредоточим внимание на одних только лучше оплачиваемых металлистах, чтобы посмотреть, как распределялся и изменялся заработок в их среде. Вот соответствующие данные по тому же району:

Средняя часовая плата (в коп.) металлистов*)

	Октябрь—ноябрь 1915 г.	Октябрь—ноябрь 1916 г.
Токаря	41,48	91,8
Слесаря сдельн.	31,83	67,7
„ поден.	24,16	45,4
„ инструмент.	29,76	85,6
Модельщики	32,87	72,9
Литейщики	33,12	65,3
Кузнецы	46,38	80,0
Молотобойцы сдельн.	24,17	42,2
„ поден.	16,71	35,8
Шорники-смазч.	18,45	38,6
Чернораб. мужч.	16,97	31,7
„ женщ.	10,87	22,0

Наивысший заработок имели токаря, слесаря-инструментальщики, кузнецы и несколько меньший — модельщики, литейщики и слесаря, работавшие сдельно. В конце 1916 г. токаря получали до 9 руб. в день (в два раза больше, чем в конце 1915 г.), инструментальщики — 8 руб. 50 к. (почти в три раза больше 1915 г.), кузнецы 8 руб. и т. д. Наряду с этим в конце 1916 г. несколько групп рабочих получали от 3 руб. до 4 руб. 50 к. в день, а чернорабочие женщины —2 руб. 20 коп.

Приведем, наконец, в дополнение еще одну таблицу. Приведенные до сих пор данные говорят о средней плате по всему Московскому району. Посмотрим, как изменилась плата в зависимости от места нахождения завода для металлистов, причем, чтобы не загромождать таблицу, удовлетворимся только несколькими разрядами рабочих.

Средний часовой заработок в сентябре 1916 г. (в коп.).

	Москва	Под Москвой	Тула	Брянск	Нижн.-Новг.	Тверь
Токаря	74,9	62,4	75,1	47,0	49,4	43,0
Инструмент.	91,5	63,0	86,9	41,1	45,3	45,0
Кузнецы	77,2	74,2	66,1	44,3	56,8	48,0
Молотобойцы	50,2	40,7	49,7	26,6	36,8	29,0
Чернораб. мужч.	34,5	34,6	31,5	21,5	22,7	30,0

Вне Москвы плата понижается, и наиболее оплачиваемые, напр., инструментальщики, получали в Брянске, Нижн.-Новгороде и Твери в два раза меньше, чем в Москве. А там, „во

*) При десятичасовом рабочем дне. Чтобы получить дневную плату, нужно каждое из чисел помножить на 10.

глубине России“, дело сплошь да рядом обстояло еще хуже. Вот для примера несколько данных.

На Урале, на Верхне-Сергинском заводе плавильщики в апреле 1914 г. получали 1 руб. 54 коп., к апрелю 1916 г. плата их повысилась на 95%, но не превышала 3 р. в день; слесаря в 1914 г. получали 1 руб., в 1916 г. — 1 руб. 90 коп. в день; заработок подмастерьев повысился всего с 1 руб. 77 коп. до 2 руб. На Нижне-Салдинском заводе за то же время плата кузнецов повысилась с 90 коп. до 1 руб. 80 коп., молотобойцев — с 60 коп. до 1 руб. 20 коп., машинистов с 70 коп. до 1 руб. 18 коп. На Нижне-Сергинском заводе в 1916 г. женщины и подростки получали по 45 — 87 коп. в день, а из 170 мужчин 42 человека получали от 1 руб. 5 коп. до 1 руб. 30 к., 66 чел.— от 1 руб. 40 коп. до 1 руб. 85 коп. и 62 чел. — от 2 руб. 07 коп. до 3 руб. 43 коп. Для громадного большинства и в годы войны заработок не доходил до 2 руб. в день.

На фабрике Овсянникова и Ганшина (Юрьев, Влад. губ.) в августе 1916 года ткачи получали 1 руб. 7½ коп., подмастерья — 2 руб. 33 коп., сшивальщики — 2 руб. 4 коп., моталки — 69 коп., включая квартирные в месяц 2 руб. 25 коп. На фабрике Ясюнинских (Кохма) ткачи получали 1 руб. 14 коп., прядильщики 2 руб. 06 коп., подмастерья 2 руб. 39 коп., ватерницы — 1 руб. 07 коп., испульщицы — 94 коп. и т. д.

В Донецком бессейне, на Днепровском заводе, в марте 1916 г. 21,6% всех рабочих получали в день до 1 руб. 50 коп.' 36,4% — до 2 руб.; от 2 до 3 руб. получали 38,6%, и свыше 3 руб. получали всего 25%. С марта 1915 г. до марта 1916 г. заработная плата этих рабочих повысилась на 44%, а стоимость продовольствия одного рабочего — на 50%. На шести крупнейших шахтах Горловского района в мае 1916 г. половина рабочих получала до 1 руб. 50 коп., до 2 р. — 73,2% их; заработная плата их с начала войны до мая 1916 г. увеличилась на 20 — 50%, а дороговизна возросла за то же время на 60% и т. д.

Какой же вывод можно сделать из приведенных данных? По сравнению с мирным временем за годы войны заработная плата увеличилась в среднем в два раза. Заработная плата повысилась сильнее в производствах, работавших на оборону, и, в частности, у металлистов больше, чем у текстильщиков. Но и у металлистов заработок наиболее значительно повысился

только для высоко квалифицированных рабочих, при чем и такие рабочие в провинции получали часто многим меньше, чем в Петрограде и в Москве.

Однако и этот вывод говорит нам очень мало. Даже 9—10 руб. в день, которые получал инструментальщик в конце 1916 г., по своей покупной силе не равнялись такой же сумме денег довоенного времени. Надлежащее представление о заработной плате может дать не денежная ее форма, а реальная, т.-е. заработок, выраженный в его покупной силе, в переводе бумажного рубля на „товарный" рубль. Изменение за годы войны заработной платы, выраженной в „реальных" („товарных") рублях представляется в таком виде:

Годы	По России	По Петрограду	По Москве
1913	22,0	34,7	27,1
1914	21,3	37,6	26,1
1915	20,6	38,9	27,9
1916	20,1	35,2	24,4

Реальный заработок по всей России уменьшился в 1916 г., по сравнению с 1913 г., на 2,1 руб. Исключение составил только Петроград, где заработок, хотя и снизился в 1916 г. на 3,7 руб., по сравнению с 1915 г., но все же превышал заработок 1913 г. на 1,5 руб. В Москве заработок дал повышение только в 1915 г., а в 1916 г. упал сравнительно с 1913 г., на 2,7 р. Все это показывает, что заработок поддерживался на уровне (отнюдь, разумеется, не высоком) довоенного времени только в Петрограде, то-есть в крупных предприятиях, работавших на оборону, с высоко квалифицированной рабочей силой.

Это подтверждается также данными об изменении реального годового заработка по отдельным производствам (в товарных рублях):

Производства	1913 г.	1914 г.	1915 г.	1916 г.
Металлообр. пром.	357	360	384	382
Произв. машин и аппар.	446	458	525	487
Химических аппар.	313	371	328	379
Обработка хлопка	206	197	212	199
„ шерсти	190	178	179	169
Полиграфич. произв.	512	488	439	395
Горная и горно-зав. пром.	268	241	205	251

Заработок повысился в металлообрабатывающей, машиностроительной и химической промышленности, т.-е. в произ-

водствах, работавших на оборону. Текстильная промышленность, как и горная, дала понижение хотя также была связана с работой на оборону, значительно понизился реальный заработок и в полиграфическом производстве. Понижение реального заработка в текстильной и горной промышленности, связанных с работой на оборону, в сопоставлении с повышением ее в первых трех группах, показывает, что увеличение платы было в зависимости, во-первых, от усиленной работы на оборону, и, во-вторых, от большого спроса на квалифицированную рабочую силу: металлообрабатывающая и химическая промышленность почти исключительно работали на оборону и требовали в большей степени квалифицированных рабочих, чем текстильная и горная промышленность. Но, как мы увидим, удержание реального заработка на довоенном уровне и в предприятиях, работавших на оборону, потребовало упорной борьбы рабочих: если бы не настойчивость рабочих в повышении заработка в соответствии с дороговизной жизни, заработок и в этих отраслях производства пал бы, как и в остальных.

В общем за исключением отдельных групп лучше оплачиваемых рабочих, нужда и самая крайняя, не покидала рабочий класс во все годы войны. Оживим приведенные выше цифры некоторыми иллюстрациями.

В 1915 г. в Москве была произведена анкета с целью выяснить, как отразился первый год войны на положении рабочих. Наибольший интерес представляет для нас изменение в бюджете рабочего. Сопоставление расходного бюджета довоенного и военного дает такие результаты (в процентах):

Расход	Металлисты		Текстильные рабочие	
	До войны	1915 г.	До войны	1915 г.
На квартиру	19,5	20,0	9,6	13,5
„ пищу	51,0	54,0	57,2	92,0
„ алкоголь	4,6	0,5	4,6	0,5
„ газеты	1,4	1,2	0,6	1,7
„ культ. потреб.	2,0	1,4	1,1	1,1
Разн. сборы	0,5	1,3	0,5	0,9
В деревню	3,7	3,3	5,4	6,2

До войны расходы на пищу и квартиру поглощали у металлиста 70,5% всех его доходов, в год войны — 74%. Еще больше изменилось соотношение это в бюджете текстильщика: до войны он тратил на квартиру и пищу 66,8%, в год войны —

105,5%, т.-е. больше того, что давал ему весь заработок Увеличение расходов на удовлетворение этих потребностей покрывалось сокращением расходов на алкоголь (в виду воспрещения продажи спиртных напитков) и на удовлетворение культурных нужд.

Дороговизна жизни должна была не только привести к напряжению бюджета рабочего, но и ухудшить его питание. Так, из каждой сотни опрошенных семей имели мясо:

	Металлисты		Текстильные рабочие	
	До войны	1915 г.	До войны	1915 г.
Каждый день . . .	84,4	67,4	59	51,4
4—5 раз в нед. .	11,4	20,6	27	22,9
1—2—3 раза в н.	2,8	8,5	13	15,7
Случайно	1,4	3,5	1	—

И у металлистов и текстильщиков сократилось число семей, употреблявших мясо каждый день и увеличилось число потреблявших его несколько раз в неделю и случайно. Ухудшилось питание рабочих и в другом отношении. Так, на каждого члена семьи приходилось:

	Металлисты		Текстильн. рабочие	
	До войны	1915 г.	До войны	1915 г.
Черн. хлеба ф. . .	0,98	1	1,33	1,35
Белого „ „ . .	4,5 к.	4,7 к.	4,4 к.	4,5 к.
Мяса в нед. ф. . .	2,5	2,1	2,4	2,01
Сахара „ „ . .	0,69	0,63	0,62	0,55

Сократилось потребление мяса и сахара, зато увеличилось потребление черного хлеба, а затраты на белый хлеб, хотя и несколько возросли, но потребление его уменьшилось, так как цены на белый хлеб поднялись сильнее. Черный хлеб и картофель должны были заменить и мясо, и сахар, и жиры.

В итоге дороговизна приводила к тому, что московские рабочие с трудом, при голодном существовании, сводили концы с концами. Среди металлистов 40% семей выравнивали свой бюджет тем, что просто сокращали потребности, 12% пускали „в оборот“ свои сбережения, 13% закладывали вещи, 18% делали долги и т. д. И это несмотря на то, что для приискания заработка пускались все наличные в семье рабочие силы: заработок членов семьи приносил в доход металлиста до войны 19,4% всего дохода, в 1915 г.—21%, в семье текстильщика—33 и 35%.

По данным, собранным одним врачом, петроградские рабочие потребляли в 1916 г. в сутки: 2—3 фун. ржаного хлеба, 4—5 луковиц зеленого лука, 1 фун. картофеля и около 2 стаканов молока; иногда вместо картофеля—полфунта гречневой каши, вместо молока—3—4 яйца; мясо почти не употреблялось, иногда тарелка щей.

В Пермской губ. потребление заводским рабочим мяса в годы войны сократилось в $2^1/_2$ — 3 раза; до войны, в среднем, каждый потреблял 0,22 фун. (в скоромные дни — 0,33 фун.), в годы войны — 0,08 фун. (в скоромные дни — 0,13 фун.).

Рабочая группа уфимского продовольственного комитета произвела в 1916 г. анкету о заработках и бюджете уральского рабочего. Вот какие получились данные по четырем заводам (в рублях):

Заводы	В среднем на семью челов.	Заработок до войны	Заработок 1916 г.	Расход до войны	Расход 1916 г.	Стоимость продукт. в 1916 г.
Аша	6	31,09	43,60	35,02	43,60	84,42
Миньяр . . .	6	38,43	45,90	35,98	45,90	80,06
Усть-Катавский.	6	32,79	37,46	32,07	37,46	73,74
Катав-Ивановск.	6	42,61	50,08	38,24	50,08	72,80

До войны заработок, в общем, покрывал расходы рабочего, в 1916 г. расходовался весь заработок, но его было недостаточно, чтобы окупить стоимость необходимых продуктов: на заводе Аша заработок, чтобы покрыть расходы, должен был увеличиться на 137%, а увеличился всего на 40%, в Усть-Катаве—на 132% вместо 14%, то же и на прочих заводах. В общем, реальный заработок понизился более, чем наполовину, а в соответствии с этим ухудшилось и питание: мясо и крупчатка исчезли из употребление, потребление сахара уменьшилось в 3 раза, крупы в 1—4 раза, керосина в 4 раза, дров на $^1/_2$ саж. Но вместо 3 пудов ржаной муки потреблялось 8 пуд., из которых 5 пуд. шли в замену крупчатки.

Еще более тяжелым было положение рабочих на фабриках, расположенных вне городов, по деревням, где рабочим приходилось получать продукты из продовольственных и фабричных потребительских лавок. Здесь рабочие попадали в совершенную кабалу к фабрикантам, а часто и совсем не получали продуктов. В марте 1916 г. рабочие завода Гусь-Хрустальный (Владимирской губ.), принадлежавшего, между прочим, министру народного просвещения Игнатьеву, потребовали расчета,

заявив, что они не желают работать на старых условиях, так как „все они, в виду недостатка харчей, голодают и многие питаются почти одним черным хлебом“. Такова одна из многих иллюстраций.

Изменилось резко к худшему положение рабочих в годы войны и в других отношениях. Немногие и мизерные законы по охране труда не соблюдались, либо совсем были отменены, как, напр., законы о женском и детском труде, что должно было поощрить фабрикантов к эксплоатации труда женщин, подростков и детей. Предприятия, в особенности работавшие на оборону, широко применяли сверхурочную работу и сдельщину, удлинявшие рабочий день до крайнего предела. По данным Московского общества фабрикантов и заводчиков (охватившим почти 300 тыс. рабочих и несомненно преуменьшенным), в 1916 г. $^2/_3$ рабочих работали свыше 10 час. (в 1913 г. 10 час. работали — 59%), при чем считалось, конечно, „урочное“ время, без сверхурочных, удлиненных сдельщиной; с января по ноябрь 1916 г. сокращение рабочего времени коснулось 19.830 рабочих, а увеличение 15.057 рабоч., таким образом, рабочее время уменьшилось только для 4 тыс. рабоч. Увеличение применения женского труда и труда несовершеннолетних, использование свеже-притекавшей рабочей силы, напряженная работа при чрезмерной продолжительности рабочего времени, скверное питание и ослабление силы рабочих на почве продовольственного развала приводили к увеличению заболеваемости и несчастных случаев. По данным петроградских заводов, в 1915 году, по сравнению с 1914 г., заболеваемость рабочих увеличилась на 40%, увечность на 54%. В Николаеве заболеваемость увеличилась на 42%, увечность на 21,3% и т. д. Обстановка фабричной „конституции“ стала совершенно нестерпимой. В дополнение ко всяческому начальству особыми полномочиями были наделены военные власти, вплоть до командующих армиями, которые простирали свое „попечение“ и на промышленные предприятия. К заводам, работавшим на оборону, были приставлены особые чины, которые, наблюдая за исполнением военных заказов, вмешивались и в рабочие дела. Над военнообязанными тяготела угроза отправки на фронт, над прочими— расправа всякой иной и военной и гражданской власти, как и капитала.

Вся эта гнетущая обстановка, в особенности же возраставшая дороговизна, сравнительно скоро возвратила рабочим активность, утерянную ими в начале войны. Экономическая борьба рабочих возрождается с весны 1915 года, т.-е. с того времени, когда начала сильнее сказываться дороговизна, вызванная войной. В последние военные месяцы 1914 г. экономические забастовки охватывали по 1.000—4.000 рабочих в месяц; в январе — марте 1915 г. бастовало от 6 — 19 тысяч. В апреле 1915 года число участников экономических стачек поднимается до 35½ тыс. и с того времени к прежнему, низкому уровню возвращается только по исключению. С апреля до конца 1915 г. только два месяца дают резкое понижение числа участников экономических стачек — август (10 тыс.) и декабрь (16 тыс.), на протяжении 1916 г. к такой норме приблизился только май (17 тыс.). В 1915 году в среднем бастовало в месяц по экономическим поводам 31,2 тыс., в 1916 г.— 53,8 тыс. рабочих.

О том, с каким напряжением вел рабочий класс экономическую борьбу в годы войны показывают следующие данные:

Годы	Всего участн. забаст.	В том числе экон.	В том числе полит.
1912	725.491	175.678	549.813
1913	887.096	384.654	502.442
1914	1.337.458	303.314	1.034.144
1915	553.094	310.300	155.835
1916	1.086.364	776.064	397.259

В 1915 и 1916 г. г. экономические стачки преобладают над политическими, в то время как в три предшествовавшие войне года политические забастовки преобладали над экономическими. В 1913 г. участники экономических стачек составляли 43% всего числа участников стачек, в 1915 г. — 56%, в 1916 г.—171%. Энергия рабочих была направлена, по преимуществу, к преодолению той экономической обстановки, какая создалась под влиянием войны.

На чем, главным образом, были сосредоточены усилия рабочих? Это видно из следующих данных о распределении участников стачек в зависимости от повода последних (для 1915 и 1916 г.г. приблизительные данные):

Требования, связанные:

Годы	Зараб. платой		Рабочим временем		Условиями быта и труда	
	Абсол.	в проц. ко всему числ. уч.	Абсол.	в проц. ко всему числу уч.	Абсол.	в проц. ко всему числу уч.
1913	262.467	29,6	14.310	1,6	46.947	5,3
1914	150.581	11,3	71.554	5,3	81.179	6,7
1915	232.188	41,9	4.569	0,8	146.601	26,5
1916	508.463	46,8	2.573	0,2	135 749	12,5

Экономическая борьба ведется, главным образом, вокруг вопроса заработной платы: в 1915 г. 41,9% всех участников стачек (включая политические) и в 1916 г.— 46,8% бастуют именно по этим поводам, значительно превосходя предыдущие годы. Выдвигается так же значительное число стачек по вопросам условий быта и труда, куда входили, по преимуществу, вопросы продовольствия. Требования, связанные с рабочим временем, напротив, резко падают, не потому, конечно, что продолжительность рабочего времени была благоприятна для рабочих, но потому, что борьба за сокращение рабочего дня в крайне неблагоприятных условиях войны, могла привести к понижению заработка.

Таким образом, как и следовало ожидать, борьба рабочих в годы войны сосредоточивалась вокруг вопросов заработной платы и продовольствия, т.-е., в конечном счете, была направлена против понижения уровня жизни. Рабочие, в первую очередь, требовали увеличения заработной платы, стараясь подогнать ее за дороговизной и добиваясь периодического повышения ее на 30—50, реже 100%. Заурядны были требования признания временных, военных прибавок („на дороговизну“) постоянными, выдачи или увеличения квартирных денег, перехода от сдельной оплаты на поденную. Многочисленные забастовки были вызваны требованием снабжения рабочих продовольствием, увеличения выдачи продуктов из харчевых лавок и удешевления их, улучшения качества продуктов, установления такс, повышения норм выдачи и т. д.

Расскажем о некоторых экономических стачках—общее напряжение экономической борьбы видно из приведенных выше таблиц.

В сентябре 1915 года бастовало свыше четырех тыс. рабочих Даниловской мануфактуры (Моск. губ.), требуя увеличения расценки на 30%, уравнения расценок мужчин и женщин,

увеличения выдачи квартирных денег с 4 до 5 руб. в месяц, урегулирования цен на продукты в харчевой лавке. В октябре того же года на Богородско-Глуховской мануфактуре (Моск. губ.) бастовало свыше 12 тыс. рабочих, выставив требованием повышение заработка на 30%, установление минимальной платы для взрослых в 1 руб. и для малолетних в 30 коп. В апреле 1915 г. начались и продолжались 1½ мес. забастовки 11 тыс. рабочих Коломенского машиностроительного завода (Моск. губ.). Рабочие требовали повышения расценок в размере 25—50%, заводоуправление соглашалось на прибавку по 15 коп. в день семейным и по 10 коп. подросткам и женщинам, на что рабочие не соглашались, объявленного расчета рабочие тоже не брали; в конце концов, рабочие вынуждены были принять условия завода.

Широкие размеры приняло движение на почве продовольственной нужды летом 1915 г. во Владимирской губ. Иваново-Вознесенская городская управа вздумала отменить таксы, введенные в феврале, в ответ на это рабочие почти всех фабрик забастовали 26 мая и многотысячной толпой двинулись к управе с требованием понизить таксы на продукты продовольствия. Прибывший из Владимира губернатор предложил рабочим выбрать уполномоченных для ведения переговоров. Рабочие согласились, но потребовали, чтобы уполномоченным была гарантирована неприкосновенность; вице-губернатор выдал на своей визитной карточке удостоверение в том, что уполномоченные не будут арестованы. Одновременно в Иваново-Вознесенск были стянуты войска. Длительные переговоры уполномоченных с губернатором и управой (в решающий день на площади перед зданием управы стояла толпа в 15 тыс. рабочих) привели к понижению такс и спешной доставке в Иваново-Вознесенск продовольствия. После этого работы возобновились 30 мая.

Одновременно в Шуе 26 мая забастовали рабочие всех фабрик и потребовали от полиции совместного осмотра запасов продовольствия у торговцев; осмотр установил, что запасов почти нет, и по требованиям рабочих управа ассигновала средства на закупку продовольствия, а фабричная инспекция заставила фабрикантов отпустить городу деньги, после чего рабочие возобновили работы 27 мая. 3 июня шуйские рабочие, узнав об исходе иваново-вознесенской стачки,

снова забастовали и потребовали издания таксы по примеру Иваново-Вознесенска. Забастовка на этот раз продолжалась до 8 июня и закончилась тем, что таксы были понижены, а фабриканты прибавили по 1 руб. квартирных и повысили расценки.

В октябре 1915 г. бастовал московский трамвай. В сентябре, в дни забастовки-протеста против роспуска государственной думы, трамвай не работал, так как бездействовала электрическая станция, подававшая ток, кондуктора и вагоновожатые ежедневно являлись и получали наряд на работу, и потому были уверены, что за дни забастовки им будет уплачено. Оказалось, однако, что городская управа, во главе которой стоял член кадетской партии Челноков, не только отказала в выдаче платы за дни забастовки, но и вычла полагавшиеся 5 руб. в день на „дороговизну". Рабочие забастовали 1 октября, а затем возобновили работу 3 октября, предъявив требование о прибавке в 25% и выдачи на дороговизну 10 руб., дав срок для ответа до 15 октября. Так как и к этому сроку управа ответа не дала, то трамвай забастовал 16 октября. Городская управа 17 октября объявила всем расчет, поставив при новом найме условием... внесение кондукторами залога в 50 руб. Забастовка продолжалась до 24 октября. Работа трамвая, как и электрической станции, поддерживалась в дни забастовки с помощью солдат и городовых, чему содействовала и либеральная городская управа.

Кровавые события произошли в 1915 году в Костроме в связи с экономической забастовкой рабочих текстильных фабрик. В начале июня здесь началось брожение, вызванное тем, что костромские фабрики со времени войны перешли с выработки тонких сортов на грубые, отчего заработок рабочих понизился, несмотря на то, что фабрики были завалены военными заказами. 3 июня забастовали шеть тысяч рабочих фабрики Большой льняной мануфактуры, а 6 июня было объявлено о расчете рабочих и о закрытии фабрики на неопределенное время. Возбужденные рабочие толпой двинулись к городу, чтобы остановить другие фабрики; полиция рассеяла толпу, арестовав несколько рабочих. Распространился слух, что задержанных полиция избивает, рабочие стали требовать освобождения арестованных. К вечеру толпа увеличилась, увеличилось и число вооруженной стражи, которая

бросилась на рабочих, чтобы их рассеять. Рабочие приготовились к защите, не поддались. Тогда в толпу был дан залп: по официальным сведениям на месте было убито 4 челов., ранено 9 челов., по слухам же было убитых 12 и раненых 45. На спешный запрос в государственной думе министерство внутренних дел ничего не ответило. Да что ему было ответить, когда товарищ министра внутренних дел, Джунковский, одобрив действия губернатора, руководившего расстрелом, потребовал предания военному суду не палачей, а „зачинщиков"-рабочих!

1916 год, отмеченный усиливавшейся экономической борьбой, принес ряд новых, еще более упорных и бурных стачек.

В феврале забастовал электрический цех Путиловского завода, рабочие которого потребовали увеличения заработка. Во время переговоров с рабочими директор завода генерал Меллер указал рабочим, что они и без того зарабатывают достаточно — 100 руб. в месяц; на это рабочие ответили, что получающие 100 руб. и работают вдвойне, т.-е. получают за 50 — 60 рабочих дней в месяце (по 17 — 18 час. в сутки) Бравый генерал не нашел ничего умнее, как бросить рабочим: „а едите вы все равно 30 дней в месяц". Сказал Меллер рабочим и другое: „Военнообязанных мы пошлем на передовые позиции, а не военнообязанных оденем в солдатские шинели". Эту угрозу Меллер попытался привести в исполнение. Заручившись согласием военного министра и начальника военного округа, он 5 февраля объявил, что военнообязанные, участвующие в забастовке, подлежат призыву на военную службу и затем, в качестве нижних чинов, будут привлечены к работам на заводе. В ответ на это объявление, протестуя против незаконного распоряжения, забастовали и другие цехи. Завод был закрыт и работа возобновилась на нем 24 апреля.

11 января забастовало около 12 тыс. рабочих судостроительного завода в Николаеве. Средняя заработная плата на заводе составляла 2 руб. 70 коп. в день, при чем в некоторых цехах она понижалась до 1 руб. 50 коп., а в других повышалась до 3 руб. 20 коп. Рабочие требовали прибавки по 3 коп. за час и гарантированной выработки при сдельной работе (сдельно работали почти все) 100% поденной платы (до того сдельная работа давала 63% поденной), в общем все это

должно было составить увеличение заработка на 30—40%. Заводоуправление категорически отказало в прибавке. Морское министерство сначала решило закрыть завод, а потом попыталось предварительно воздействовать на рабочих мерами устрашения. 26 января было рассчитано 377 человек, из которых 187 военнообязанных (на заводе числилось свыше 6 тыс. военнообязанных) были призваны в армию, 73 „зачинщика“ были привлечены к уголовной ответственности и 38 военнообязанных, отказавшихся по приказу военного начальства стать на работу, были преданы военно-морскому суду. Меры эти, однако, не устрашили рабочих, и забастовка продолжалась. Ежедневно на заводском дворе происходили тысячные митинги, рабочие вели себя сдержанно, стойко добиваясь удовлетворения своих требований. Так продолжалось 42 дня; с приездом в Николаев морского министра завод был закрыт 23 февраля, а затем состоялся новый набор рабочих.

В марте произошла крупная забастовка на Брянском заводе (Орловской. губ.), где бросила работу часть рабочих (6.500 чел.), предъявив требования об увеличении заработной платы от 10 до 70%. Заводоуправление обещало частично удовлетворить эти требования, и работы возобновились. Однако директор не спешил с повышением заработка и, повидимому, хотел дело затянуть. Тогда 26 апреля забастовали все 17 тысяч рабочих. Забастовка эта тянулась почти 2 месяца — заводоуправление не шло на приемлемые для рабочих уступки, жалоба рабочих министру торговли с просьбой назначить следственную комиссию не возымела действия. 3 мая завод был закрыт и воинскому начальнику были сообщены списки военнообязанных, из которых 36 человек, наиболее активных, были призваны в войска. Рабочие стали брать расчет, так что за несколько дней ушло из завода до 8 тыс. человек. Тогда заводоуправление стало повышать расценки, и рабочие начали возвращаться на завод. 23 мая работа возобновилась полностью.

Большой настойчивостью отличалась борьба текстильных рабочих Московско-Владимирского района летом 1916 года. В конце мая и начале июня бастовали рабочие почти всех шуйских фабрик, требуя повышения расценок. Фабриканты ответили отказом и воспользовались скрытой формой локаута: они легко шли на закрытие фабрик, ограничиваясь работой

в механических мастерских. Рабочие в большинстве отправились по деревням на полевые работы. Фабрики бездействовали почти месяц. Рабочие, напр., фабрики т-ва Шуйской мануфактуры, Небурчилова, Рубачева, бастовали 42 дня, другие несколькими днями меньше. В Московской губернии ткацкая фабрика Коншина ($4^1/_2$ тыс. рабочих) бастовала $7^1/_2$ дней, фабрика Общества Московской Текстильной мануфактуры ($1^1/_2$ тыс. рабочих) — $11\frac{1}{2}$ дней и т. д.

В октябре бастовали рабочие Днепровского завода (С. Каменское, Екатеринославской губернии), требуя повышения расценок на $30^0/_0$. Начали забастовку рабочие котельного цеха (заработки их равнялись 42 — 58 руб. в месяц), а когда им объявлен был расчет, забастовали почти все рабочие завода (7 тыс. из 9 тыс.). Власти ответили на это отправкой на фронт 362 военнообязанных. Забастовка продолжалась две недели и закончилась частичным удовлетворением требований рабочих. Столь же продолжительными были забастовки рабочих Сулинского рудника, где 13 дней бастовало 900 человек, требуя повышения заработка на $50^0/_0$ и добившись частичного удовлетворения.

Крупная забастовка, завершившаяся кровавой расправой, произошла в конце апреля на рудниках Горловского района (Бахмутский уезд). Положение рабочих здесь, конечно, было очень тяжелое: к марту 1916 г., по сравнению с довоенным временем, на некоторых рудниках заработок повысился всего на $30—50^0/_0$, так что забойщики, напр., еще в марте 1916 г. получали 1 руб. 50 коп., а чернорабочие 1 руб. 15 коп., считая все прибавки на дороговизну. В конце апреля 1916 года рабочие нескольких соседних рудников (Щербиновский, Ауэрбаховский, Государево-Байракский, Успенский и др.) всего в числе около 8 тыс. человек, стали предъявлять требования о повышении заработка на $50^0/_0$, а затем забастовали. Некоторое время происходили сходки, при чем к одному месту собирались рабочие разных рудников. Горнопромышленники на уступки не шли, а власти решили действовать силой. На рудники прибыла конная стража и рота пехоты, сходки были запрещены. Рабочие, однако, не намерены были отказаться от борьбы и назначили новую сходку на 2 мая. Исправник приготовился к военным действиям и расположил свои отряды на месте сходки. С утра 2 мая тысячная толпа рабочих

начала подходить к условленному месту, войска и конная стража двинулись против рабочих, рассеяли их и арестовали 200 человек, которые под конвоем были отправлены в Горловку. По дороге толпа пыталась отбить арестованных. Войскам был дан приказ стрелять; 4 человека были на месте убиты, а двое тяжело ранены.

Ограничимся несколькими приведенными случаями стачек— рассказывать обо всех подробно значило бы посвятить им всю книжку. Мы рассказали только для примера о некоторых, а было их много: ведь в 1915 г. в экономических стачках участвовало 378 тыс., а в 1916 г.— 646 тыс. рабочих. Примеры мы приводили также больше из числа провинциальных забастовок, так как понятно, что в Петрограде и Москве экономическая борьба рабочих велась еще более широко и настойчиво. Приведенные нами иллюстрации показывают, что рабочие в годы войны вели экономическую борьбу с большим напряжением. И, действительно, если мы обратимся к общим, для всех экономических забастовок данным, то увидим, что средняя продолжительность (упорство) стачки равнялась в 1915 г. 4,2 дня, в 1916 г. — 5,1 дня. Правда, продолжительность эта многим уступает не только 1914 г. (14,3 дня) и 1912 г. (10,6 дня), но и меньше продолжительности стачек 1911—1913 г.г. (8 — 8,6 дня), приближаясь к 1910 году (5,8 дня). Однако при сравнении всех этих данных не следует упускать из виду, что в годы войны изменился состав рабочих, понизивший, в особенности на первое время, боеспособность рабочего класса, а борьба стала значительно более тяжелой по внешним условиям военного времени. Если военные люди в условиях войны считали месяц за год, то и в рабочей борьбе день стачки военного времени стоит нескольких дней стачки мирного времени. Но и при этом за годы войны напряженность стачек повышалась, что указывало на классовый рост рабочей силы, свеже-привлеченной в промышленность. В 1915 году средняя продолжительность стачки составляла, как мы видели, 4,2 дня и значительное повышение против этой средней давали только два месяца — апрель (7,4 дня) и ноябрь (7,2 дня). В 1916 году средняя продолжительность стачки поднялась до 5,1 дня, а превышение ее дали февраль (7 дней), январь (6,2 дня) и летние месяцы — май и июнь (6,4 дня).

Широкая и настойчивая экономическая борьба рабочих не замедлила вызвать усиленные репрессии со стороны промышленников и правительства.

Петроградское общество фабрикантов и заводчиков сначала возлагало все свои надежды на военную власть, побуждая ее к более суровому применению средств подавления забастовок и указывало на то, что призыв в армию военнообязанных рабочих, получивших отсрочки, „к сожалению, мало применяется и потому остается полумерой“. А затем объединенный капитал сам переходит к активным действиям — то же Петроградское общество фабрикантов подтверждает необходимость вести черные списки и, если заводчики не прибегали к массовым длительным локаутам — из опасения лишиться высоких военных прибылей по заказам на оборону, — то в отдельных случаях закрывали заводы для „фильтрации“ так же часто, как это делали всегда раньше. Резким отпором отвечал объединенный капитал и на всякие попытки изменить обычную „конституцию“ заводов, построенную на самодержавии заводоуправления. Петроградское общество фабрикантов решительно высказывалось против введения выборных старост на заводах и занимало непримиримо-отрицательную позицию в вопросе об учреждении примирительных камер, выдвинутом военно-промышленным комитетом.

Правительство, с своей стороны, усиливало репрессии, направленные против рабочего движения. В мае 1915 г. министерством внутренних дел разослан был циркуляр, который предлагал местным властям не допускать никаких „замешательств“ на фабриках и заводах, применяя в этих случаях „энергичные воздействия“ в отношении предпринимателей, если они окажутся виновными, а к рабочим — „самые суровые меры“. Разумеется, „энергично воздействовать“ на промышленников правительству не приходилось — они действовали в добром согласии, — но в суровых мерах в отношении рабочих недостатка не было. В том же 1915 году министерство внутренних дел рекомендовало местным властям в случаях забастовок назначать рабочим „кратчайший срок“ для возобновления работ, а в случае отказа рабочих объявлять расчет, заработанные деньги, при нежелании рабочих получать их, отсылать в суд, паспорта — в полицейские участки, а всяких нарушителей порядка подвергать аресту и высылке. Это была

программа-минимум, которая, в качестве таковой, и проводилась неуклонно, с тем еще добавлением, что местные власти — военные и гражданские, — пользуясь введенным повсюду положением о чрезвычайной охране, в порядке издания обязательных постановлений, вводили всякого рода кары для нарушителей порядка, в том числе фабричного, воспрещая под угрозой тяжкой кары участие и в стачках. Можно почти без преувеличения сказать, что редкая забастовка проходила без вмешательства губернатора или начальника жандармского управления, как редко дело заканчивалось без расчета рабочих и ареста „зачинщиков". Но и такие меры обычного, хотя и усиленного порядка, признаны были недостаточными. В феврале 1916 г. советом министров были выработаны общие меры борьбы с забастовками. Местным властям предложено было усилить надзор за рабочими, в случае возникновения забастовок назначать кратчайший срок для возобновления работ под угрозой расчета, предупреждать рабочих, что виновники будут привлечены к ответственности, а военнообязанные, пользующиеся отсрочкой и не приступающие к работам, будут призваны в действующие войска. Генеральным штабом, в развитие этого постановления совета министров, были изданы особые правила о призыве в войска военнообязанных рабочих, при чем рекомендовалось призывать в первую очередь младшие возрасты (этим имелось в виду изъять рабочую молодежь), а призываемых распылять небольшими партиями по разным частям. Сверх того, на фронтах рабочего движения, для правительства наиболее угрожаемых, создавались, кроме обычных, особые органы борьбы. Так в Петрограде действовал особый комитет для согласования мероприятий военных и гражданских властей, который объединял и направлял деятельность отдельных органов власти по подавлению рабочего движения. Для железных дорог действовал также особый комитет по охране их, при чем под охраной разумелась, главным образом, борьба с забастовками железнодорожных рабочих и рабочих железнодорожных мастерских. При каждом подъеме стачечной волны, при каждой особо выдающейся стачке, все эти комитеты давали свои наставления, конечно, в смысле применения самых строгих репрессий.

Самым сильным орудием в борьбе с забастовками служило в руках правительства право давать военнообязанным рабочим

отсрочку по призыву в армию в предприятиях, работающих на оборону, и, стало-быть, право лишать их этой отсрочки и отправлять на фронт. На приведенных примерах отдельных стачек мы видели, что действительным выполнением этой угрозы правительство пыталось терроризировать рабочих, предоставляя им на выбор — работать на условиях, угодных промышленникам, или пойти на передовые позиции фронта, на смерть. Однако, как ни применялась широко эта мера, но и она оказалась недостаточной при все разраставшемся стачечном движении. Прежде всего, отправка на фронт была орудием обоюдоострым: составляя суровую кару для рабочих, она в то же время лишала предприятие квалифицированной рабочей силы. А затем эта мера касалась только военнообязанных рабочих, которых все же было меньшинство. Как воздействовать на остальных рабочих, еще не призванных на военную службу? Ответ на этот вопрос дали проекты о милитаризации рабочих. Кажется, эта счастливая мысль впервые зародилась у Московского общества фабрикантов и заводчиков. По крайней мере, еще в 1915 г. печатный орган этого общества писал: „Рабочий элемент должен прежде всего утратить свою текучесть, и служба в предприятиях, работающих на оборону страны, должна быть приравнена к военной службе". И далее орган промышленников в развитие этой мысли писал: „Если рабочим не будет разъяснено, что война налагает на промышленный труд тяжелые обязанности, неизвестные в мирное время, и если в подкрепление не будут изданы общие меры принуждения, то собственно экономическое движение рабочих легко может получить также неэкономическую окраску. Трудно сказать, каковы могут быть формы неэкономического движения рабочих, однако, если припомнить, что до войны наши обзоры стачечного движения много раз отмечали тенденцию рабочих добиваться в той или другой форме подчинения себе внутреннего фабрично-заводского распорядка, то и теперь наиболее вероятным представляется движение в сторону овладения руководством или надзором за производством фабрик и заводов, работающих на оборону".

Конечно, это было измышлением промышленников — о контроле над производством рабочие тогда совсем не думали и меньше всего непосредственно этого добивались. Но промышленникам эти выдумки были нужны, как угроза для

правительства, как самый главный довод в пользу того, чтобы перевести рабочих на военное положение; о том, что они добиваются дешевого и покорного „военно-крепостного труда“, промышленники, конечно, умолчали. И домогательства промышленников тем более возымели свое действие, что с ними вполне совпадали желания правительства, которым и был выработан проект о мобилизации труда*). По проекту, все рабочие предприятий, работающих на оборону, считаются военнообязанными и, в качестве таковых, выполняют фабрично-заводские работы. Во главе каждого предприятия должен был стоять особый уполномоченный, наделенный всею полнотой власти, военному министру предоставлялось право отмены всех законов по охране труда и т. д. Главной целью этот проект имел борьбу с забастовками, так как естественно, что рабочие, приравненные к солдатам, лишались всякой возможности бастовать.

Этот план военно-полевой юстиции не получил осуществления только потому, что под суд более тяжкий, чем военно-полевой, попала сама царская власть... Но одна возможность его появления, одна выработка такого проекта показывает, в какой обстановке приходилось рабочим бороться в годы войны, какое противодействие они встречали при каждой стачке, при предъявлении каждого требования. Жестокие репрессии вплоть до расстрела безоружной толпы (мы приводили выше примеры таких расстрелов), чрезвычайные полномочия, которые получала в условиях войны всякая власть, торжество безграничного произвола и насилия, патриотическое рвение сторонников „гражданского мира“, считавших стачку чуть ли не государственной изменой, единый фронт промышленников и правительства против всяких проявлений борьбы рабочих, отправка на фронт, угроза проектом милитаризации труда — таково было окружение, в котором находился рабочий класс. В этих условиях экономическая борьба, в особенности, не

*) Царица писала об этом Николаю II 6 марта 1916 г.: „Штюрмер просидел у меня почти час. Мы говорили о забастовках, — он находит, что на время войны фабрики должны быть милитаризованы, а между тем проект об этом очень задерживается в думе и не обсуждается, потому что они против этой меры“. В другом письме она приветствует призыв на одной фабрике рабочих в армию и оставление их на работы в качестве солдат. „Это отличный пример, — пишет царица, — все станут трепетать, как бы и до них не дошла очередь“.

могла не переходить непосредственно в политическую борьбу. Стать политической она должна была бы и в том случае, если бы рабочие и не вели раньше политической борьбы. Но с июля 1914 года прошло не так много времени, чтобы могла без следа исчезнуть преемственность движения, чтобы та напряженная политическая борьба, которую вели рабочие накануне войны, не могла возродиться в новых условиях, выдвигавших перед рабочим классом задачи не только вообще политические, но и революционные. Всю жизнь трудящихся заполняли ужасы войны — не только продовольственная нужда, не только голод, не только всякого рода лишения в далеком тылу, но и ужасы на фронте, которому трудящиеся поставляли пушечное мясо, ужасы бойни, в которой, как в известной картине художника, торжествующее чудовище - капитал грузно движется по телам человеческим... Политическая энергия рабочего класса, придушенная войной, под влиянием войны же, должна была возродиться. И она возродилась с новой силой.

Правда, собственно политическая борьба рабочих в годы войны, по сравнению с экономической борьбой, была выражена слабо. Если в два с половиною года, предшествовавшие войне, по экономическим поводам бастовало 863,6 тыс. рабочих, то в два года войны (1915 — 1916) по тем же поводам бастовало свыше одного миллиона (1.086,3 тыс.). И если участников политических стачек за два с половиною года, войне предшествовавших, было свыше двух миллионов (2.084,4 тыс.), то в два года войны их было всего лишь 553 тыс. Но для правильного понимания этого соотношения нужно иметь в виду обстоятельство, на которое мы указывали: не только политические стачки были тесно связаны с экономическими, но и последние в условиях войны были в значительной мере проявлением также и политических настроений, и политической активности рабочих. Поэтому, чем более глубоким становился экономический развал страны, чем сильнее приходилось рабочему классу на него реагировать, тем с большей силой сказывалось политическое движение рабочих: во второе полугодие 1915 года, когда продовольственная разруха впервые особенно обострилась, число участников политических стачек составляло 63% всего числа стачечников против 0,6% первого полугодия; во второе полугодие 1916 года, когда развал страны достигал максимальной

степени, участники политических стачек составляли $36^0/_0$ против $21,6^0/_0$ первого полугодия. Если бы мы имели сколько-нибудь пригодные данные о забастовочном движении первых двух месяцев 1917 г., то отношение в пользу политических стачек получилось бы еще более крупным; достаточно сказать, что в январе этого года в одних только предприятиях, работавших на оборону, число бастовавших рабочих достигло 232 тысяч против 44 тысяч в декабре 1916 г., т.-е. увеличилось в пять раз. Бурно нарастая со второй половины 1916 г., стачечное движение, в особенности политическое, развернулось в конце февраля 1917 года в победоносную революцию.

Расскажем, как протекали политические забастовки в 1915—1916 г. г.

Первое полугодие 1915 года почти не отмечено политическим движением рабочих — за это время в политических стачках участвовало всего 14 тыс. рабочих. Относительно спокойно прошел в Петрограде и день 9 января, когда бастовало всего 2.528 рабочих. Первым крупным проявлением политического движения рабочих в годы войны была стачка иваново-вознесенских рабочих в августе 1915 г. Здесь 10 августа забастовало 25.182 рабочих в 32 предприятиях, при чем стачка носила характер протеста против войны и не сопровождалась выставлением экономических требований. Когда вечером толпы рабочих двинулись к центру города, войска встретили их выстрелами — убито было до 100 чел., ранено 40 чел. Расстрел этот нашел отклик в Петрограде, где в знак протеста 16 августа бастовало несколько предприятий („Айваз", „Феникс", „Вулкан" и др.) с общим числом рабочих до десяти тысяч.

Первым крупным политическим выступлением была стачка в сентябре 1915 года, вызванная усилением реакции, которая сказалась в роспуске государственной думы. В Петрограде бастовало в эти дни 62 тыс. рабочих 33 предприятий. Сигнал к протесту подали рабочие Путиловского завода и Путиловской верфи, которые, собравшись 1 сентября на митинге, постановили: 1) требовать возвращения из ссылки депутатов думы большевиков, 2) выразить протест против роспуска государственной думы, 3) протестовать против недавнего ареста рабочих Путиловского завода, 4) выразить протест

„за непринятие правительством мер против продажи отечества“ и требовать ответственного министерства, 5) протестовать против того, что до сих пор в армию не призваны полицейские, 6) требовать, чтобы казаки не привлекались к охране порядка на заводе; выставлено было и требование 15% прибавки к расценкам. Забастовало на Путиловском заводе 19.366 рабочих: в первый день стачки (2 октября) рабочие вышли на улицу с пением марсельезы, но были рассеяны полицией. Стачка-протест продолжалась в Петрограде три дня; 3 и 4 сентября бастовало, как сказано, 62 тысячи рабочих. В Москве в виде протеста против роспуска государственной думы, бастовало 76 предприятий с 22 тыс. рабочих.

1916 г. начался крупными забастовками, ознаменовавшими день 9 января.

Несмотря на многочисленные аресты, произведенные в несколько приемов с 19 дек. по 8 янв., 9 января в Петрограде бастовало 55 предприятий с 66 тыс. рабочих, приближаясь к числу рабочих, бастовавших в этот день в 1913 г. (73 тыс.). Было сделано также несколько попыток устроить демонстрации, которые, однако, рассеивались полицией. Рабочие завода „Новый Лесснер“ двинулись с двумя красными знаменами и пением марсельезы по Большому Сампсониевскому проспекту; рабочие завода Нобель вышли по направлению к клинике Вилье; рабочие металлического завода двинулись к Финляндскому вокзалу, чтобы соединиться здесь с рабочими других заводов, и т. д. Впервые отмечен этот день и „братанием“ рабочих с солдатами; когда полиция разгоняла рабочих „Нового Лесснера“, проехавший мимо военный автомобиль умышленно врезался в взвод конных жандармов; рабочие прокричали солдатам, находившимся в автомобиле „ура“, на что солдаты, размахивая фуражками, также ответили криками „ура“.

С февраля учащаются политические забастовки по разным поводам. Многочисленные аресты, произведенные во время экономической забастовки на Путиловском заводе — арестовано было до 250 рабочих — вызывают протест в Петербурге в феврале (6.100 рабоч.) и в марте (свыше 40 тыс. рабоч.); часть московских рабочих в марте бастовала в виде протеста против предания военному суду рабочих за стачку трамвая; в апреле, в годовщину ленского расстрела, в Петрограде

бастовало 8 тыс. рабочих, в июле бастовало 12 тыс. рабочих Сормовского завода, требуя освобождения двух взятых в действующую армию рабочих, и т. д.

Высшего подъема и ярко выраженного политического характера движение достигло в октябре, когда по политическим поводам в Петрограде бастовало 138 тысяч рабочих. Движение началось 17 октября (бастовало до 40 тысяч) на почве крайне обострившейся продовольственной нужды, при чем стачкам предшествовали на многих заводах митинги под лозунгом „долой войну“ и „долой правительство“. Когда у завода „Новый Лесснер“ между рабочими и полицейскими произошло столкновение, солдаты одного из запасных полков, расположенных вблизи завода, выбежали из казарм на помощь рабочим и стали бросать в полицию камни. По обвинению в „буйстве“ некоторые солдаты этого полка были преданы военному суду. Весть об этом дошла до рабочих и вызвала среди них большое возбуждение. Как раз в конце октября предстоял военный суд над 17 матросами Балтийского флота по обвинению в принадлежности к с.-д. партии, при чем, в лучшем случае, многим из них угрожала каторга. Петербургский комитет с.-д. партии (большевиков) призвал рабочих ко всеобщей стачке протеста в день суда над матросами. Призыв этот нашел широкий отклик и 26 октября забастовало свыше 100 тыс. рабочих. Промышленники в ответ на забастовку стали закрывать заводы — тогда забастовал ряд новых предприятий в знак сочувствия к рассчитанным рабочим. К концу октября работы на заводах возобновились.

Рост революционной активности петроградского пролетариата показала и забастовка 9 января 1917 г., когда по официальным данным бастовало на 114 предприятиях 137½ тыс. рабочих — вдвое больше, чем 9 января 1915 г. (62 тыс.) и с приближением к 9 января 1914 г. (183 тыс.). По данным партийных организаций, в этот день бастовало до 200 тыс. и даже 300 тыч. рабочих. Заводы Московской заставы, Выборгской и Петербургской стороны бастовали почти все без исключения; бастовал арсенал, бастовал и Путиловский завод (30 тыс. рабоч.), несмотря на то, что в нем введен был военный порядок, бастовали типографии, так что 10 января газеты не вышли. Несомненно, что забастовка на этот раз шла дальше обычной демонстрации в день 9 января и выявляла

революционный протест масс как против самодержавия, так и против войны. Полицейский отчет о стачках этого дня отмечает попытки рабочих „1) устраивать уличные демонстрации с выбрасыванием красных флагов и пением революционных песен, 2) снимания с работ нежелавших присоединиться к бастующим и 3) открыто выражать свое поощрение лицам, оказавшим сопротивление нарядам полиции".

В Москве 9 января бастовало, по официальным данным, 31 тыс. рабочих, а по частным подсчетам — до 100 тысяч. На Театральной площади собралось до 1.000 рабочих, которые, развернув красные знамена с лозунгом „долой войну", двинулись по улице, но были рассеяны полицией. 12 января с утра в Москве же на Калужской площади собралось до 2 тыс. рабочих, которые двинулись к градоначальнику с требованием хлеба, но по дороге были рассеяны полицией; к пяти часам дня забастовало еще 15 тыс. рабочих в виде протеста против отсутствия хлеба и отсрочки созыва государственной думы; всего в этот день бастовало в Москве на 37 предприятиях до 20 тыс. рабочих.

Естественно, что политические забастовки, как это всегда бывало и в годы войны, группируются по периодам, как бы чередуясь с подъемами экономической борьбы. В эти моменты рабочие массы в политической активности давали выход своим революционным настроениям, которые за время войны неизменно крепли. Престиж царской власти падал даже в самых отсталых слоях рабочего класса, нарастало и враждебное отношение к войне. Этого не могло не видеть и правительство. Так, еще в ноябре 1915 года одна из официальных записок так характеризовала настроения рабочих: „Под влиянием временных успехов австро-германского оружия в рабочих кругах постепенно сложилось убеждение, что настоящая кампания бесповоротно проиграна Россией. В связи с этим в рабочей среде замечается не только упадок интереса к войне, но и как бы желание приблизить ее окончание для того, чтобы затем выступить с категорическим требованием внутренних реформ". Оценка делается здесь осторожная и дело изображается таким образом, что рабочие желают только приближения окончания войны и требовать „реформы" собираются лишь по окончании войны. Спустя год охранники заговорили языком более ясным: „В отношении широких кругов населения

к войне за последние месяцы несомненно произошел заметный перелом“,— пишет начальник московского охранного отделения в октябре 1916 г., отмечая, что „на низах приходится наблюдать совершенно новое явление: громкие заявления о том, что тот или иной исход (войны) для народных масс является совершенно безразличным; „хуже все равно не будет“, кратко выражают свое раздражение и разочарование“. „Раздражение и озлобление масс настолько велики,— писал тот же начальник охранки,— что они перестают стесняться в выражении своих чувств по адресу как правительства, так и верховной власти. При определении состояния широких масс в данный момент приходится говорить о значительности революционного настроения. Трудно сказать, в какой мере сдерживающей силой в данном случае является патриотическое чувство,— есть много оснований не слишком переоценивать это чувство. Самым характерным для революционного настроения масс является рост их сознательности“.

Мы видим, что охранники не ошиблись в своих наблюдениях, и стачечное движение, в особенности 1916 г., вполне подтверждает их выводы. Этот рост революционного настроения и революционной активности рабочего класса был показателен тем более, что он происходил в чрезвычайно неблагоприятной для рабочих обстановке.

Война в России, как и повсюду, внесла сильнейшую дезорганизацию в рабочее движение. Она принесла с собой так наз. „гражданский мир“, проповедь сотрудничества классов и солидарной их работы в защите страны, проповедь, которая имела в виду обезвредить борьбу рабочего класса и обеспечить свободу действия империалистов всех стран. В России во славу „гражданского мира“ образован был думский „прогрессивный блок“, а на вовлечение рабочих — без рабочих воевать трудно! — рассчитаны были учрежденные в августе 1915 года военно-промышленные комитеты. В этих комитетах промышленники объединялись для организации военной промышленности (а заодно и для распределения щедрых военных заказов), сюда же они привлекали и рабочих в качестве „сотрудников“ в деле обороны, предоставляя им образовывать при комитетах рабочие группы. В рядах русских социалистов значительная часть меньшевиков, как и социалистов-революционеров, оказалась в стане принявших

войну оборонцев. Точка зрения оборончества, наиболее последовательно развитая Плехановым, требовала признания „гражданского мира“ со всеми проистекающими из него последствиями, с отказом от стачечной борьбы и тем более от борьбы революционной, со стремлением кончать всякие конфликты на фабриках путем примирительных камер, с сотрудничеством с промышленниками в военно-промышленных комитетах, созданных именно с целью привязать рабочий класс к империалистической колеснице. Само собой разумеется, что пропаганда оборонческих взглядов, как и стремление удержать рабочее движение в „легальном“ русле рабочих групп военно-промышленных комитетов, ни в какой мере не могли содействовать пробуждению в рабочем классе активности. Напротив, проповедь „приятия войны“ и активного участия в „защите родины“ не только разрывала международную солидарность пролетариата и поощряла его национальную ограниченность, но, необходимо предполагая „гражданский мир“, притупляла в рабочем классовое сознание, убивала в нем ненависть к классовому обществу, толкала его на путь примирения с буржуазией. В фабриканте, эксплоатирующем труд его, рабочий должен бы видеть своего же „сотрудника“,— ведь и фабрикант „работал“ на оборону. К буржуазии, „организовавшей победу“, он должен был относиться, как к желанному своему попутчику, которого он должен был поддерживать. Жаждущи мира, кончающего войну, он должен был придерживаться „гражданского мира“, который означал продление войны до победы империалистических ее вдохновителей. Проповедь эта, поскольку она доходила до рабочих, спутывала их энергию, затемняла их классовое сознание и давала свои плоды. В требованиях, предъявляемых рабочими фабрикантам, нередко можно было встретить конфузливые извинения: рабочие заявляли, что понимают серьезность момента, недопустимость приостановки предприятий, но вынуждены бастовать, так как доведены до такой необходимости фабрикантами; почтительным тоном проникнуты бывали и телеграммы, с которыми обращались рабочие к министрам. С каким трудом нужно было рабочим пробиваться через все эти патриотические заграждения, чтобы осмелиться не только на политическую, но и на экономическую борьбу, а тем более, чтобы разрушить обстановку „гражданского мира“ и вернуться на пути революционные!

Всякая революционная агитация встречала самые жестокие репрессии со стороны правительства, и на большевиков, отвергавших „гражданский мир“ и проповедывавших революционную борьбу против войны, прежде всего, обрушились со всею силою эти репрессии. Созванное 4 ноября 1914 г. в Петербурге партийное совещание с участием членов думы большевиков было застигнуто жандармами, участники его были арестованы, а 10 февраля 1915 г. суд приговорил пять членов думы (Бадаева, Петровского, Самойлова, Муранова и Шагова), Л. Б. Каменева и некоторых других к ссылке в Сибирь на поселение. В расправе с противниками войны правительство не постеснялось осудить членов думы, пользовавшихся депутатской неприкосновенностью. Тем легче расправлялись с другими — аресты и ссылки усилились, поредели ряды революционеров. Организации большевиков, разгромленные в первые же месяцы войны, имелись поэтому далеко не всюду, как и силы их не всюду были достаточны для широко развернутой работы. В более систематическом и крупном масштабе восстановлена была сперва работа в Петрограде, где она пробуждала и поднимала революционную активность рабочих и откуда она распространялась на провинцию. Но жизнь революционного подполья и в других местах не замирала. Хотя связь с заграничными партийными центрами и затруднялась, но не порвалась окончательно. Резолюции против войны, принятые на конференциях в Циммервальде и Кинтале, дошли до подпольной России, проникли и в среду передовых рабочих, помогая им осмыслить мировые события. Листовки и временами выходившие легальные рабочие газеты (такая газета выходила одно время в Самаре) несли противовоенную агитацию в более широкие читательские рабочие круги, а оттуда доходили и до массы. Сначала медленно, а потом все сильнее рассеивался под влиянием этой агитации патриотический угар, а вместе с тем нарастала активность рабочих, преодолевая препятствия, в таком множестве стоявшие на ее пути.

Революционная агитация действовала тем сильнее, что она падала на почву, подготовленную войной, в условиях которой рабочий класс сам быстро революционизировался. Революционное движение рабочих с конца 1916 года возвращалось к преемственности с движением кануна войны, когда, как

и в 1905 г., с очевидностью выявлялась вся глубина и острота классовых противоречий даже в борьбе за свержение самодержавия. Мы видели, что всякий раз, когда борьба эта при ходила к решительному моменту, не только реакционная часть промышленников, но и либеральная буржуазия вступала в соглашение с поземельным дворянством и реакцией. Буржуазию на этот путь толкала боязнь подлинной народной революции. Но чем полнее выражалась эта контр-революционность буржуазии, тем более полно должна была развернуться революционная активность рабочего класса. „За спиною крупной буржуазии стоит пролетариат“ — это означало, разумеется, не то, что впереди в борьбе с самодержавием стоит буржуазия, и за нею либо с ней идет рабочий класс. Это значило, что пролетариат не только в своей классовой зрелости перерос буржуазию и что всем ходом развития его и буржуазии классовая пропасть между ними углубляется, но и то, что пролетариат остается единственным возможным гегемоном в борьбе за свержение самодержавия, которое не могло быть в России не чем иным, как свержением монархии, и что союзников в этой борьбе он может искать не в буржуазии, а в других классах, примирение которых ни с дво рянством, ни с самодержавием невозможно, — прежде всего в крестьянстве.

Война с ее патриотическим угаром, дезорганизовавшим рабочее движение, и с изменением в составе рабочего класса по началу как будто испортила эти чертежи, данные историческим процессом. Но та же война их скоро восстановила с еще большей отчетливостью. Быстрое разложение царской власти, ставшей властью Распутина и прочих проходимцев, поселило ненависть к монархии в самых широких и отсталых слоях рабочего класса. Тяжести и ужасы войны на фронте, как и в тылу, глубокий развал всего народного хозяйства быстро уничтожили патриотическое настроение даже людей темных, принявших на веру всю высокопарную ложь империалистческих вдохновителей войны. Борьба с самодержавием, в которую вступала буржуазия, разоблачение ею, даже с точки зрения записных патриотов, всей гнили царского порядка подливали масла в огонь народного возмущения, а нерешительность буржуазии в этой борьбе, готовность ее нести во славу свою и царского трона народные „жертвы во имя войны“

восстановляли и еще более резко оттеняли довоенную картину обострения классовой борьбы. Рабочий класс первым поднимался на борьбу — и против войны, и против старого порядка. Основное ядро его — оставалось ли оно на фабриках или было на фронте — возвращалось к незавершонной борьбе 1905 г. и кануна войны, — восстанавливало преемственность с довоенной революционной борьбой, „свежие“ элементы рабочего класса, складывавшиеся в самые годы войны, быстро проходили курс своей классовой выучки. Экономическая борьба рабочих, по своей напряженности превзошедшая довоенные годы, показала, что в движение на почве хозяйственного развала страны пришла рабочая м а с с а; политические стачки, нараставшие после каждого подъема экономической борьбы, свидетельствовали о том, что на путь старой революционной активности становится передовой отряд рабочего класса, а за ним и рабочая масса. Катастрофически быстрый развал страны и столь же быстрое гниение самодержавия в короткое время поднимают движение рабочего класса на высоту девятого вала — революции конца февраля 1917 года.

IX. „Гражданский мир“ и распутинцы на троне.

С началом войны в России установился „гражданский мир“, „священное единение“ между царской властью и всеми буржуазными слоями. „Отложим внутренние споры, — говорилось в воззвании центрального комитета кадетской партии, выпущенном в первые дни войны, — не дадим врагу ни малейшего повода надеяться на разделяющие нас (т.-е. либеральную буржуазию и царское правительство) разногласия и будем твердо помнить, что теперь первая и единственная задача наша — поддержать борцов верой в правоту нашего дела“. Позже Милюков — руководитель этой партии — пояснил, что такой тактикой либеральная буржуазия хотела дать правительству возможность „объединить все классы и национальности“. А царское правительство так счастливо сложившейся свободой действий поспешило, конечно, воспользоваться для того, чтобы объединить все свои силы против всех классов и всех национальностей, за исключением такого „класса“, как реакционное объединенное дворянство и биржевые аферисты, и такой „национальности“, как черносотенцы „союза русского

народа“. Воспользовавшись тем, что исчезла даже буржуазная оппозиция, которая потонула во всеобщей „тиши и глади, да божьей благодати“, а военная диктатура придушила рабочее движение, царское правительство окончательно распоясалось, решив, что не будет такого другого удобного времени, чтобы восстановить самодержавие во всем его „величии“, да еще при „громе побед“.

Повидимому, существует какой-то „исторический закон“ и для вырождения самодержцев. Вот что читаем, напр., у одного историка Великой французской революции о короле Людовике XVI: „Этот толстяк с простонародными манерами, оживлялся только за обеденным столом, за охотой или в мастерской слесаря Гамэна. Умственный труд утомлял его. В королевском совете он дремал... Брак его давал обильный материал для жестоких насмешек. Дочь Марии - Терезии, на которой он женился, была красива, кокетлива и неблагоразумна. Она отдавалась удовольствиям с беззаботной страстью... Он (король) передал свой скипетр женщине, отвернувшись от реформаторов, подчиняясь случайным внушениям приближенных, а в особенности желаниям королевы, которая все больше овладевала его волею. Его неуверенная политика тоже давала серьезную пищу всеобщему недовольству. Афоризм Воблана и в этом случае совершенно правилен: „Во Франции правительство свергается всегда главою государства и его министрами“.

Конечно, афоризм этот совсем не правилен, и во Франции монархии свергались не монархами, не преступностью, ограниченностью или распутством их. Но, во всяком случае, двор Людовика XVI во многом напоминает двор Николая II, с некоторыми, впрочем, особенностями не в пользу последнего российского императора.

Мы не знаем, оживлялся ли Николай II только за обеденным столом, но умственный труд бесспорно утомлял его, и об ограниченности его говорят единодушно все, близко его наблюдавшие. Либеральный земец Н. Н. Львов рассказывает об аудиенции, которую он получил у царя в 1906 г., когда шла речь о приглашении некоторых земских деятелей в состав министерства: „Я ожидал увидеть государя, убитого горем, страдающего за родину и свой народ; а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый, разбитной малый в малиновой рубашке в широких шароварах, подпоясанный шнурочком“

(форма стрелкового батальона). Разговор соответствовал костюму и так подействовал на бедного верноподданного либерала, что он заболел нервным расстройством. „Августейшая“ матушка царя видела в нем печального в памяти дома Романовых Павла I, Победоносцев в разговорах с Витте отзывался о Николае II „как-то неопределенно“, а сам Витте осторожно называет его в своих воспоминаниях „не глупым“, довольствуясь тем, что император всероссийский „обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства“. Другие смотрели на Николая II проще. Гучков видел в нем человека, „который не может считаться во всех отношениях нормальным“, „с пониженной чувствительностью, которая не давала ему возможности переживать все стадии и чувства, которые мы, нормальные люди, переживаем“. Известный черносотенец Дубровин, арестованный при советской власти, в своих показаниях рассказывал о впечатлении, которое на него производили беседы с царем: „У меня сложилось тогда тягостное впечатление, что государь, не имея собственных мыслей, повторяет где-то слышанные и заученные слова“. Когда Дубровин поделился своими впечатлениями с лидером националистов Шульгиным, тот нисколько не удивился: „Господи, да неужели вы не видите, какой это идиот!“— ответил Шульгин, и затем добавил: „Собственной его величества рукой... Ха, насмешка!.. Был класс, да изъездился: он поставляет кретинов, а не властителей“.

Отзывы жестокие, но не далеко отходившие от действительности. Все, что мы знаем о Николае II, говорит о нем, как о человеке упрямом и в достаточной степени хитром, но проблесков не только „государственного“, но и простого ума в нем мало заметно. Резолюции его напоминают суждения вахмистра, а в письмах он больше всего говорит о колебаниях термометра да о погоде. Жил он и правил не своим умом и своей волей, а чужой. Следовал тому, что подсказывали ему любимцы - министры и приближенные царедворцы, но больше всего жил умом и волей царицы, той „немки“, против которой в последние годы царизма велась такая бешеная агитация патриотами всякой масти. В противоположность Николаю II, Александра Федоровна обладала и умом и волей. Ум этот, правда, был не особенно высокого порядка, но его, бесспорно, хватило бы на нескольких Николаев. Она с умом

интригует, по плану ведет наступление, сознательно подавляет волю царя. Александра Федоровна хорошо понимала, что имеет дело с человеком без воли, как и Николай II сознавал превосходство над собой царицы. „Я бы не стала всего этого писать,—говорит она в одном письме к царю,—если бы не боялась твоей мягкости и снисходительности, благодаря которой ты всегда готов уступить, если тебя только не поддерживает бедная старая женушка.“ „Я страдаю за тебя, как за нежного мягкосердечного ребенка, которому нужно руководство, и он слушает дурных советчиков“,—повторяет она в другом письме. „Слушайся твоей стойкой женушки...“ „Если б мне только заполучить тебя сюда, все сразу стало бы тише“,—не скрывает она своего превосходства, своего умения найти выход из тяжелого положения. „Дружок, я здесь, не смейся над своей глупой, старой женушкой, но на мне надеты невидимые „брюки“, и я могу заставить старика (т. е. Горемыкина) быть энергичным“,—предлагает она свои услуги „бабе“ Николаю. А когда последний, подавленный волей царицы, называет себя „бедным, маленьким, безвольным муженьком“, Александра Федоровна его утешает: „Не надо говорить „безвольный“, а только слабоват и неуверен в себе и чересчур легко доверяется дурным советам“.

При всем, однако, различии характеров, царь и царица были людьми одного настроения, одного понимания смысла жизни, одного отношения к России. Но больше всего их объединяло религиозное ханжество, безграничная темнота суеверия, с которой не могли бы выдержать соревнования самые темные старухи самой глухой деревни. Эти насильники на троне, которые ежечасно творили столько зла, во славу которых приносилось в жертву столько жизней, проливалось столько слез и крови, смиренно клали поклоны у всех святых, к старым святым прибавляли, волею синода, новых, искали защиты у неба, дрожали за свою власть и существование и готовы были верить всему, что обещало сохранить их жизнь и силу. И верили они не только за страх, но и за совесть — их кругозор не поднимался выше кругозора старой салопницы, и весь показной блеск дворцовой жизни не мог скрыть этого убожества мыслей и настроений.

Один из многих проходимцев, близких ко двору, епископ Варнава телеграфировал царице летом 1915 г. из Кургана:

„Родная государыня, 14 июня, в день святителя Тихона чудотворца, во время обхода кругом церкви в селе Барабинском, вдруг на небе появился крест, был виден всем минут пятьнадцать и так как святая церковь поет „Крест царей держава верных утверждение“, то и радую вас сим видением, верую, что господь послал это видение знамения, дабы видимо утвердить верных своих любовью, молюсь за всех вас“. А царица пишет по этому поводу Николаю: „Дай бог, чтоб это было хорошим предзнаменованием, кресты не всегда бывают таковыми“. В 1916 году Александра Федоровна в Новгороде побывала у какой-то 107-летней „старицы“ и та изрекла: „А ты, красавица, тяжелый крест,— не страшись,— за то, что ты к нам приехала, будут в России две церкви строить — не забывай нас, приезжай сюда“. На Александру Федоровну эти лишенные смысла слова выжившей из ума старухи произвели сильное впечатление, и яблоко, данное старухой, было послано Николаю с просьбой, чтоб он его съел. Николай просьбу эту выполнил, потому что к такого рода наставлениям относился с подобающим вниманием. „Скажи ей, — просит он царицу передать фрейлине Вырубовой,— что я видел ее брошь, приколотую к иконе, и касался ее носом, когда прикладывался“,— брошь, приколотая к иконе, должна была воспринять „святость“, а прикасаться к ней нужно было обязательно носом!

При таком высоком интеллекте самыми желанными гостями во дворце были проходимцы, выдававшие себя за прорицателей, магов-чародеев и святых, имеющих особый доступ к господу богу. Разумеется, не всякому проходимцу удавалось добраться до дворца, но перебывало их там немало. Был там и француз Филиппи, обладавший даром вызвать с того света „дух“ Александра III, и юродивый Митька, и кликуша Дарья Осиповна, и инок Мардарий и т. д., при чем юродивые и кликуши являлись к царскому двору, конечно, не сами — их поставляли аферисты, понимавшие, на чем можно в царской России сделать карьеру. Но наибольшую силу приобрел и роковую роль сыграл в судьбе последних Романовых известный Григорий Распутин.

Этот малограмотный, сметливый мужик совершенно покорил себе и царя и царицу. Говорят, что Распутин учился когда-то гипнозу. В этом, однако, очень мало вероятного. Да и для того, чтобы стать придворным проходимцем, вовсе не нужно

было быть гипнотизером. Юродивый Митька и кликуша Дарья гипнозу не обучались, но, если бы им да ум Распутина, пошли бы и они далеко. Эту выродившуюся среду, жившую, как дикари, в мире суеверия, восполнявшую свои выпотрошенные души „духами“ из „потустороннего мира“, можно было покорить только ее же орудием, только тем, чем и она жила.

Распутин это понял, и, когда аристократические салоны открыли в нем „святость“, он, разумеется, против этого не протестовал, и в роли „божьего человека“ был и духовником, и советником, и повелителем царской семьи. „Не забудь перед заседанием министров подержать в руке образок, и несколько раз расчесать волосы Его гребнем“,— пишет Александра Федоровна царю (Распутин в царской переписке фигурирует под именем „Друг“ и „Он“, неизменно с большой буквы). В другой раз она посылает Николаю остаток вина, недопитого Распутиным, и оставшуюся от его трапезы корку хлеба, и просит обязательно выпить вино и съесть эту корку. Сон Распутина — вещий сон: „Постоянно помни о сновидении нашего Друга“,— пишет царица Николаю. А сам Распутин — сверх-человек, от которого нет на земле тайны. „Один из божьих старцев говорит, что страна, где божий человек помогает повелителю, никогда не погибнет,— философствует в одном из писем Александра Федоровна.— Это верно — только нужно слушаться, доверять и спрашивать совета — не думать, что Он чего-нибудь не знает. Бог все ему открывает“. Распутин настаивает на поездке Александры Федоровны к царю в ставку, потому что это принесет ему „благодать“— царица в умилении и вразумляет Николая: „Только верь больше и крепче в нашего Друга“. „Он живет для тебя и России. У него твердая воля и своя голова. Он правильно ведет нас“. А затем снова: „Пресвященная дева над тобой, за тобой, с тобою, помни — чудо-видение нашего Друга“.

Икона, гребень, сон, видение, недопитое вино, корки недоеденного хлеба — все, что от Распутина, все, что с ним связано,— свято, чудодейственно. И Распутин искусно пользовался так внезапно сошедшей на него „благодатью“. В безграмотных посланиях его царю и царице трудно добраться до смысла, но они искали в этих посланиях откровение — и, разумеется, находили.

„Помните обетование встречи, это господь показал знамя победы, хотя бы и дети против или близкие друзья сердцу, должны сказать пойдемте по лестнице знамя, нечего смущаться духу нашему“,— изрекает Распутин в одной из телеграмм. А вот еще несколько — на выбор. Распутин — царице: „Все страхи ничто время крепости воля человека должны быть камнем божья милость всегда на вас вся слава и терпение только крепость своих поддержите“. Распутин — Николаю: „Не оподайте в испытании прославит господь своим явлением“. Распутин — Вырубовой: „Моего птенца гнезда трепещущей пташки жалостливой мамы гостью опять на испытание понедельник; я верю вам это ширма и для чего нам такая, ширма они еще скажут загородить весь свет огородом, что нам в пользу, то дайте; как волки овец, ой, не нужно; твердыня — это бог, а узники дети его довольно пусть мой дух будет на небе, не на земле“.

Простым смертным не все понять в этих телеграммах — не только благодаря „образности“ распутинского языка, но и потому, что переписка велась конспиративно, под условленными кличками и намеками, понятными лишь для посвященных. Но „тумана напускал“ на свои изречения Распутин не всегда, а только в тех случаях, когда ему нужно было явить „божью благодать“. В других случаях он писал без туманных прикрас. „Вот, дорогой, без привычки даже каша и та не сладка, а не только Пуришкевич с бранными устами,— телеграфирует он дворцовому коменданту Воейкову.— Теперь таких ос расплодилось миллионы. Так вот и поверь, что касается души, а надо быть сплоченными друзьми. Хоть маленький кружок, да единомышленники, а их много, да разбросаны силы. Не возьмет в них злоба, а в нас дух правды“. Сказано ясно: придворная компания — маленький сплоченный кружок единомышленников, а думские враги — разбросанная сила. Или когда Распутину понадобилось воздействовать, чтобы освободить его сына, призванного в войска, он телеграфирует, хотя и с присказками, но вразумительно: „Встретили певцы, пели пасху, настоятель торжествовал, помните, что пасха, вдруг телеграмму получаю, что сына забирают, неужели я Авраам, реки прошли, один сын и кормилец, надеюсь пущай он владычествует при мне, как при древних царях“. Царица, конечно, просила Николая приказать воинскому начальнику, чтобы сына Распутина освободили.

Кто, однако, стоял за Распутина? „Божьей благодати“, жульничества и даже ума было еще недостаточно, чтобы занять такое положение при дворе, какое занял Распутин. Юродивый Мишка и кликуша Дарья были тоже „божьими людьми“, но долго не продержались. Епископ Варнава, митрополит Питирим и прочие, претендовавшие на роль царских советников, оставались в тени и меркли в распутинской славе. Распутина должен был кто-то протолкнуть, держать в курсе дел государственных, давать материал для наставлений царю: покровский мужик своим природным умом едва ли мог сам разбираться даже в министерских интригах, ставить одних министров, смещать других, диктовать отношение к государственной думе и т. д. Делать это могли те, кому выгодно было пользоваться Распутиным, и Распутин шел навстречу тем, кто и ему приносил выгоду.

За спиною Распутина стояли биржевые игроки, банковские аферисты. Темный делец Рубинштейн, ворочавший большими деньгами и прикосновенный к шпионской германской организации; Андронников — человек без определенных занятий, но связанный с банками и биржей; крупный банковский делец Манус, о котором Александра Федоровна писала Николаю: „Манус и не думал умирать, это все было просто биржевая игра, чтобы поднять и уронить бумаги, некрасивый трюк“; биржевик, агент охранки и владелец магазина золотых вещей Симанович; Манасевич-Мануйлов — агент охранного отделения и свой человек среди биржевых игроков; Филиппов — издатель биржевых листков „Деньги“ и „Биржевой День“; какая-то Лунц, которая, по словам Протопопова, устраивала через Распутина всякие коммерческие дела у царя, — вот далеко не полный перечень близких Распутину людей, а Пуришкевич в своем дневнике даже уверяет, что, помимо всяких прочих охранников, Распутина охраняли еще „шпики из банков“. Сам Распутин, вероятно, также играл на бирже — в такой компании „святому человеку“ соблазниться было нетрудно. Деньги, по крайней мере, он любил и брал с кого только мог. Из сумм департамента полиции Распутин получал 1.000 руб. в месяц, но этим не довольствовался. Квартира его была полна просителей по части устройства всякого рода „дел“, и Распутин исполнял эти просьбы далеко не бескорыстно, — за записки, которые он рассылал министрам, и которые были равносильны приказам,

он получал чистоганом. Некий Гордон, напр., заплатил ему 15 тыс. рублей за получение звания коммерции советника — заплатил не даром. Некая Нищенко просила Распутина об освобождении ее родственника, за что обещала „божьему человеку“ 2 тыс. руб. Распутин сам рассказывал своим поклонникам, что он освободил от наказания 300 баптистов, от которых должен был получить по тысяче рублей с каждого, но получил всего пять тысяч. Распутин освободил от наказания осужденного за подлог векселей крестьянина Слепцова, за что получил 250 руб. и т. д. Проходимец, кандидат в святые, как видим, брал и крупными и мелкими суммами, не брезгая и вещественными приношениями, по преимуществу в виде всякого рода спиртных напитков.

Последний царский министр внутренних дел Протопопов был ставленником Распутина и его любимцем. Распутин все время энергично отстаивал Протопопова, требовал, чтобы ему было предоставлено больше власти. „Что скажет Калинин (так Распутин называл для „конспирации“ Протопопова), то пусть будет, а вы его еще раз кашей покормите. Моя порука этот самый Калинин, а ваш разум пусть понимает, ваше солнце, а моя радость“,— телеграфировал Распутин царю и царице, укрепляя пошатнувшееся положение Протопопова. А Протопопов, не обладая никакими задатками „государственного“ человека, принадлежал к крупным промышленникам, имел широкие связи с банками, которые щедро поддерживали основанную им газету. Распутин энергично продвигал в министры финансов и другого своего человека, банковского деятеля графа Татищева. „Его любовь к нашему Другу является несомненным благословением и преимуществом“,— писала царица Николаю о Татищеве. „Наш Друг говорит, что Татищеву можно доверять, он богат и хорошо знаком с банковским миром“, убеждает она царя назначить Татищева министром. Как видим, Распутин продвигал в министры людей с разбором, а так как разбираться в их „министерской“ пригодности он не мог, то руководствовался другим. Это должны были быть, прежде всего, его поклонники, а затем люди, имеющие связи с денежным миром, при содействии которых можно было бы устраивать выгодные — не только для дельцов, но и для Распутина — дела.

И самим Распутиным и теми, кто окружал его, велась игра на крупные ставки. Рубинштейну, который спекулировал

скупкою лесов в Минской губернии, нужно было знать, предполагается ли наступление на западном фронте, и Распутин узнает у царя все, что нужно биржевому спекулянту. Распутин устроил Рубинштейну какое-то дело на 300 тыс. руб. и за это получил от него 50 тыс. Манус задумал выпуск правительством внутреннего займа (на таких займах наживались банки) для постройки железных дорог, и план этот быстро проводится через придворного любимца Саблина, друга Распутина. Какой-то Гусевой Распутин устраивал поставку белья для войск на 2 млн. рубл. От коммерции-советника Гинсбурга, поставлявшего уголь для флота, Распутин получил 1.000 рублей, очевидно, за соответствующую „услугу". По свидетельству бывшего директора департамента полиции и товарища министра внутренних дел Белецкого, в совершенстве знавшего все, что делалось вокруг Распутина, близкие к последнему лица „проводили через него крупные дела, действуя секретно друг от друга".

„Наш Друг все молится и думает о войне. Он говорит, чтобы мы ему тотчас же говорили, как только случается что-нибудь особенное",— писала Александра Федоровна о желаниях Распутина. „Теперь, чтоб не забыть, я должна передать тебе поручение от нашего Друга, вызванное его ночным видением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги, говорит, что это необходимо, а то германцы там твердо засядут на всю зиму, что будет стоить много крови, и трудно будет заставить их уйти. Теперь же мы застигнем их врасплох и добьемся того, что они отступят. Он говорит, что именно теперь это самое важное и настоятельно просит тебя, чтобы ты приказал нашим наступать". Для чего нужно было Распутину знать немедленно обо всем, что происходит на фронте? К чему он вмешивается в стратегические планы и диктует их ставке, спекулируя на своих „ночных видениях"? Конечно, не потому, что его не удовлетворяли официальные сообщения о военных действиях, как и не потому, что он считал себя компетентным в военных делах. Осведомленность нужна была, прежде всего, для биржевой игры, как в интересах биржевых дельцов было, чтоб затишье на фронте было прервано наступлением, чтобы мертвая полоса на бирже сменилась оживлением. Если даже сам Распутин об этом не заботился, то заботились Рубинштейны, Манусы, Симановичи, Лунцы.

Как была чиста на руку эта теплая компания, показывает предположение Протопопова, что через Распутина спускались фальшивые деньги под благовидным (и выгодным) предлогом пожертвований на благотворительные дела.

А это подводит нас к другому. Александре Федоровне сообщили секретные маршруты поездки Николая на фронт, и она пишет об этом царю: „Я никому ни слова об этом не скажу, только нашему Другу, чтобы он тебя всюду охранял“. Итак, секретнейшие сведения сообщались Распутину — если „бог все ему открывает“, то „помазанникам божьим“ тем более это нужно делать; Распутин ведь должен был знать, за что и когда молиться. „Надо сказать,— показывал о Распутине бывший министр внутренних дел Хвостов,— что трезвый он ничего не рассказывал, но ему нужно было бутылку портвейна или мадеры, и тогда он рассказывал. Лица эти знали, как с ним поступать, привозили его в ресторан, вливали в него бутылку мадеры, и он рассказывал, что он делал в Царском Селе“. Достаточно вспомнить, что лицами этими были заподозренный в шпионаже Рубинштейн, охранники Симанович и Манасевич-Мануйлов и прочие любители темных денег и темных дел, чтобы прийти к более чем вероятному предположению, что вокруг Распутина уютно устроились и шпионы, действовавшие по заданиям германского штаба.

Как видим, от святости „божьего человека“ остается очень мало сверхискусного шарлатанства, доставившего Распутину столь блестящую карьеру. Белецкий, хорошо изучивший Распутина, говорит о нем: „Я вынес убеждение, что для него не существовало идейных побуждений и к каждому делу он подходил с точки зрения личных своих интересов. Когда он находился в кругу незнакомых или недостаточно знакомых ему людей, или если он говорил с теми, с кем он вел свою игру... он старался замаскировать свои внутренние движения души и помыслы. Изменяя выражение лица и голоса, Распутин притворялся прямодушным, открытым, неинтересующимся никакими материальными благами человеческими“. А „идейные побуждения“, которые искал у Распутина такой поклонник „идейности“, как директор департамента полиции, были у „божьего человека“ совсем особого рода. „Около часу ночи к Распутину пришли 7 — 8 мужчин и женщин во главе с прапорщиком Карпотиным и пробыли до 3 часов ночи; вся компания

кричала, пела песни, плясала, стучала, и все пьяные вышли вместе с Распутиным и отправились неизвестно куда“, — такова запись агентов охранки, приставленных к Распутину и оставивших богатое жизнеописание „святого“. „В 10 ч. 15 мин. утра Распутин встречен один на Гороховой ул. и приведен в д. № 8 по Пушкинской ул. к проститутке Трегубовой, а оттуда в баню“. „Распутин вместе с проституткой Трегубовой приехал на моторе купца Мануса домой пьяный“. Распутин со своим другом монахом Мартианом приехал к какому-то Пестрикову, где „за отсутствием последнего они с сыном его и еще неизвестным студентом кутили; играл какой-то музыкант, пели песни и Распутин плясал с горничной Пестрикова“. По дороге на родину Распутин, сопровождаемый агентами, так напился, что агенты попросили капитана парохода дать им двух человек помочь вывести Распутина с парохода на берег, и они вчетвером вытащили его „мертвецки пьяного“. В другом случае, по свидетельству друга Распутина, монаха Мартиана, „Распутин один выпил около двух четвертей монастырского вина“. Такими сообщениями переполнены наблюдения агентов: пьянство, можно сказать, беспробудное с людьми всякого звания и положения — с проститутками, офицерами, аферистами, министерскими секретарями, монахами, купцами, разврат самый разнузданный. А вот сцена из пребывания Распутина на родине, записанная во всех подробностях агентом: „Когда Распутин находился в гостях у брата своего Николая Распутина и тут же было несколько других лиц, пришел туда же отец Распутина и начал ругать сына Григория самыми скверными словами. Распутин, как бешеный, вскочил из-за стола, вытолкнул отца во двор, свалил его на землю и давай его бить кулаками. Отец кричал: „Не бей, подлец!“ Пришлось их силой расталкивать. После осмотра у отца оказался подбитый глаз с огромными кровоподтеками, так что закрыло весь глаз. Оправившись, старик стал еще пуще ругать сына, грозя ему рассказать всем, что он „ничего не знает, а только знает Дуню (прислугу) держать за мягкие части“. После этого пришлось Распутина силой удержать от вторичного нападения на отца, оба они были пьяны“. Отец, видно, хорошо понимал своего сына, если угрожал разоблачить, что тот „ничего не знает“, кроме разврата и пьянства. Любопытна запись агента, непосредственно следующая

за приведенным рассказом: „В этот день Распутин послал две телеграммы, одну в Царское Село, а другую в царскую ставку“. После избиения отца и пьяного дебоша Распутин принялся за разрешение дел государственных — царь с царицей ждали вещего слова „божьего человека“.

Так разыгрывал Распутин свою роль при дворе, украшая ее видениями, святостью своею, молитвами, загадочными изречениями, строя на этом свое благополучие, устраивая свои делишки, собирая взятками за ходатайства сотни тысяч рублей. А за спиной его стояли биржевики и спекулянты, охранники и шпионы, придворные временщики и кандидаты в министры. Отсюда, от этого вертепа, тянулись нити ко дворцу, к тем, кто вершил судьбами России. „Был класс, да изъездился“, правильно сделал заключение Шульгин. Разложение дворянства, как правящего класса, наиболее ярко сказалось в этом гниении изнутри самодержавия, разъедаемого распутинщиной: „историческая“ миссия „первенствующего сословия“, выродившись в господство черносотенного объединенного дворянства, переходила к клике аферистов, с которой самодержавие оказалось в таком трогательном единении.

Пуришкевич — его осведомленности можно верить — называл Распутина „фактическим самодержцем в России“. Но если Николай II жил и действовал умом Распутина, то потому, что воззрения их были родственны. Политическое воспитание Распутин получил у известных черносотенцев Дубровина, Орлова, Восторгова и др., которые его часто посещали, и на мнения их, как свидетельствует Белецкий, он ссылался, когда в разговорах с царем хотел опереться на „партийные лозунги и соображения в интересах монархического принципа“. Но и для Николая голос черносотенцев был издавна голосом „народа“, их воззрения он считал своими. В одном из писем к царю Александра Федоровна, сравнивая госуд. думу с союзом русского народа, отдает, конечно, все преимущества последнему: „Одни — гнилое, слабое, безнравственное общество, — писала она,— другие — здоровые, благомыслящие, преданные подданные, их-то и надо слушать, их голос — голос России, а вовсе не голос общества или думы“. И естественно, что самодержавие пользуется обстановкой „гражданского мира“, чтобы не только укрепиться, но и перейти в наступление против всякого, кто посягает на власть и может помешать разгулу темной клики.

Особенную ненависть возбуждает государственная дума— эта умеренная и аккуратная дума, которая ни о чем не помышляла, кроме „войны до победного конца“, и ради этой победы готова была пойти на самоупразднение. Но дума — возможный претендент, если не на власть, то на ограничение царской власти, и потому — долой ее. И Распутин и Александра Федоровна развивают бешеную кампанию против думы. „Теперь в августе соберется дума, а наш Друг несколько раз тебя просил сделать это как можно позднее“, — пишет царица летом 1915 г. „Любимый мой, наш Друг просил тебя закрыть ее 14-го“,— пишет она о думе в декабре 1916 г. Думу нужно собрать на короткое время, разогнать пораньше, а лучше всего совсем не созывать. „Дорогой мой я слыхала, что этот мерзкий Родзянко с другими ходил к Горемыкину просить, чтобы немедленно созвать думу,—пишет она летом 1915 г.— О, прошу тебя, не позволяй, это не их дело. Они хотят обсуждать дела, которые их не касаются, и вызвать еще больше недовольства. Надо их отстранить“. „Дорогой мой, только поступи умно, вели распустить думу“,— убеждает она царя и ссылается на мнение Распутина: „Наш Друг говорит, что никто не верит депутатам, когда они поодиночке у себя дома,— они сильны лишь, когда собираются вместе“. Когда летом 1915 года царь решил распустить думу, Александра Федоровна пишет ему письмо, полное восторга: „Ты, наконец, показываешь себя государем, настоящим самодержцем, без которого Россия не может существовать... Бог, который справедлив и около тебя, спасет твою страну и престол через твою твердость... Твоя вера была испытана; и ты остался твердым, как скала, за это ты будешь благословен. Бог помазал тебя на коронации, поставил тебя на твое место и ты исполнил свой долг. Будь в этом твердо уверен: он не забывает своего помазанника. Молитвы нашего Друга денно и нощно возносятся за тебя к небесам, и господь их услышит“. Редко сомнение, однако, берет и Распутина, и он готов примириться с тем, что на время войны думу надо сохранить, чтоб не толкать буржуазию на путь революции. „Наш Друг сказал последний раз,— пишет в одном из писем Александра Федоровна царю,— что только в случае победы дума может не созываться, иначе же непременно надо“. Но страх проходит, воскресает надежда, что со всем можно будет справиться

молитвами „друга“ — и письма снова заполняются настойчивыми требованиями отделаться от думы, доказательствами, что Россия — страна не конституционная, что русский народ к „конституции“ не подготовлен, что он жаждет „кнута“ и только кнута достоин.

Убеждать Николая II, конечно, не приходилось. Дело шло только о том, чтобы придать ему смелости: мы знаем, что давнишней мыслью его еще до войны было упразднить думу, как законодательное учреждение, восстановить самодержавие в том виде, в каком оно существовало до 1905 года. И теперь, в годы войны, это стремление остается основным. Когда война была объявлена, дума была созвана всего на один день (26 июня), чтобы демонстрировать „единение“, и затем была созвана на три дня лишь в январе 1915 г. Поражения на фронте летом 1915 года побудили созвать думу 19 июня, но уже 3 сентября она была распущена. После этого следует интервал до февраля 1916 г., когда с перерывами дума созывается до 20 июня. Снова дума созывается 1 ноября, а 16 декабря снова распускается. В последнюю свою сессию дума была созвана 14 февраля 1917 года. Таким образом, за два года и семь месяцев войны дума заседала всего $6^1/_2$ месяцев, при чем работа ее сводилась, главным образом, к работе бюджетной комиссии, а общие собрания происходили значительно реже, чем в нормальное время. Не успевала дума собраться, как правительство уже готовилось к ее роспуску, а у председателя совета министров всегда был наготове указ о роспуске, подписанный Николаем II, без указания числа, которое проставлялось министром, когда это нужно было.

Но кратковременные сессии думы не только не помогали делу, но вредили. Дума становилась во все большую оппозицию — не к царю, а к Распутину, — и потому и царь, и Распутин, и распутинские ставленники, и активные черносотенные организации все чаще возвращаются к мысли о необходимости разгона думы и государственного переворота.

Прежде всего, самим же правительством приводится в движение весь наличный активный аппарат черносотенства. Поднимает свой голос объединенное дворянство. В июне 1915 г. близкий к царскому двору Мосолов в заседании совета объединенного дворянства проводит сравнение между 1915 и 1905 г.г. и предлагает „осведомить правительство, что все

пожелания (о дальнейшем проведении в жизнь „вожделений левых партий“), которые впоследствии, по окончании войны, выльются в определенные требования, исходят лишь от определенной группы лиц, не представляющих собой всего народа, и что мнение их совсем не разделяет его благомыслящая часть, которая, если потребуется, окажет поддержку правительству“. Сигнал этот, поданный из дворца, подхватывается объединенным дворянством, совет которого постановляет „с особенным вниманием следить за происходящими событиями и домогательствами партий и, когда того потребуют обстоятельства, принять соответствующие мероприятия“. В августе 1915 года совет заявляет, что „только незыблемость основ существующего порядка в соединении с твердою и единою правительственною властью в центре и на местах могут оградить страну от шатания мыслей и внутренней смуты“. При ближайшем участии правительства черносотенные вожаки, получающие казенные субсидии, „проводят“ ряд провинциальных съездов, которые шлют Николаю II телеграммы о том, что „государственную думу, не оправдавшую задач, необходимо немедленно распустить“, а власть вручить „лицу, облеченному неограниченными полномочиями“, т.-е. диктатору, который должен „принять меры против повторения смуты 1905 г.“. В Петрограде в ноябре 1915 года созывается монархический съезд и на нем председательствует недавний министр Щегловитов, который называет манифест 17 октября 1905 г. „пропавшей грамотой“, а съезд одобряет роспуск думы, обещавщей „внести в государство опасную смуту“; съезд этот организуется правительством, на нем присутствуют некоторые губернаторы, его приветствует товарищ министра внутренних дел Белецкий. А дальше дело развивается и вширь и вглубь.

Осенью 1916 г. „кружок“ сенатора Римского-Корсакова, к которому принадлежали, между прочим, известный деятель объединенного дворянства Павлов, бывшие министры Маклаков и Макаров, председатель совета министров Штюрмер, черносотенец Замысловский и др., составил и подал Николаю II записку, в которой намечался план действий. „Так как в настоящее время уже не представляется сомнений в том,— говорилось в этой записке,— что госуд. дума при поддержке так называемых общественных организаций вступает на явно

революционный путь, ближайшим последствием чего, по возобновлению ее сессий, явится искание ею содействия мятежно настроенных масс, а затем ряд активных выступлений в сторону государственного, а, весьма вероятно, и династического переворота, надлежит теперь же подготовить, а в нужный момент осуществить ряд совершенно определенных и решительных мероприятий, клонящихся к подавлению мятежа". В частности, записка намечала такого рода меры: 1) немедленный роспуск госуд. думы без указания срока ее созыва и с объявлением о пересмотре основных законов в смысле лишения думы законодательных прав; 2) госуд. совет, даже без предварительного изменения основных законов, также лишается законодательных прав и на утверждение царя должны быть представлены мнения большинства и меньшинства совета; 3) немедленно закрываются все органы левой и революционной печати и принимаются меры к усилению правых газет; 4) В Петрограде, Москве и больших городах вводится военное, а если нужно осадное положение; 5) все заводы милитаризуются, а военнообязанные рабочие, пользующиеся отсрочкой, призываются на военную службу и работают на заводах в качестве солдат; 6) в земский и городской союзы и в военно-промышленные комитеты, как и в открытые им лазареты, мастерские и т. п., назначаются правительственные комиссары; 7) министрами, генерал-губернаторами и т. п. назначаются лица, готовые „без колебания на борьбу с наступающим мятежом и анархией"; они должны „клятвенно засвидетельствовать перед лицом монарха свою готовность пасть в предстоящей борьбе, заранее на сей случай указать своих заместителей, а от монарха получить всю полноту власти".

Нужно отдать справедливость стройности этой программы — авторы ее, во всяком случае, не были краснобаями, знали, что им нужно, и как к этому итти. Борьба не только против революции, но и против всякой общественности, расходящейся с реакцией, была объявлена на жизнь или на смерть. Само собою разумеется, что программа столь решительных действий не осталась гласом вопиющего в пустыне — за реализацию ее принялись энергично, и, если не осуществили ее полностью, то потому, что не успели, благодаря крайнему разложению самодержавия, оказавшегося неспособным не только для наступления, но и для обороны.

В предвидении кровавой расправы со всяким противодействием государственному перевороту и, конечно, с революцией Петроград выделяется в особую военную единицу с непосредственным подчинением ставке. Особые меры принимаются к охране Царского Села, которая поручается особому помощнику дворцового коменданта с расчетом привлечь к охране царя воинские части, „верные трону". Министры назначаются и увольняются пачками — все в поисках „твердого", решительного. „Мы стольких знаем, а когда приходится выбирать министра, нет ни одного человека, годного на такой пост",— с отчаянием пишет Александра Федоровна Николаю. Усиливаются репрессии против печати, к бесцензурному оглашению запрещаются даже отчеты о заседаниях госуд. думы. Воспрещаются съезды земских и городских союзов, а когда эти союзы задумали собрать съезды явочным порядком в декабре 1916 г., то были разогнаны нарядом полиции; в Москве воспрещены были всякие собрания военно-промышленного комитета, а в Петрограде на заседания комитета являлась для наблюдения полиция. Учащаются аресты, все шире применяется отправка на фронт бастующих рабочих. Подготовляется и главный удар, после которого должно было начаться настоящее, широким фронтом, наступление. В ноябре 1916 года заготовляется указ не о перерыве только занятий думы, а ее роспуске с назначением новых выборов, но без обозначения их срока; докладывая Николаю II об этих своих планах, Штюрмер указывал, что „ближайшим последствием роспуска думы явится немедленное отправление на службу на фронт всех членов законодательных учреждений, подлежащих по возрасту",— таким образом, с депутатами, увы, намерены были разделаться, как с бастующими рабочими. Правительство не рискнуло сразу полностью осуществить программу правых, сохраняя пока за думой законодательные права и назначая лишь новые выборы. Подготовка к выборам была начата еще раньше, летом 1916 года, когда на предвыборную кампанию было ассигновано 8 млн. руб., из которых 1.300 тыс. руб. было уже израсходовано, при чем соответствующие куши получили черносотенные депутаты думы — Замысловский, Крупенский, Марков и др. План Протопопова, к которому перешла подготовка выборов, когда он стал министром вн. дел, состоял в том, чтобы усилить в думе

представительство от банков и промышленности, а для проведения выборов создать особое „центральное выборное бюро“, на содержание которого от банков и промышленников Протопопов ожидал получить 2—3 млн. рублей.

Указ о роспуске думы не был использован в декабре 1916 г. и хранился у председателя совета министров — им воспользовались позже уже в предсмертной агонии, 26 февраля 1917 г. Но мысль о государственном перевороте не оставлялась ни на минуту, и в начале февраля 1917 года Николай II поручил бывшему министру вн. дел Маклакову, одному из участников того кружка, который составил приведеную выше программу, изготовить манифест о роспуске думы. Маклаков выполнил это поручение. В составленном им манифесте дума обвинялась в том, что ведет борьбу с властью, да еще в том, что... не увеличила жалованья чиновникам и духовенству. Манифест призывал всех верноподданных соединиться с царем и вместе послужить России, а сроком выборов назначал 15 ноября 1917 года. Истинная цель шла, конечно, дальше, чем роспуск думы с назначением новых выборов. Правительство не могло не понимать, что оно бросает этим вызов даже умеренным общественным элементам, и потому, развязывая себе руки, готовилось к самым крайним мерам, не останавливаясь и перед полным переворотом с упразднением думы. Об этом писал Маклаков Николаю II, посылая составленный им манифест: „Надо, не теряя ни минуты, крепко обдумать весь план дальнейших действий правительственной власти для того, чтобы встретить все временные осложнения, на которые дума и союзы несомненно толкают часть населения, в связи с роспуском госуд. думы, подготовленным, уверенным в себе, спокойным и неколеблющимся... Власть более, чем когда-либо, должна быть сосредоточена, убеждена, скована единой целью восстановить государственный порядок, чего бы то ни стоило, и быть уверенной в победе над внутренним врагом, который давно становится и опаснее, и ожесточеннее, и наглее врага внешнего“. Все это те же мысли, которые высказывали авторы приведенной программы: с внутренним врагом нужно разделаться окончательно, чего бы то ни стоило — подавить не только революцию, но и думскую оппозицию более важно, чем выиграть войну, ибо „внутренний враг“ опасней внешнего.

И если задача ставится так, если опасность грозит самодержавию — об опасности для монархии едва ли догадывались все эти государственные мужи — то во имя спасения власти можно пойти и на сепаратный мир. „Подорванная держава“, о которой Черчилль говорил, что она не осмелится пойти на такой мир, теперь впервые пытается оторваться от своих благодетелей-союзников. Предложения о сепаратном мире делались России и раньше. С таким поручением приехала к Николаю II Васильчикова, проживавшая в годы войны в Австрии; разговоры о сепаратном мире вели представители Германии с Протопоповым во время поездки его за границу, когда он еще не был министром, и о разговорах этих Протопопов передал Николаю. Но тогда на переговоры „подорванная держава“ не шла, не осмеливаясь на разрыв с союзниками, пока перед самодержавием не встала грозная опасность извнутри. Теперь, когда дело шло о решительном бое, о последней ставке в борьбе за самосохранение, нужно было отделаться от всей осложняющей обстановки войны. Бывший австрийский министр иностранных дел Чернин рассказывает в своих воспоминаниях, что как раз в феврале 1917 года от имени одной из воюющих держав ему предложено было вступить в переговоры о мире. Чернин высказывает уверенность, что речь шла о России. И это тем более вероятно, что предложение совпало с деятельной подготовкой к государственному перевороту, на успех которого при продолжении войны трудно было рассчитывать, и с откровенным заявлением Маклакова царю о том, что революция более опасна, чем Германия. А Маклаков еще задолго до этого подавал Николаю записку о необходимости пойти на сепаратный мир, с чем Николай, конечно, считался, когда привлекал Маклакова к осуществлению плана переворота. „Партия сепаратного мира“ вообще была сильна при дворе. Распутин, как писала Александра Федоровна в одном из своих писем, был против войны и, стало-быть, мог быть сторонником мира. Так на него и смотрели люди, посвященные в дворцовые дела. „После официального сообщения о предложении Германии и Австрии начать мирные переговоры,— писала в декабре 1916 г. жена Родзянко, очевидно, со слов последнего,— очень опасаются распутинского согласия на заключение мира помимо союзников“. Это тем более вероятно, что Распутина окружали

люди, которые могли быть — и были, как Рубинштейн, — наемными либо добровольными агентами Германии. О Манусе один из придворных писал в своем дневнике: „Многие начинают говорить о значении немецкой распутинской организации; Манус — душа всех друзей немцев“, а в подтверждение ссылался на слова члена правления Азиатского банка: „Не Распутин, а Манус ведет всю эту немецкую затею, через него идут деньги, а на эти деньги содержится Распутин“. Если в этих разговорах и не все, быть может, вполне правдиво, но уже одно то, что Манус был тесно связан с германским банковским капиталом, действовавшим в России, делает более, чем вероятной, его агитацию за мир с Германией, влияние его в этом смысле на Распутина, а через последнего — на царя.

И как раз в эти дни — 11 февраля 1917 г. — когда в Царском Селе разрабатывались планы государственного переворота и сепаратного мира, председатель думы Родзянко получил аудиенцию у Николая для очередного доклада. „Резкий вызывающий тон, вид решительный и бодрый, злые, блестящие глаза — писала об этом жена Родзянко своим родным. — На доклад Миши (т.-е. Родзянко), в котором ярко изображалось все положение в стране, наступающий голод в тылу и армии, отношение правительства к народу, инертность властей и тревога благомыслящих людей, государь отвечал резко, с досадой и, наконец, прервал чтение Миши (доклад был изложен письменно) словами: „Кончайте скорее, мне время нет“.

А в своем докладе Родзянко всего лишь умолял царя о „контакте с обществом“. Он указывал, что необходимо привлечь к делу устройства народного хозяйства „все живые силы страны, что необходимо предполагает установление не только полного доверия, но и полного контакта между властью и обществом“. Вспоминая об Александре I, который „не поколебался доверить власть лицу, облеченному общественным доверием“, Родзянко писал в своем докладе: „Мы молим, вас, государь, — последуйте примеру вашего благородного предка. Бьет двенадцатый час, и слишком близко время, когда всякое обращение к разуму народа станет запоздалым и бесполезным“. Но Николаю просто не было времени слушать эти патриотические разглагольствования. Он в душе, вероятно, смеялся над наивностью председателя думы, который толкует о „контакте“,

не подозревая, что здесь же, на царском столе, рядом с его докладом лежит доклад Маклакова о государственном перевороте, намеченном во всех подробностях.

Так правительство использовало обстановку „гражданского мира". В планах повторить еще в более грандиозных размерах опыт 1905 г. недостатка не было, как не было недостатка в желании быть смелыми. Распутинщина принесла с собой больше наглости — с приходом к власти „божьего человека" и с ним аферистов всякого ранга и всякой специальности, самодержавие воссияло во всем своем блеске, предстало во всей своей красоте, распоясанное, тупое, наглое, злобное, готовое, ради сохранения своей власти, пойти войною даже против тех, на кого оно вчера опиралось и на кого оно только могло опираться. Вся надежда оставалась на штыки, потому что социальной опоры больше не было—„был класс да изъездился". Вырождение самодержавия это — вырождение дворянской правящей верхушки, духовным сыном которой был самодержец. Не только буржуазия, но и большинство поземельного дворянства, начав с оппозиции Распутину, кончало борьбой с царем. Но снять с престола Николая значило покончить с самодержавием, посадив на престол другого конституционного монарха. Так и думали господствовавшие общественные классы, уверенные, что бьет последний час самодержавия. Они не знали, что бьет последний час монархии.

X. Буржуазия накануне революции.

Война принесла России внутренний „гражданский мир". Этот мир, если его рассматривать с точки зрения либеральной буржуазии, имел в виду две стороны: правительство и другие буржуазные партии, прежде всего, дворян-помещиков. Правительству политика „гражданского мира", как мы видели, имела целью предоставить возможность „объединить все классы и национальности", или, как формулировал тот же Милюков в государственной думе: „В этой борьбе (т.-е. войне) мы все заодно, мы не ставим условий и требований: мы просто кладем на весы борьбы нашу твердую волю одолеть насильника". По отношению к другим господствовавшим классам „гражданский мир" имел задачей объединить их в борьбе за общие империалистические цели войны и сплотить их перед лицом

народных масс, которые могут восстать и против войны и против монархии. После бурных июльских дней 1914 года трудно было отделаться от мысли, что опасность революции миновала, и, напротив, можно было думать, что война только усилит эту опасность.

Решив, что на время войны правительство должно „объединить все классы и национальности“, буржуазия, в беспредельном смирении, предоставляет ему всю свободу действий, хотя первые же дни войны обнаруживают — если это еще нуждалось в доказательствах,— что правительство свободой действий пользуется только для борьбы с думой. Еще до созыва думы в однодневную сессию 26 июля 1914 г. оказалось, что правительство решило следующую сессию думы созвать в ноябре 1915 года, т.-е. более чем через год. Думцы, настроенные „граждански-мирно“, стерпели этот ушат холодной воды, вступили в переговоры с правительством и получили некоторую уступку — дума была созвана в январе 1915 г. К тому времени назрели новые сюрпризы. На фронте не было снаряжения, в тылу царствовал Распутин. „Направление и характер правительственного курса к этому времени вполне определились“, — признает отчет думской фракции кадетов, говоря о начале 1915 г. Тем не менее, по словам того же отчета, „открытая критика при тогдашнем общем положении в стране и на фронте, при неокрепшем еще достаточно представлении в широких кругах о значении новой тактики (кадетской) фракции (т.-е. тактики „гражданского мира“) могла бы оказать действие обратное тому, которое имелось в виду“. От открытой критики думское большинство поэтому отказалось, и предпочло ей частную, закрытую беседу с министрами в январе 1915 г. „Мы все-таки хотели переговорить с ним (т.-е. с правительством) начистоту в этом закрытом заседании“, — рассказывает об этом Милюков. Однако, в ответ на сердечное влечение поговорить начистоту председатель совета министров Горемыкин „отделался общими фразами“ и говорил в „очень раздраженной форме“. Тем не менее, думское большинство, в том числе кадеты, присутствовали тогда же, в конце января 1915 г., на рауте у Горемыкина — уже после того, как не только вполне определился „характер правительственного курса“, но и выяснилось, что правительство ничего, кроме раздражения и общих фраз, предъявить не может.

„Гражданский мир“ поддерживался, таким образом, за совесть. Милюков объясняет такого рода поведение тем, что необходимо было поддержать „внешний вид мира с правительством“. Но тайные совещания никакого отношения к „внешнему виду“ не имели, как и рауты у Горемыкина. Дело шло о попытках к соглашению с тем именно правительством, характер деятельности которого вполне определился.

Но сюрпризы сыпались, как из рога изобилия. К лету 1915 г. положение на фронте стало катастрофическим, развал в стране усилился, распутинщина распоясалась, правительство все тверже забирало реакционный курс. Шульгин находит, что в это время перед правительством были три пути: 1) войти в соглашение с думой, 2) найти второго Столыпина, который „эффектно“ разогнал бы думу и правил самодержавно, 3) если исключить первый и второй путь, то кончать войну. Правительство не вступало ни на один из этих путей — оно предпочитало свой четвертый, распутинский путь,— и думскому большинству оставалось самому искать выхода. Войну кончать оно, конечно, не желало. Второго Столыпина сыскать было не легко, если бы этого и пожелали. Оставалось — искать соглашения с правительством. Перед буржуазией был еще четвертый путь — „буржуазной революции“, захвата власти,— но на этот путь она вступать не желала и в борьбе за власть была жертвой сложившихся не по ее вине обстоятельств.

Прогрессивный думский блок, образовавшийся летом 1915 г., задуман был как попытка соглашения не только либеральной и помещичьей буржуазии, но и соглашения буржуазии с правительством. Милюков, который считает себя творцом блока, допускает даже, что „первая мысль о нем исходила из министерских кругов“. Это вполне возможно и подтверждает ту схему выходов, о которой говорит Шульгин: в составе министерства были отдельные лица, которые находили, что правительство может и должно войти в соглашение с думой. Если инициатива блока даже и не исходила от этой части министров, то инициатива в думских кругах вполне совпадала с некоторыми настроениями в правительстве, имея в виду, однако, соглашение не с частью, а со всем правительством. Тактика блока естественно вытекала не только из тактики „гражданского мира“, но также из практики закрытых совещаний с правительством и сближения с ним на раутах.

В прогрессивный блок вошли шесть думских фракций (кадеты, прогрессисты, левые октябристы, октябристы-земцы, центр и националисты-прогрессисты), т.-е. правые и „левые“ группы, и потому программа его была построена на выделении того, что могло всех объединить. Программа прогрессивного блока требовала частичной амнистии (в „чисто политических преступлениях“, т.-е. исключала террор), „смягчения участи“ остальных осужденных за политические преступления, прекращения религиозных преследований, автономии для Польши, „вступления на путь отмены ограничений в правах евреев“ (т.-е. отнюдь не полного уничтожения бесправия евреев), „примирительной политики“ в финляндском вопросе, „восстановления малорусской печати“, восстановления деятельности профессиональных союзов и рабочей печати (свободы печати программа не требовала), уравнения крестьян в правах с другими классами, введения волостного земства, пересмотра городских и земских положений, издания закона о кооперативах, устава ревизии и „утверждения трезвости навсегда“.

Шульгин был прав, когда находил, что эта программа „просто безобидна“. „Уравнение крестьян в правах“, — пишет он, — вопрос, предрешенный еще Столыпиным; „пересмотр земского положения“ — тоже давно назревал за „оскудением“ дворянства; вполне вегетарианское „волостное земство“; прекращение репрессий против „малороссийской печати“, которую никто не преследовал (?!); „автономия Польши“ — нечто совершенно уже академическое в то время, в виду того, что Польшу заняла Германия“.

И, тем не менее, даже на такой „безобидной“ программе сколотить блок было делом не легким. „Боже мой, как это было трудно!“ — сознается Шульгин. Замечание Шульгина относится, главным образом, к пункту программы, который касался евреев. „Этот пункт, даже в таком виде, был тяжел для правого крыла блока. И сколько раз эти белые колонны (здания госуд. думы) видели наши лица сугубо озабоченные из-за „еврейского вопроса“, — пишет Шульгин. Еще бы! Их „озабоченные“ лица были видны не только белым колоннам. Их видели еврейские кварталы и местечки в дни погромов, их видели в Киеве в 1919 году, когда деникинские погромы тот же Шульгин с жестокостью погромного садиста называл „пыткою страхом“... Все же горькую пилюлю проглотили.

Проглотили — „боже мой, как это было трудно!“ — и амнистию, хотя бы частичную, и прекращение религиозных преследований, и примирение с Финляндией, — примирились с этим тем легче, что, по словам Шульгина же, „все реформы“ прогрессивного блока были „в сущности для мирного времени“. Так нужно было делать во имя войны, для укрепления „гражданского мира“. Это требовалось и в предвидении надвигающейся революции. Гучков, напр., еще в 1913 г. на съезде октябристов призывал товарищей по партии перейти „в резкую оппозицию и борьбу“. „Я считал чрезвычайно важным, — объясняет Гучков такого рода тактику, — чтобы в тех событиях, которые готовились, на мой взгляд, и которые вели к насильственному перевороту, руководящие круги русского общества приняли руководящую роль, и чтобы именно их разумом совершалось то, что представлялось мне неизбежным. Мне казалось, что переход умеренных политических кругов на позицию такой резкой оппозиционной борьбы может образумить власть и вынудить ее на известные уступки“. Гучков понял это в довоенные годы подъема рабочего движения. Правое крыло прогрессивного блока поняло это только в годы войны.

Был в программе блока еще один пункт, основной и самый боевой, это — вопрос о власти. „Все это пустяки, — пишет Шульгин о прочих пунктах программы. — Единственно что важно: кто будет правительством“. Этим самым перед буржуазией ставился вопрос: вступать ли в борьбу за власть или удовольствоваться компромиссом с существующей властью, — „образумить власть и вынудить ее на известные уступки“, как полагал еще в 1913 г. Гучков. По какому пути пошла буржуазия?

Программа блока требовала создания „объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны и согласившихся с законодательным учреждением относительно выполнения в ближайший срок определенной программы“. Таким образом, блок не требовал „ответственного министерства“, т.-е. министерства, пользующегося доверием думы и перед ней ответственного. Отношение министерства к думе исчерпывалось согласием его провести программу, одобренную думой; доверие министерству требовалось не от думы, а от страны. Такое понимание образования власти ЦК кадетской партии

в одном из докладов пояснял тем, что „ответственность министерства в смысле политической по нашим основным законам не существует“, т.-е. по закону министерство вовсе не обязано выходить в отставку, когда дума ему высказывает недоверие, а против закона и кадеты итти не хотели. Но почему тогда не пошли „путем создания писаной практики“, которая, по словам того же доклада, „гораздо чаще наблюдается в истории конституционализма“, чем соответствующее изменение закона? Позже Милюков отвечал на это: „Переход от министерства доверия к формуле ответственного министерства уже означал совершенно открытый разрыв со всякого рода мирными путями к разрешению вопроса“. Добиться от распутинского правительства ответственного министерства (как, впрочем, и „министерства доверия“) мирными путями, действительно, нельзя было, а на другой путь буржуазия вступать не собиралась. Поскольку же ответственное министерство, т.-е. министерство, зависимое от думы, давало буржуазии власть, постольку, отказываясь от такого министерства, буржуазия отказывалась и от борьбы за власть.

Но что же такое — министерство, пользующееся „доверием страны“? Как определить и кто будет определять, пользуется ли министерство доверием страны? Не дума, понятно, потому что ей это по законам не писано. И не всенародное, конечно, голосование. Определить, пользуется или нет министерство доверием „страны“, должен был, очевидно, тот, кто это министерство „по закону“ назначал, т.-е. распутинское правительство. А так как министерство, помимо доверия „страны“, должно было согласиться с думой о программе работ, то правительству предварительно нужно было договориться с думой о реформах, оставляя власть в своих руках. Под лозунгом министерства „доверия страны“ скрывалось, таким образом, соглашение буржуазии с самодержавием за спиною подлинной страны.

Теперь мы можем не удивляться словам Милюкова, что первая мысль о прогрессивном блоке исходила из некоторых министерских кругов, более дальновидных. Во всяком случае, первый шаг блоком был сделан по направлению к министерству. Договориться с председателем совета министров Горемыкиным не пожелали,— однако все же о программе блока его „информировали“. Затем немедленно же по образовании блока

состоялось заседание у министра Харитонова, где депутаты вместе с некоторыми министрами обсуждали программу блока. „Во многих случаях,— рассказывает Милюков, — они (т. е. министры) находили наши пункты приемлемыми, в других случаях находили мало практичными и мало существенными; но, в целом, создавалась такая почва, на которой часть министров могла ухватиться за программу блока“. Сторговаться не удалось, однако, потому, что, по мнению министров, вопрос о „министерстве доверия“ зависит от „высочайшего усмотрения“... А для „публики“ этот торг, в отчете думской фракции кадетов, изображался, как тактика, вполне согласованная „с основным принципом — не торговаться с властью“!

Если соглашение с самодержавием не состоялось, то меньше всего вопреки желаниям буржуазии. Александра Федоровна как раз в эти дни настаивала на немедленном разгоне думы. „Ведь ты самодержец, и они не смеют этого забывать“,— пишет она Николаю 28 августа 1915 года. „Надеюсь, что ты разгонишь думу“,— напоминает она царю 30 августа и 31 августа повторяет: „Дума, надеюсь, немедленно будет распущена“. „Потряси и разбуди всех, и крепко ударь, когда понадобится. Тебя должны не только любить, но и бояться“,— пишет она в этом же письме, и в другом письме говорит: „Конечно, не надо министерства, ответственного перед думой, как они добиваются. Мы для этого не созрели и это было бы гибелью для России. Мы не конституционная страна и не смеем ею быть. Наш народ для этого не образован и не готов. Слава богу, наш император — самодержец, и должен остаться таким, как ты это и делаешь — только покажи больше силы и решимости“. 3 сентября дума была распущена — в ответ на образование прогрессивного блока и требование „министерства доверия“.

Но и в эти дни, когда реакция замышляла поход на думу, думское большинство не только не осмеливается на разрыв с царской властью, но перед ней раболепствует. Когда Николай II решил стать во главе армии и принять на себя звание главнокомандующего, буржуазия увидела в этом... гибель страны,— не потому, конечно, что царь не годился в стратеги, а потому, что в случае поражения подорвана будет вера в царя. „Мы находили, — передает Милюков, — что занятием такого поста, на котором государь не может быть ответственным

лицом, он подвергает опасности себя и страну. Некоторые из нас решили употребить самые решительные меры, чтобы отсоветовать государю брать на себя такой пост". Во исполнение такого решения Родзянко в письме Николаю тогда же писал: „Вы не можете быть действующим лицом, вы должны быть судьею, милостивым поощрителем, или неумолимым карателем. Если же вы, государь, примете на себя непосредственное водительство нашею славною армией,— вы, государь, последнее прибежище нашего народа,— кто же осуществит тогда суд в случае неудачи или поражения? Неужели, государь, неясно, что вы добровольно отдадите вашу неприкосновенную особу на суд народа,— а это есть гибель России". И, пользуясь случаем, председатель думы, „коленопреклоненно" и „горячо молит" царя „успокоить встревоженные и уже волнующиеся умы образованием правительства из лиц, пользующихся доверием вашим и известных стране своей общественной деятельностью". В этом письме поражает не только раболепство, но и политическое лицемерие. Когда дело дошло до предъявления царю „требований" думского блока, министерство „доверия страны" превратилось в министерство „доверия царя", а стране оставляется лишь „осведомленность" об „общественной деятельности" министров. Это, разумеется, тоже вполне соответствовало основному требованию блока — „не торговаться с властью"!

А уже после разгона думы блок приглашал Николая почтить личным председательствованием заседание особого совещания по обороне, но царь демонстративно от этого отказался. Был и такой случай. Когда блок вел переговоры с правительством о возобновлении занятий думы, министр внутрен. дел Хвостов заявил, что вопрос этот будет решен только тогда, когда выяснится, будет ли дума говорить о Распутине или не будет. „Я был чрезвычайно удивлен такой постановкой дела,— рассказывает Милюков,— и сказал ему, что мне кажется это странно. Ведь известно, на чем дума оборвалась. Она оборвалась на прогрессивном блоке и на программе этого блока... Следовательно, вот о чем надо говорить, а не о личных вопросах. Мы и начнем с того места, где мы кончили нашу беседу". Блок шел навстречу желаниям правительства не касаться „темных сил", и, стало-быть, было и такое время, когда думское большинство готово было молчать о Распутине.

Долго, однако, на позиции, всецело устремленной на соглашение с самодержавием, буржуазии оставаться не пришлось. Развал страны усиливался, военное счастье не приходило, росло общее недовольство, явно слышался гул шагов приближающейся революции. Думские речи, изобличавшие министров и даже Распутина, не приводили к „министерству доверия". Правда, эти речи сыграли некоторую роль в другом отношении, да и то ненадолго. „Больше года уже прошло,— пишет Шульгин о второй половине 1915 г. — Революция до сих пор еще не разыгралась... Удалось перевести накопившуюся революционную энергию в слова, в пламенные речи и искусные звонко-звенящие переходы к очередным делам". Это отчасти верно: думские речи, действительно, отводили недовольство, ибо создавали видимость борьбы думы с правительством. Но эти же речи, вопреки намерениям думского большинства, содействовали революционизированию масс, так как вскрывали все новые и новые преступления правительства. Такое действие думских речей, в особенности на армию, не могло не тревожить прогрессивный блок, и потому, естественно, закрадывалось сомнение: не довольно ли, не переборщили ли? „Но,— как сознается Шульгин,— беда в том, что никак остановиться нельзя; всякие неудачи, напряжение, которое становится не под силу, утомление масс, явственно переходящее в отказ воевать, — все это требует особой искусной внутренней политики". А политики такой нет, правительство гнет свою линию, не считаясь с думой, власть остается распутинской. Думские речи явно оказываются бессильными. Отказ масс воевать угрожает войне концом, разрастающиеся экономические и политические стачки рабочих, растущее недовольство широких масс неудержимо приближают революцию. Если буржуазия не примется за „организацию победы", неизбежно поражение. Если буржуазия не станет у власти, революция сметет ее вместе с монархией. Со второй половины 1916 г. буржуазия впервые ставит перед собой задачу борьбы за власть.

Не следует, однако, преувеличивать ни смысла, ни характера этой борьбы. Захват власти вовсе не входил в намерения буржуазии. Сама она стремилась к соглашению с самодержавием, оставляя за последним всю силу. Если от попытки соглашения с самодержавием буржуазия переходила к борьбе с ним, то делала она это по необходимости, под давлением

всей сложившейся обстановки, под кнутом войны и страха перед революцией. Борцы за власть поневоле, которым, говоря словами Энгельса, сказанными по адресу германской буржуазии, приходилось „сыграть политическую роль, как свою проклятую обязанность“, искали поэтому обходных путей, с опаской озираясь направо и налево, готовые, при малейшей возможности, возвратиться на путь соглашения, чтобы спасти от старого все, что можно спасти.

Эти настроения общи для всех буржуазных партий и группировок, и потому нас не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что в буржуазном прогрессивном блоке происходили трения, а партия „прогрессистов“, в которую входили некоторые группы промышленников, даже вышла из блока. Заблуждение это теперь может поддерживаться многими опубликованными донесениями департамента полиции и охранных отделений, которые — иногда по скудной осведомленности, часто по невежеству, еще чаще из желания раздуть и оправдать свою работу,— преувеличивали революционность буржуазии, вообще, и партии „прогрессистов“, в частности. Так, одно из донесений департамента полиции, относящееся к лету 1916 г., изображает дело так, что „продовольственный комитет“ при союзе городов, по замыслу его организаторов, должен был создать „союз союзов“ 1905 г., что кооперативы стремились возродить „всероссийский крестьянский союз“, а рабочие группы военно-промышленных комитетов, с благословения промышленников, подготовляли организацию „совета рабочих депутатов“. Другие донесения секретных агентов (январь 1917 г.) приписывают кадетской партии намерение „вовлечь в открытую борьбу с правительством рабочий класс и, по примеру 1905 г., осуществить всеобщую забастовку“. В уста крупного промышленника и члена партии прогрессистов Коновалова охранка вкладывает слова, что народную массу „пора поднимать“, доносит, будто он „громко прокричал“ о своих планах „по формированию военно-промышленным комитетом армии пролетариата“, будто Коновалов даже взял на себя „организацию рабочего союза и организационную работу по созыву рабочего съезда“, и вообще изображает прогрессистов и московских промышленников отчаянными революционерами, которые не желают примириться на меньшем, как на организации масс для активных выступлений.

Все это, конечно, вздор. Разноречия прогрессивного блока и партии прогрессистов были, но это не были разноречия ни принципиального, ни глубоко-тактического свойства. Прогрессисты и московские промышленники настаивали лишь на более „решительных“ действиях в рамках, однако, общей линии поведения блока. Оппозицию прогрессистов в рядах блока Милюков не без основания называл „обывательской“, и передает, что в качестве более активного образа действия, противопоставляемого думским формулам перехода, они рекомендовали обращение к царю с петицией! Московская городская дума, земские и городские съезды принимали более резкие резолюции, но это были всего лишь резкие слова, не выдвигавшие никаких резких действий. И, само собой разумеется, что, как кадеты не собирались вовлекать в борьбу рабочий класс и организовать политическую забастовку, так и Коновалов и Рябушинский не думали (и, нужно полагать, даже не говорили) о том, что „народную массу пора поднимать“ и что следует организовать „армию пролетариата“ даже при содействии военно-промышленных комитетов. И кадеты, и прогрессисты, и некоторая часть московских промышленников имели свои виды на рабочий класс, но эти виды могли казаться революционными только департаменту полиции. Организация рабочих групп при военно-промышленных комитетах имела целью не сплочение рабочих для революционных выступлений, а, напротив, распыление их и отвлечение от путей революционной борьбы. „Армия пролетариата“, которую Коновалов будто бы собирался „поднять“, должна была усердно работать на заводах для дела обороны, держаться „гражданского мира“ и больше всего своими выступлениями не мешать политике буржуазии. Руководители военно-промышленных комитетов, а ими были Коновалов и Гучков, не скрывали от себя, что не все складывается так, как они желают, но это их не смущало. „Надо сказать,— пояснял Гучков свое отношение к рабочим группам,— что рабочие вошли в эту группу нашей организации, главным образом, с целью добиться каких-либо легальных форм для рабочих организаций. Их не столько интересовала работа на оборону вместе с нами, сколько единственная возможность организации для преследования своих интересов“. И Гучков и Коновалов примирились с этим, как с меньшим злом, ибо легальная организация могла служить

отдушиной для недовольства рабочих, отводящей рабочих от революционных путей. Добиваясь освобождения арестованных членов рабочей группы, Коновалов и Гучков доказывали, что группа не стремилась к вооруженному восстанию и к перевороту—„это, действительно, был вздор“, поясняет Гучков,— и пояснял так по совести. Если боевые предпринимательские организации, петербургские, как и московские, думали, что рабочий класс нужно душить локаутами и репрессиями, чтобы убить в нем революционную энергию, то другая группа промышленников, во главе с Коноваловым, стремилась достичь того же результата путем уступок, соглашения с рабочими на экономической почве. „На правительство,—говорил Коновалов,—надеяться нечего, мы окажемся лицом к лицу с рабочими и тут совершенно бесспорна их сила и наше бессилие. Не лучше ли в таком случае путь соглашения, путь трезвых уступок как с одной, так и с другой стороны“. Военно-промышленные комитеты поэтому разрабатывают проекты примирительных камер и всячески добиваются их осуществления в то время, как боевые предпринимательские организации против учреждения камер решительно протестуют. Вся эта тактика Коноваловых отличается, разумеется, от тактики реакционно настроенных предпринимательских кругов, но она вполне совпадает с тактикой прогрессивного блока и партии кадетов. В частности по отношению к народным массам, к рабочему классу все они стояли на одной позиции: для всех одинаково было бесспорно, что массу не только не нужно „поднимать“, но ее нужно удержать от выступлений, что идеальным выходом было бы, если буржуазия могла действовать, а рабочий класс и крестьянство оставались бы безмолвными и безвольными.

Если бы... Но на русской почве, в XX веке и в условиях войны, не могло уже повториться то, что имело место в европейских революциях первой половины XIX века, когда рабочий класс таскал из огня каштаны для буржуазии; „за спиной крупной буржуазии стоит пролетариат“, преследующий свои классовые цели и способный за них бороться самостоятельно и против буржуазии. Последняя это видит, понимает, откуда идет опасность—ищет обходных путей, ищет солидарно, от правого крыла прогрессивного блока до его левого крыла, до Коноваловых и прогрессистов.

Послушаем исповедь Гучкова: „Вся хозяйственная, экономическая жизнь страны катилась под гору; потому что та власть, которая должна была взять организацию тыла, была и бездарна и бессильна. В этот момент для многих кругов русского общества, по крайней мере для меня, стало ясно, что как во внутренней жизни пришли мы к необходимости насильственного разрыва с прошлым и государственного переворота, так и в этой сфере, в сфере ведения войны и благополучного ее завершения, мы поставлены в то же положение... Как в вопросах внутренней политики надо было руководящим классам прибегнуть к новым приемам, так и в вопросе ведения войны надо было ясно сознать, что рука об руку с существующей властью мы к победе не придем. Нужно было стать на путь государственного переворота“. „Но,— добавляет Гучков,— для меня были не безразличны те формы, в которых происходил разрыв, и те формы, в которые облекалась новая власть. Я имел в виду этот переход от старого строя к новому произвести с возможным смягчением, мне хотелось поменьше жертв, поменьше кровавых счетов, во избежание смут и обострений на всю нашу последующую жизнь“. Больше всего Гучков опасался гражданской войны „всего того, что гражданская война несет за собой в последующей истории народов“. Мало улыбался Гучкову и ход революции в „стихийной форме поднятия народных масс, без правильного плана, без руководителей и без присутствия тех с о з и д а т е л ь н ы х э л е м е н т о в, которые должны, наконец, в с т у п и т ь в с в о ю р о л ь, после того, как первый необходимый процесс, процесс разрушения, будет закончен“. На худой конец Гучков предпочел бы революцию, которая отдала бы власть буржуазии („созидательным элементам“), после того как „революционный мавр“ сделал бы свое дело и сверг Николая II. Но так как такой идеальный путь невозможен, то Гучков желал государственного переворота, но не революции.

Таково же было желание всех руководящих думских кругов, о которых Милюков пишет: „Их главным мотивом было желание довести войну до успешного конца в согласии с союзниками, а причиной их оппозиции — все возраставшая уверенность, что с данным правительством и при данном режиме эта цель достигнута быть не могла. Эти круги начинали

с утверждения, что „во время переправы не перепрягают лошадей“. Мало-по-малу, упираясь и сдерживая более нетерпеливых, они пришли к сознанию необходимости требовать введения общественных элементов в правительство „общественного доверия“. Неустойчивость власти дала перевес над ними тем течениям в обществе, которые требовали формальной „ответственности“ правительства перед народным представительством. Против идеи достигнуть этой цели революционным путем парламентское большинство боролось до самого конца. Но, видя, что насильственный путь будет все равно избран и помимо госуд. думы, оно стало готовиться к тому, чтобы ввести в спокойное русло переворот, который оно п р е д п о ч и т а л о п о л у ч и т ь н е с н и з у, а с в е р х у“. Правильное изображение Милюковым настроений буржуазии подтверждает, если это нужно, и Родзянко: „Большинство ее (т.-е. думы),— пишет он,— объединившееся в прогрессивный блок, боролось именно с революционным течением. Умеренные элементы в госуд. думе более всего боялись, что накопленное в стране недовольство может легко вылиться в крайне нежелательные формы“.

Мысль всех оппозиционных групп — от правых до „левых“ — обращается поэтому к „военному перевороту“, как наиболее приемлемой для буржуазии форме государственного переворота. Такая форма, во-первых, имеет в виду то либо иное соглашение с монархией (и возможно, даже с Николаем II), а во-вторых, она предусматривает переворот „сверху“ с полным устранением с поля действий народных масс, которые должны быть поставлены перед совершившимся фактом и против которых этот „факт“ должен обрушиться со всей силой, если бы они вздумали его не принять.

Идея военного переворота не осуществилась. Единственным ее отголоском было убийство 17 декабря 1916 г. Распутина кн. Юсуповым, вел. князем Дмитрием Павловичем и Пуришкевичем. Но планов переворота было несколько, и к нему готовились довольно энергично.

Был план „морской“, который состоял в том, чтобы пригласить под каким-нибудь предлогом царицу на броненосец и увезти ее в Англию, как будто по ее желанию. Другой план, связанный с именем Гучкова и генерала Крымова, был

разработан более серьезно. Гучков, по его словам, в конце концов, склонился к той форме переворота, „которая была испробована, правда, неудачно, на Сенатской площади в начале XIX столетия“, т.-е. предпочел путь декабристов 1825 г. Этот „декабрист“ от октябристов, запоздавший с своим планом почти ровно на столетие, так излагает подробности намеченного переворота: „Я был убежден, что армия, как один человек, за малыми исключениями, станет на сторону переворота. Я должен сказать (а я ведь не только платонически сочувствовал этим действиям, я принимал активные меры), что провести это было трудно технически. Если б дело шло о том, чтобы поднять военное восстание, будь то на северном или румынском фронте, такое дело оказалось бы чрезвычайно легким, но план заключался в том, чтобы захватить по дороге между ставкой и Царским Селом императорский поезд, вынудить отречение, затем одновременно, при посредстве воинских частей, на которые здесь, в Петрограде, можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство и затем уже объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавляют собою правительство“.

Все эти планы имели в виду добиться отречения Николая II, провозгласить императором наследника Алексея при регенте вел. князе Михаиле Александровиче. Министров должен был поставить прогрессивный блок, руководители которого были посвящены в планы кружка Гучкова — Крымова. „В то же время другой кружок,— рассказывает Милюков,— ядро которого составляли некоторые члены бюро прогрессивного блока с участием некоторых земских и городских деятелей, в виду очевидной возможности переворота, хотя и не будучи точно осведомленным о приготовлениях к нему, обсуждал вопрос о том, какую роль должна сыграть после переворота государственная дума.

Обсудив различные возможности, этот кружок тоже остановился на регентстве великого князя Михаила Александровича, как на лучшем способе осуществить в России конституционную монархию. Значительная часть членов первого состава временного правительства участвовала в совещании этого второго кружка; некоторые, как сказано выше, знали о существовании первого“.

План переворота был задуман в конце 1916 г. и осуществление его намечалось на февраль 1917 г.*).

Итак, в поисках выхода буржуазия остановилась на примере декабристов. Гучков намечал, вероятно, для себя роль „диктатора“ Трубецкого, Крымов — Бестужева либо Рылеева, связанных с офицерством, Милюков — Муравьева, сочиняющего новую конституцию... А солдаты гвардейских полков или Черниговского полка 1825 г.? В планах наших „декабристов“ они должны были играть роль еще меньшую, чем в планах настоящих декабристов. Поясняя некоторые детали переворота, Гучков говорил: „Надо было найти часть, которая была бы расположена для целей охраны по железнодорожному пути, а это было трудно. Здесь петроградский гарнизон не представлял, конечно, трудностей, но все-таки мы не желали бы касаться солдатских масс“. Это было вполне последовательно: участие солдатских масс в перевороте февраля 1917 г. было бы, не в пример декабрю 1825 г., той именно революцией, которая вместо переворота и произошла в феврале 1917 г. Гучков и прочие „декабристы“ это прекрасно понимали,— они ведь хотели переворота „сверху“, а не революции „снизу“, и переворот этот должен был быть совершон хорошо законспирированным кружком, без всякого соприкосновения с массами даже солдатскими, хотя переворот и должен был быть военным. Но излишне доказывать, что методы 1825 г. не годились для 1917 года. Если в 1825 г. эти методы были в руках буржуазии революционными, то в 1917 г. они могли быть и были — контр-революционными. Если декабристы, в особенности „южные“, агитируя среди солдат и выводя их из казарм, не оказались пригодными для дальнейшего наступления на самодержавие,

---

*) Об этом плане передает также генерал Деникин, по словам которого в начале 1917 г. к начальнику штаба главковерха Алексееву приехали представители некоторых думских и общественных кругов и беседовали с ним по вопросу о том, как армия отнесется к предполагавшемуся перевороту. Алексеев в категорической форме указал, что во время войны переворот недопустим, потому что армия „и так не слишком прочно держится“. Генералы Брусилов и Рузский, к которым обратились те же деятели, напротив, высказались в пользу переворота, после чего подготовка к нему продолжалась. Деникин подтверждает, что в кружок, подготовлявший переворот к первой половине марта 1917 г., вошли некоторые члены правых и либеральных кругов думы, члены императорской фамилии и офицерство.

опираясь на солдатские массы, то в 1917 г. солдатские массы были не те, что в 1825 г., и стоило их вывести из казарм, чтобы они сами двинулись дальше, опрокидывая своих вождей из „декабристов". Но без участия солдат не мыслили себе переворота даже самые умеренные из декабристов начала прошлого века, а Гучков, как и прочие, мыслил.

Верили ли в планы эти? Едва ли. Становились на этот путь потому, что другого для них не было, потому, что, стараясь опередить революцию, чтобы разбить ее, не оставалось ничего другого, как достать из архива план декабристов. И потому на всем этом предприятии лежала печать немощи, бессилия, растерянности. „Сначала разговаривали — „так", потом сели за стол, — рассказывает Шульгин об одном заседании в конце января 1917 года, на котором присутствовали все видные члены думы, земского союза, Гучков и др. — Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше нельзя... что что-то надо сделать... Необходимо сейчас же... Необходимо иметь смелость... чтобы принять большие решения... серьезные шаги... Но гора родила мышь... Так никто не решился сказать... Что они хотели? Что думали предложить? Я не понял в точности... Но можно было догадываться. Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу. А, может быть, что-нибудь совсем другое. Во всяком случае, не решились... И, поговорив, разъехались..."

Потерпев неудачу на соглашении с самодержавием, подстегиваемая поражением на фронте, развалом страны, все растущим возмущением масс, буржуазия, бессильная и растерявшаяся, искала обходных путей против революции, которая надвигалась страшной для нее и непреодолимой лавиной...

XI. Последние дни.

Приближался последний час...

Не война породила революцию — она ее ускорила, углубила, облегчила ее победное шествие.

Война как бы подвела итоги предшествовавшему социальному развитию России, упростила классовые отношения, столкнула в борьбе те общественные силы, которые раньше

имели возможность избегать столкновения. Она обнажила всю гниль старого порядка, создавшего видимость внешнего благополучия, экономической устойчивости страны, ее милитаристической силы. Все внутренние противоречия старого строя выступили наружу, все, что связывало его в одно целое, расползалось. Мирное сосуществование самодержавия и буржуазии становилось больше невозможным,— самодержавный царь оказался плохим инструментом и для внешней и для внутренней буржуазной политики. Тем меньше могли мириться с дальнейшим политическим гнетом, доведенным войною до крайнего предела, трудящиеся массы — рабочие и крестьяне. Крепли силы, призванные разрушить старый порядок.

Россия и до войны неудержимо шла к революции, предвоенные годы были годами предреволюционными, безотносительно к тому, разразилась бы мировая война или нет. Революция 1905 г. осталась незавершонной, она не разрешила тех задач, которые перед ней стояли, и не устранила тех причин, которые ее вызвали. Последующее время, вплоть до войны, восстановило революционную обстановку в новых условиях. Мы видели, что рабочий класс, выдержав шквал реакции, переходил в новую наступательную борьбу, а в 1913 — 1914 г.г. развивал необычайную революционную энергию. Общее число участников стачечного движения, и в особенности политического, догоняло в 1914 г. наиболее бурные месяцы 1905 г., а баррикады июльских дней 1914 г. определенно указывали на то, что революционный процесс быстро созревает и может в любой момент привести к взрыву, к массовой и решительной атаке рабочим классом самодержавного порядка. Война могла только на время приостановить дальнейшее нарастание этого процесса, по существу же и в основном она несла новое его усиление.

Под ударами войны рабочий класс быстро пробуждался к борьбе, на которую звала его вся окружающая обстановка— нужда, голод, военно-фабричный режим, кровь, проливаемая на фронтах войны, военная диктатура в тылу. Сложные межклассовые отношения войною уяснялись и упрощались. Предстало в своем обнаженном виде не только реакционнейшее из реакционных правительство, но и буржуазия, в интересах которой велась война и которая подогревала патриотическим угаром пушечное мясо, и все противоречия буржуазного

строя, приведшие к империалистической войне, неслыханно жестокой, упорной, возвращавшей человечество вглубь темного средневековья. Под влиянием войны восстанавливалась не только преемственность с довоенным движением рабочего класса в его передовом отряде и не только быстро втягивались в борьбу самые широкие слои рабочих масс, но и самая революционная борьба рабочих поднималась на высшую ступень борьбы против всего буржуазного порядка,— борьбы, которая являлась неизбежным последствием развития противоречий классового общества, с такой силой выявленных в мировой империалистической войне.

Не менее значительные изменения произошли в крестьянской среде. Если одна из основных причин неудач революции 1905 г. заключалась в том, что рабочий класс не был решительно поддержан крестьянством, которое не проявило всей активности, то в последующие довоенные годы положение исправлялось и в этом отношении. Столыпинская реформа имела в виду потушить пожар в деревне, но она его только раздувала. „Ставка на сильного“ едва ли привела бы к „успокоению“ деревни в духе идеалов прусских аграриев и буржуазии даже в том случае, если бы соответственно изменению земельных отношений быстро перестроились и политические „надстройки“ государства в направлении буржуазной государственности. Но такой перестройки не было даже в намеке, и вторичная экспроприация малоземельного крестьянства, достигнутая столыпинской реформой, происходя в обстановке политического гнета, обостряла классовую борьбу в деревне и направляла ее как против помещиков, так и против правительства. Предвоенные годы, как мы видели, были отмечены обострением классовой борьбы в деревне, крестьянство стало проявлять больше активности, буржуазные пути разрешения аграрного вопроса, после испробованной столыпинщины, приводили к тупику, который со всей остротой ставил старый вопрос о помещичьих землях, об аграрной революции. Если война и здесь прервала созревание процесса, то тоже ненадолго. Удары войны пробуждали и крестьянские массы к активности, делали жизнь нестерпимой и для них, разоблачили в их глазах мнимую „святость“ земельной собственности „божеское“ происхождение царской власти. Революционизированию крестьянской массы в сильнейшей степени содействовали

массовые мобилизации, призывавшие на фронт миллионы крестьян. Там, под грохот пушек и стоны погибающих, пробуждалось сознание, вместе с „пушечным мясом“ расстреливались вековые предрассудки и темная вера, из-за дымовых завес вырисовывалась далекая родная деревня, жаждущая земли и свободы. Там, в окопах, приходили в общение люди, раньше не выходившие за околицу своего села, там впервые происходила и „смычка“ рабочих и крестьян — одних, оторванных от станка, других, оторванных от сохи, одних, уже искушенных в социальной борьбе самого революционного из классов, какие только знала в прошлом история, и других, еще борьбы по-настоящему неиспробовавших, но представлявших собою, в союзе с рабочим классом, несокрушимую революционную силу. На фронте оформлялись тыловые настроения деревни, приобретали большую ясность и, главное, активность, обеспечивая не только активно-массовое участие в революции крестьянства, но и победу революции.

Многое изменилось и на другом общественном полюсе. До войны революционная борьба рабочих и крестьян против самодержавия встретила бы единый фронт всех буржуазных слоев вместе с царским правительством. При первых же намеках на возможность повторения 1905 г., с присоединением к нему нового фактора — крестьянства, — все эти силы неминуемо сплотились бы для борьбы против революции. Война расстроила этот единый фронт, — также, впрочем, не надолго, но на время, достаточное для победы революции. Мы видели, как в условиях даже „гражданского мира“ катастрофически быстро происходил процесс гниения самодержавия, отталкивая от последнего те общественные классы, которые с ним, так или иначе, связывали свою судьбу. Режим „божьего человека“ Распутина показал полное, до конца дошедшее разложение старого порядка, терявшего последние остатки своей социальной опоры.

Но и после убийства Распутина дело нисколько не изменилось к лучшему. Николай II со своим правительством продолжал старый правительственный курс, свидетельствуя этим, что Распутин, хотя и был вдохновителем царской политики последних лет, но не в такой, все же, мере, чтобы с ним прекратилась эта политика. Распутинщина сама расцвела на почве разложения самодержавия, содействовала его дальней-

шему гниению, и процесс этого гниения шел дальше без Распутина, как и при нем. Мы видели, что уже собственным умом, без советов „божьего человека“, Николай готовил государственный переворот и наметил Маклакова в качестве его выполнителя. Без „божьего человека“ произведена была расправа с назначенными членами государственного совета, усиливавшая реакционное крыло его в предвидении служилой роли совета при разгоне думы, и т. д.

Отпадение от самодержавия социальных сил, на которые оно опиралось, усилившееся с осени 1916 г., продолжалось дальше. Тупая политика правительства, считавшаяся только с династическими интересами, могла улыбаться лишь тем, кто жил казенными субсидиями и находился на иждивении секретного десятимиллионного фонда, за счет которого и министры и департамент полиции поддерживали погромные банды охранников и черносотенцев. При продолжении старого правительственного курса, при развале страны и фронта, уплывали и Константинополь с проливами, и военные заказы для промышленников, и новые рынки для помещичьего хлеба. От самодержавия отходит не только промышленник—буржуазия, но и помещик — дворянство. Верной реакции остается только немногочисленная верхушка правящего дворянства. Образуются группы „молодого“, как его называют охранники, дворянства, от которого начинают исходить протестующие заявления царю. Родзянко рассказывает, что, убедившись в безнадежности положения и ожидая даже своего ареста, он решил обратиться к „той общественной организации, которую упразднить и заставить молчать невозможно“ — к дворянству. Родзянко вызвал по телеграфу в Петроград нового председателя совета объединенного дворянства Самарина, московского и петроградского предводителей дворянства и нескольких видных деятелей дворянских организаций, и просил их, в случае его ареста, „стать на страже интересов страны“. Представители дворянства разделили точку зрения Родзянко и признали, что дворянство в случае разгона думы должно стать „во главе движения“, а Самарин в аудиенции изложил Николаю протестующую позицию дворянства. Глубокую трещину дал даже этот вековой оплот самодержавия.

Роковая изоляция — таков последний удел самодержавия. С ним остаются только Воейковы, Протопоповы, Рубинштейны,

Манусы, казенные черносотенцы, да охранные отделения. Не с ним — все прочее, что было в России. Создается видимость общего, „национального“ фронта против самодержавия. Говорим — видимость, потому что единства на этом фронте нет. Непримиримыми противниками самодержавия, как и монархии вообще оставались только рабочие и крестьяне, да радикально настроенная часть мелкой буржуазии. Думский, „прогрессивный блок“, объединявший буржуазию и помещиков, не был, конечно, врагом монархии, и готов был бы примириться с несколько почищенным самодержавием в том виде, в каком оно было после 17 октября 1905 года. Не было единства и в самом блоке, правое крыло которого, как и крупноземельное дворянство, было сторонником самодержавия даже не почищенного. Соотношение господствовавших классов в военное и дореволюционное время было построено на компромиссе, который диктовался для них необходимостью продолжить войну и общими силами противостоять революции — поэтому они находили общий язык и сходились на общей, умеренной платформе. Для трудящихся масс — рабочих и крестьян — борьба с самодержавием означала борьбу не только с войной, которая ложилась на них всей тяжестью, но и за политическое и социальное освобождение, которое угрожало самому господству помещиков и буржуазии. Господствовавшие классы в борьбе с самодержавием, в которую они вступали, не упускали из виду этой опасности, и старались спасти свое господство соглашением с монархией, как и удержать из старого порядка максимум того, что казалось им возможным.

Основной силой, двигавшей события, была революционная активность рабочего класса и крестьянской армии. Под напором этой силы создавался „национальный“ фронт против самодержавия и складывалась тактика буржуазии. От „министерства доверия“ — к „ответственному министерству“, от „ответственного министерства“ — к отречению Николая, от призвания Михаила — к упразднению монархии, — все эти этапы буржуазия прошла, так сказать, под конвоем поднимавшихся к восстанию народных масс. Не будь этого конвоя, буржуазия остановилась бы на первом этапе, и, уже наверное, не дошла бы до третьего.

* * *

Восстановим теперь в общих чертах события, как они развивались в эти исторические дни.

Как мы видели, к началу 1917 г. развал страны достигает максимальной степени. Заводы не работают или работают с перебоями из-за недостатка угля, металла, материалов. Транспорт замирает и в города доставляется все меньше хлеба. Запасы продовольствия истощаются, хвосты в очередях растут, кто может — запасается хлебом, кто не может — голодает.

Учащаются политические стачки рабочих, в особенности, в Петрограде, где, после 9 января, когда бастовало до 200 тыс. рабочих, прекращение работ по разным политическим поводам то на одном, то на другом заводе, снова становится обычным явлением.

Правительство на движение рабочих отвечает репрессиями. Департамент полиции составляет письмо к рабочим, в котором призывает их не бастовать, и проводит это письмо в рабочей группе военно-промышленного комитета через члена группы рабочего Абрасимова, состоявшего агентом охранки. Письмо публикуется в газетах, но желательного действия не производит. Сама рабочая группа призывает рабочих к демонстративной забастовке 14 февраля, в день открытия государственной думы. Тогда правительство идет на арест всей рабочей группы. „Я ехал к царю с докладом,— рассказывает об этом быв. министр внутренних дел Протопопов.— Отложил распоряжение об аресте до моего возвращения. Царю рассказал обстоятельства дела. Сказал, что можно опасаться забастовки, вследствие ареста секции (группы), высказал также и свое мнение, что арест все же произвести надо. Царь сказал: „Что же делать. Арестуйте“.

Но и арест рабочей группы, конечно, не помог: настроение рабочей массы давно уже опередило сдерживающую и примиренческую тактику группы, а запугать арестами рабочих можно было меньше всего.

Впрочем, ни призыв рабочей группы к демонстрации поддержки думы 14 февраля, ни призыв петроградской организации к забастовке и демонстрации в день осуждения депутатов-большевиков не вывели рабочих на улицу, хотя 14 февраля, по официальным данным, и бастовало до 85 тыс. Радикальный перелом в настроении рабочей массы начался 18 февраля.

В этот день рабочие лафетной мастерской Путиловского завода предъявили требования об увеличении заработка на 50%. Заводоуправление ответило отказом и рабочие забастовали. 20 февраля к директору завода явились делегаты всех мастерских с целью ликвидировать конфликт; администрация обещала прибавить 20%, но рабочим лафетной мастерской было объявлено, что так как они не приступают к работе, то считаются уволенными; на таком заявлении заводоуправление настаивало и после того, как рабочие лафетной мастерской заявили, что готовы стать на работу. 21 февраля лафетная мастерская была закрыта, а пришедшие рабочие к работе не допущены. Тогда в знак протеста забастовали некоторые другие мастерские. В ответ на это 22 февраля Путиловский завод был закрыт на неопределенное время — свыше 30 тыс. рабочих были выброшены на улицу, в жертву голоду.

Эта жестокая расправа с рабочими крупнейшего завода, шедшего впереди петроградского пролетариата, произвела сильнейшее впечатление в рабочей среде. Путиловцы образовали стачечный комитет и обратились ко всем рабочим с призывом к поддержке. Поднимавшаяся волна протеста совпадала с „женским днем“ (днем работницы) — 23 февраля по ст. ст., когда на митингах ораторы-большевики звали рабочих на демонстрацию под лозунгами борьбы с войной и дороговизной. В эти же дни в рабочих кварталах исчезал хлеб, запасы его вообще истощались, а, в связи с введением карточной системы, население лихорадочно закупало хлеб, тысячи народу тщетно стояли в очередях. Каждый призыв, каждое слово, звавшее на борьбу, каждый возглас протеста против войны, правительства, дороговизны падал в разгоряченную атмосферу. У порога дома — голод, на фабрике — локаут и безработица (в эти же дни был закрыт также Ижорский завод), на улицах — полицейские пулеметы и казаки, на фронте — отцы, сыновья, братья, гибнущие в войне, у власти — распутинские аферисты и охранники... Рабочая масса, бросив фабрики, двинулась на улицу... 23 февраля стало первым днем революции.

В этот день на 50 предприятиях забастовало $87^1/_2$ тыс. рабочих. „Рабочие Выборгского района, — пишет об этом дне охранное отделение, — около часу дня, выходя на улицу

с криками „дайте хлеба“, стали одновременно производить в разных местах беспорядки, снимая по пути своего следования работавших товарищей и останавливали движение трамваев, причем демонстранты отнимали у вагоновожатых ключи от электрических двигателей и били стекла в некоторых вагонах, что заставило прислугу 15 трамвайных поездов съехать с ними в петроградский трамвайный парк“. Движение сразу приняло широкий размах, оторвавшись от требований одного только „хлеба“. Минуя булочные и пекарни (случаи разгрома их были единичны), рабочие пытались прорваться на Невский, традиционное место революционных выступлений. В четыре часа дня, несмотря на полицейские заставы, рабочим Выборгского района удалось перейти на левый берег Невы, рассеяться для приостановки заводов в Рождественском районе, а затем произвести демонстрации на Литейном и Суворовском проспектах, где полиции удалось их разогнать. Одновременно толпы рабочих прорвались к Невскому, где пытались прервать трамвайное движение, восстановить которое удалось только к вечеру. В столкновениях с полицией рабочие действовали пока „твердыми предметами“, поранив нескольких полицейских.

24 февраля движение разлилось еще больше. В этот день бастовало 131 предприятие с $158^{1}/_{2}$ тыс. рабочих. Вся рабочая масса была на улицах. Появились красные знамена с лозунгами: „Долой войну, дайте хлеба!“ „Долой самодержавие!“ На Обуховском заводе 14 тыс. рабочих двинулись по улице со знаменем, на котором значилось: „Долой самодержавие! Да здравствует демократическая республика!“ На заводе „Айваз“ с утра состоялся митинг 3.500 рабочих с призывами к борьбе на улице. В Гавани пятитысячная толпа остановила работу на военно-подковном заводе, из Новой Деревни 2 тыс. рабочих двинулись по Ланскому шоссе, где были рассеяны полицией, рабочие Выборгского района в числе до 40 тыс. с утра пытались прорваться в город, но неудачно, так как мост был занят войсками. Во всех частях города происходили демонстрации, стычки с полицией. Прорвав все же войсковое заграждение, рабочие Выборгской стороны заняли Литейный мост во всю его ширину и двинулись по Литейному проспекту, часть прорвалась дальше; задержанные на мосту кричали по адресу полиции: „кровопийцы, хлеба!“

К полудню у Казанского собора собралось до трех тыс. человек, выброшено было красное знамя, раздавались революционнные песни, неслись крики: „Долой царя!“ „Долой правительство!“ На Петроградской стороне рабочие толпой до трех тыс. человек двинулись по Большому проспекту к Каменноостровскому, откуда направились к Троицкому мосту. Двигавшаяся по Невскому толпа прорвалась к Знаменской площади, где была встречена конно-полицейской стражей, лошади которой, однако, испугались криков толпы и понесли стражников обратно на Невский. В этот день у рабочих, кроме „твердых предметов“ появляются револьверы, и в разных местах выстрелы направляются в полицию. Впервые начинается „братание“ с войсками. На Знаменской площади в присутствии казаков происходит митинг, раздаются возгласы: „Да здравствует революция! Долой войну! Долой полицию!“—„ а также,— добавляет охранное отделение,— крики „ура“ по адресу бездействовавших казаков, которые отвечали толпе поклонами“.

25 февраля — это была суббота — стачка стала всеобщей; по сведениям полицейских участков, бастовало до 250 тыс. рабочих. Донесение охранного отделения за этот день начинается мрачными итогами: „Этот день следует отметить, как чрезвычайно тяжелый в действиях столичной полиции по прекращению уличных беспорядков, по жертвам, принесенным ею при исполнении служебного долга (убит пристав, тяжело ранен полицмейстер, ранено несколько других чинов), а также по тем отдельным случаям проявления войсковыми частями, участвовавшими в нарядах, пассивности и даже нетерпимости в отношении к деятельности чинов полиции по восстановлению нарушенного порядка и спокойствия в столице“. Действительно, было от чего прийти охранникам в мрачное настроение. На набережной Екатерининского канала в казаков и городовых было произведено несколько выстрелов, которыми ранены были два городовых. С утра рабочие Обуховского завода двинулись к городу, снимая по пути с работы, с красным знаменем и пением революционных песен. На Казанской улице толпа пыталась освободить арестованных, ей помогали в этом казаки, которые, въехав во двор, освободили арестованных, а полиции кричали: „вы служите за деньги“. В районе Путиловского моста рабочие

загнали в тупик казачий разъезд, который пришлось освободить резервной сотне. В районе Трубочного завода при столкновении офицер застрелил рабочего Дмитриева; казак, которому дан был труп для доставки в госпиталь, отдал его рабочим. Утром огромной толпе рабочих Выборгского района, двигавшейся к городу, выступил навстречу с отрядом полицмейстер Шалфеев: толпа набросилась на него, стащила с лошади, избила ломиком и палками и его в тяжелом состоянии отправили в больницу; из толпы раздавались выстрелы и в полицию; казаки отступили, оставив около раненого полицмейстера несколько конных стражников. На Знаменской площади в многотысячную толпу, стоявшую вокруг ораторов, врезался пристав Крылов с отрядом казаков. Крылов вырвал красное знамя и повернул обратно, но уже без казаков, которые за ним не последовали. Толпа стащила его с лошади и его подняли мертвым. В толпе говорили, что с ним покончили казаки.

26 февраля — воскресенье — улицы заполнились народом, повсюду происходили митинги. Этим днем правительство решило воспользоваться, чтобы сделать попытку подавить восстание. На Знаменской площади и на Невском (угол Садовой) началась ружейная пальба вдоль улиц и по площади, с крыш домов стреляли из пулеметов. На улицах и тротуарах лежали убитые и раненые, толпы разбегались, тогда стреляли по одиночкам... В этот же день одна часть Павловского полка, посланная для усмирения, дойдя до Невского, отказалась итти дальше. Когда против взбунтовавшихся солдат выслали другую часть, павловцы залегли и открыли пальбу вверх. Их окружили и отвели в казармы... Революция захватывала войска, приближалась развязка...

* * *

Остановимся на этом дне и посмотрим, что происходило в другом лагере.

Правительство в начавшейся 23 февраля революции сперва увидело всего лишь продовольственные беспорядки.

24 февраля главноначальствующий Хабалов в объявлении успокаивал население тем, что „ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве“ и „недостатка в продаже не должно быть“. Усердный градоправитель созвал пекарей и

вел с ними „энергичную“ беседу, настаивая на увеличении выпечки хлеба. Но не о „едином хлебе“ заботилось, конечно, попечительное начальство. 24 февраля у Хабалова состоялось совещание, на котором присутствовали подобающие полицейские власти — начальник охранного отделения, директор департамента полиции и др. Совещание сделало некоторые распоряжения по продовольственной части, а затем перешло к вопросу о „прекращении беспорядков“. Начальник охранного отделения доложил, что лица, „инспирующие“ беспорядки, ему известны и просил о разрешении произвести аресты. Разрешение ему было дано, и в ночь на 26 февраля было арестовано до 100 человек, в том числе остатки рабочей группы военно-промышленного комитета и члены петроградской организации большевиков. Обсуждался также вопрос о том, что казаки действуют вяло — „подойдут к толпе и остановятся, вместо того, чтобы гнать“; решено было поэтому усилить состав кавалерийских частей. 25 февраля Хабалов объявил, что если работы на фабриках не будут возобновлены до 28 февраля, то новобранцы допризывных 1917, 1918 и 1919 г.г. будут призваны в войска.

О событиях Хабалов доложил в ставку Николаю II. 25 февраля он телеграфировал, что в предыдущие два дня „вследствие недостатка хлеба, на многих заводах возникали забастовки“, что толпы производят насильственные действия, а 25 убит пристав Крылов. Протопопов также донес по телеграфу в ставку о ходе событий, при чем сообщил, что движение носит „неорганизованный, стихийный характер, наряду с эксцессами противоправительственного свойства буйствующие массы приветствуют войска“— очевидно „братание“ с войсками, сочувствие которых было на стороне восставших, догадливый министр принял за манифестации в честь „верных войск“.

В ответ на эти толеграммы Хабалов получил 25 февраля от Николая II приказ: „Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией“. Хабалов уверял, что эта телеграмма его „хватила обухом“. „Что я буду делать—будто размышлял он.—Как мне прекратить? Когда говорили: „хлеба дать“,—дали хлеб и кончено. Но когда на флагах надписи, „долой самодержавие“, какой же тут хлеб успокоит?“ С юмором об этом Хабалов, впрочем, говорил позже, когда был

арестован. Тогда же, очевидно, он полагал, что успокоить „буйствующих“ можно и пулями. Во исполнение приказа Николая II и были произведены массовые расстрелы 26 февраля. Протопопов телеграфировал об этом в ставку, сообщая, будто войска „вынуждены были для прекращения буйства прибегнуть к стрельбе боевыми патронами по толпе, в результате чего оказались убитые и раненые“.

Возмущение павловцев произвело на правительство сильное впечатление. Хабалов решил уклониться от ответственного поручения Николая II и телеграфировал ему: „Не могу выполнить повеление вашего величества“. Военный министр Беляев потребовал, чтобы арестованные павловцы были немедленно преданы полевому суду и расстреляны. Когда оказалось, что расстрелять нужно 800 человек, решили от этого отказаться и начали следствие.

Совет министров проявил не больше дальнозоркости, чем Хабалов. „Сначала я думал, что это просто уличные беспорядки, которые могут сами собой прекратиться“,— сознавался председатель совета министров Голицын. Потом, когда выяснилось, что беспорядки „сами собой“ не прекращаются, совет министров, заслушав доклад Хабалова о принятых мерах, одобрил их, а Протопопов пустил в ход заготовленные на крышах пулеметы.

Но больше всего совет министров интересовался в эти дни государственной думой. В заседании совета 25 февраля обсуждался вопрос о том, распустить ли думу совсем с назначением новых выборов или сделать перерыв ее занятий. Часть министров, в особенности Протопопов, настаивали на роспуске, большинство колебалось и остановилось на перерыве занятий после того, как через некоторых министров получили совет от депутатов Маклакова (кадета) и Балашова (националиста) сделать перерыв, дабы „страсти улеглись“. О том, чтобы пойти с думой на соглашение — ни один из министров не думал. Голицын признал, что согласился на перерыв занятий думы лишь тогда, когда ознакомился с мнением Маклакова и Балашова, „боясь роспуска“.

25 февраля Голицын на имевшемся у него бланке, подписанном Николаем II, проставил число и, таким образом, получился указ, которым занятия думы прекращались с 26 февраля, с возобновлением их не позднее апреля, „в зависимости

от чрезвычайных обстоятельств". Одновременно постановлено было ввести в Петрограде осадное положение.

* * *

И государственная дума усмотрела в начавшейся революции... продовольственные беспорядки!

Дума возобновила свои занятия 14 февраля и до конца дней своих вела бескочечные прения по продовольственному вопросу. 23 февраля — когда рабочие выступили на улицу — в думу с.-д. фракцией внесен был запрос о локауте на Путиловском заводе. Думой принята была по этому поводу такого рода формула перехода к очередным делам: „Признавая необходимым: 1) чтобы правительство немедленно приняло меры для обеспечения продовольствием населения столицы так же, как и других городов; 2) чтобы, в частности, были немедленно удовлетворены продовольствием рабочие заводов, работающих на оборону; 3) чтобы для распределения продовольствия были теперь же широко привлечены городские самоуправления и общественные элементы и организованы продовольственные комитеты,— государственная дума переходит к очередным делам". Как видно из этой формулы, дума, под влиянием начавшихся волнений, расширила запрос, но до каких пределов! Всего — до организации продовольственного дела. До слуха думы еще не доходил гул приближающейся революции, хотя он доносился из мест совсем недалеких, на расстоянии нескольких кварталов. Перед думой все еще были продовольственные „осложнения", столь частые в то время!

На такой же точке зрения дума остается и в ближайшие дни. Чтобы побудить правительство принять меры продовольственного характера, Родзянко — разумеется, с ведома думского большинства — входит в соглашение с Голицыным о созыве экстренного совещания министров при участии президиума государственной думы. Об этом Родзянко докладывал думе 24 февраля, заявив, между прочим, в обоснование сделанного им шага: „Волнения, возникшие в г. Петрограде и других центрах и городах на почве расстройства правильного снабжения населения пищевыми продуктами, достигли, как вы знаете, в настоящее время таких размеров, которые несомненно угрожают превратиться в явления крайне нежелательные и недопустимые в тяжелое военное время, нами переживаемое.

Вне всякого сомнения, причина этого явления кроется, главным образом, как здесь уже неоднократно говорилось, в отсутствии достаточно целесообразной организации, ведающей делами продовольствия, независимо от других обстоятельств, которые государственная дума все эти дни обсуждает во всех подробностях, и несомнено вынесет руководящее начало для упорядочения дела. Но обострившееся положение требует быстрых и неотложных мер для успокоения населения. В этих видах, по моему настоянию, о чем я уполномочен заявить государственной думе, г. председатель министров сегодня собирает экстренное совещание под его председательством" и т. д.

Вот с каким словом председатель думы во второй день революции обращался через стены думы к восставшим рабочим! Дело не в том, что „население" собирались „успокоить"—требовать от Родзянко, чтобы он дал материал для баррикад, было бы, конечно, наивно, а в том, что и „успокоить"-то собирались хлебом, как будто не понимали, что речь идет не о хлебе только, что „население" восстало против старого порядка, на борьбу с которым собиралась и буржуазия. Но мы видели, что свои расчеты буржуазия строила на путях, обходящих революцию, а свою победу видела в неудачах революции. „Успокоение хлебом"— тот же обходный путь, и думское большинство остановилось на нем, уклоняясь от самостоятельного напора на самодержавие.

Совещание, о котором говорил Родзянко, состоялось 24 февраля, и в результате его правительство согласилось передать продовольственное дело в руки органов местного самоуправления. Но и в таком виде „успокаивать" собирались медленно поспешая, по всем статьям основных законов. 25 февраля (на третий день революции!) заслушав сообщение в совещании, дума постановила: 1) признать желательным издание закона о передаче дела продовольствия общественным самоуправлениям и 2) обратиться к правительству с вопросом, намерено ли оно немедленно принять на себя внесение соответствующего законопроекта. В тот же день вечером совет министров разогнал думу, а за несколько часов до этого, в обстановке все возраставшего восстания, дума не решается отступить от закона и отказаться от сношений с обреченным на смерть правительством даже в вопросе об „успокоении населения"!..

„Напор“ на правительство делался за кулисами. Родзянко спрашивал Хабалова по телефону, зачем он проливает кровь, а военному министру Беляеву советовал рассеять толпы с помощью пожарных; Хабалов разъяснил военному министру, что по закону пожарных нельзя привлекать к подавлению беспорядков, да и обливание водой в таких случаях „возбуждает“... 25 февраля Родзянко предлагал Голицыну, чтобы министерство подало в отставку — Голицын, конечно, отказался, показав председателю думы готовые бланки о роспуске думы.

26 февраля Родзянко послал Николаю II телеграмму: „Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улице происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца“.

* * *

В Царском Селе, где пребывала императрица, и в ставке, где находился Николай II, петроградские события не поселили беспокойства. Если государственная дума отнеслась к начавшейся революции, как к продовольственному бунту, то царю и царице простительно, когда в февральских днях они сперва усмотрели всего лишь „мальчишескую“ затею.

Александра Федоровна писала Николаю II 24 февраля: „Вчера были беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочные. Они вдребезги разнесли булочную (Филиппова), и против них вызвали казаков. Все это я узнала неофициально“. „Беспорядки хуже в 10 час., в час меньше — теперь это в руках Хабалова“,— добавляет она в том же письме. 25 февраля императрица возвращается к той же злобе дня: „Стачки и беспорядки в городе более, чем вызывающи... Это хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба,— просто для того, чтобы создать возбуждение,— и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была

очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только дума будет хорошо вести себя. Худших речей не печатают, но я думаю, что за антидинастические речи необходимо немедленно и очень строго наказывать, тем более, что теперь военное время... Не могу понять,—продолжает она,— почему не вводят карточной системы и не милитаризируют все фабрики,— тогда не будет беспорядков. Забастовщикам прямо надо сказать, чтоб они не устраивали стачек, иначе их будут посылать на фронт или строго наказывать. Не надо стрельбы, нужно только поддержать порядок, не пускать их переходить мосты, как они это делают. Этот продовольственный вопрос может свести с ума". И дальше следовали советы: „Пожалуйста, сходи на минуту к иконе пречистой девы и спокойно помолись за себя, чтоб прибавилось сил, за наше большое и малое семейство".— „Прежде всего, твори свою волю, мой дорогой".

26 февраля Александра Федоровна посылает Николаю свою информацию о событиях: „Вся беда от этой зевающей публики, хорошо одетых людей, раненых солдат и т. д., курсисток и пр., которые подстрекают других. Лили заговаривает с извозчиками, чтобы узнать новости. Они говорят ей, что к ним пришли студенты и объявили, что если они выедут утром, то их застрелят. Какие испорченные типы! Конечно, извозчики и вагоновожатые бастуют. Но они говорят, что это не похоже на 1905 г., потому что все обожают тебя и только хотят хлеба". Кроме извозчиков, царица находит еще утешение в памяти о Распутине. „В понедельник я читала гнусную прокламацию,— пишет она в том же письме, — но мне кажется, все будет хорошо. Солнце светит так ярко, и я ощущаю такое спокойствие и мир на Его дорогой могиле! Он умер, чтобы спасти нас".

Не проявляет беспокойства и царь. „Мой мозг отдыхает здесь, — пишет он из ставки 24 февраля, — ни министров, ни хлопотливых вопросов, требующих обдумывания". Телеграмма его от 25 февраля сообщает последний метеорологический бюллетень: „Холодная, ветреная, серенькая погода". В письме от 26 февраля Николай пишет: „Я надеюсь, что Хабалов сумеет быстро остановить эти уличные беспорядки. Протопопов должен дать ему ясные и определенные инструкции. Только бы старый Голицын не потерял голову!" И добавляет, что

был у образа пречистой девы и прикасался носом к броши Вырубовой, приколотой к иконе.

В этом молитвенном настроении царь отдал приказ Хабалову: „Завтра же подавить беспорядки“.

А в ответ на телеграмму председателя думы Родзянко царь сказал министру двора Фредериксу: „Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать“.

* * *

Тем временем на Петроград накатился девятый вал.

Четыре дня массовой уличной борьбы, демонстрации, митинги, речи, „братание“ рабочих и прежде всего вся сила возмущения, посеянная войной — подняли последнюю опору старой власти, армию. „Пассивность“ казаков, „поклоны“ революционным рабочим, попытки павловцев присоединиться к восстанию сменяются восстанием петроградского гарнизона.

27 февраля учебная команда Волынского полка, подготовленная еще с вечера унтер-офицером Кирпичниковым, отказалась пойти на усмирение рабочих. Начальник команды был убит и восставшие волынцы, вооруженные, двинулись к соседним казармам Преображенского и Литовского полков. После некоторого колебания эти полки присоединились — командир полка был убит. Построившись, восставшие части направились к Московскому полку, по пути взяв арсенал, где был убит генерал. У Московского полка были выставлены пулеметы, пущенные в ход против наступавших; легкой атакой пулеметы были взяты, и Московский полк присоединился к революции. План „декабриста“ Гучкова осуществлялся с некоторой поправкой: солдаты, не в пример 1825 г., своим восстанием принесли победу революции. Не было военного переворота — были революционные солдатские массы.

К восставшим солдатам присоединялись повсюду рабочие. Арсенал и казармы дали оружие. Появились автомобили и грузовики с вооруженными рабочими и солдатами. Запылали полицейские участки. Улицы заполнялись ликующим народом.

Восставшими были заняты арсенал, главное артиллерийское управление, Петропавловская крепость, выпущены заключенные из тюрем, арестованы председатель совета министров

Голицын, Протопопов, бывшие министры Штюрмер, Щегловитов и др.

27 февраля образовался совет рабочих депутатов...

* *

Хабалов, узнав о восстании Волынского и Преображенского полков, выслал против них отряд в составе 6 рот, 15 пулеметов и полутора эскадрона под начальством полковника Кутепова. Отряд этот, однако, не мог пробиться, где-то застрял, а Хабалов лишился последних верных частей. Переговоры с командирами разных полков неизменно заканчивались ответом, что надежных войск нет. Не было ни пулеметов, ни патронов. Стали обсуждать план прорыва к патронному заводу, но и это оказалось невозможным, так как предварительно нужно было взять Выборгскую сторону, а для этого не было сил.

Властям приходилось думать уже не о наступлении, а об обороне, о том, чтобы продержаться, пока с фронта, как надеялись, придет поддержка. Сперва предполагали укрепиться в Зимнем дворце, но оказалось, что стоявшие там части ушли. Тогда в качестве „беста" выбрано было адмиралтейство, которое представляло то стратегическое удобство, что позволяло отстреливаться по нескольким направлениям и вдоль двух уличных артерий — Невского и Гороховой. Для обороны заняты были фасады, выходившие на Невский. Артиллерия была поставлена во дворе, пехота размещена во втором этаже. Оказалось, однако, что не было ни патронов, ни снарядов, ни продовольствия. С трудом достали небольшое количество хлеба, лошади остались без сена и воды. В довершение ночью морской министр предложил очистить адмиралтейство, так как восставшие предупредили его, что, если это не будет сделано, то с Петропавловской крепости будет открыт артиллерийский огонь.

Пришлось ликвидировать оборону — о наступлении давно перестали думать. Артиллерия оставила свои замки и орудия, пулеметные роты — пулеметы, все вышли безоружными, в надежде, что по невооруженным стрелять не будут. Генералы пошли по домам, солдаты, нужно думать, — к восставшим.

Об этом Беляев послал в ставку такую телеграмму: „Около 12 час. дня 28 февраля остатки оставшихся еще верными

частей в числе 4 рот, 1 сотни, 2 батарей и пулеметной роты по требованию морского министра были выведены из адмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Перевод этих войск в другое место не признал соответственным в виду неполной их надежности. Части разведены по казармам, при чем во избежание отнятия оружия, замки орудий сданы морскому министру".

В столице царской власти больше не было.

* * *

Совет министров в эти дни потерял, наконец, равновесие. Когда в Мариинском дворце, где заседал совет, потухло както электричество, министрами овладела паника: они ожидали нападения и расправы. Один из них рассказывал, что, когда появился снова свет, он, к своему удивлению, нашел себя под столом... Тем не менее в ответ на убеждения Родзянко подать в отставку, чтобы тем облегчить царю выход, Голицын ответил отказом, ссылаясь на то, что в минуту опасности он считал бы отставку позорным бегством. Однако Хабалов был также бравым генералом, но очистил, когда пришлось, адмиралтейство без боя. Пришлось отступить и совету министров. 27 февраля совет министров стал обсуждать создавшееся положение и искать выхода. С думой вступить в соглашение уже было поздно — она была разогнана советом же министров накануне. Положение власти в столице, при данной обстановке, было безнадежно. Один выход нашли скоро. Все понимали, что Протопопова надо убрать, этого дума требовала уже с полгода,— но сказать об этом громко министры не решались. Выручил военный министр Беляев, который предложил Протопопову подать в отставку. Протопопову ничего не оставалось, как согласиться, и от совета министров немедленно было выпущено объявление (газеты не выходили), что, вследствие „болезни" Протопопова, в исполнение его должности вступает один из его товарищей.

Вопрос этим, однако, еще не разрешался. Нужен был выход более радикальный. И на него, поневоле, пришлось решиться: совет министров постановил подать в отставку и просить царя уступить думе в ее требовании „ответственного министерства". В телеграмме, посланной в ставку, Голицын указывал, что существующий состав министерства не может

оставаться у власти, а оставление Протопопова министром вызовет общее недовольство, что единственное средство спасти положение и даже династию,— это уступка общественному мнению и поручение составить кабинет, ответственный перед думой, Львову или Родзянко. Просил совет министров и о другом: „одобрить“ объявление в столице осадного положения и поставить во главе „оставшихся верными войск одного из начальников действующих армий с популярным для населения именем“.

Вслед за военною властью прекратил свое существование и совет министров, правительство.

* * *

Госуд. дума указу о роспуске подчинилась. „Вопрос стоял так,— рассказывает Шульгин о заседании совета старейших думы.— Не подчиняться указу государя императора, т.-е. продолжать заседания думы — значит стать на революционный путь. Оказав неповиновение монарху, госуд. дума тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать во главе восстания со всеми его последствиями. На это ни Родзянко, ни подавляющее большинство из нас, вплоть до кадетов, были совершенно неспособны. Мы были, прежде всего, лойяльным элементом“.

При такой крепкой лойяльности по отношению к власти, которая швыряла думой, как пешкой, и третировала ее, как сельский сход, порешили указу подчиниться, признать думу распущенной и как бы не существующей, но членам думы не разъезжаться.

Такое решение было вызвано, помимо „лойяльности“, очевидно, надеждой, что еще не все потеряно, и что соглашение еще возможно. Ведь стать „во главе восстания со всеми его последствиями“ думское большинство не желало — оставаться на месте нужно было для других надобностей, более желательных.

25 февраля Родзянко (конечно, с ведома думского большинства), послал вел. князю Михаилу Александровичу телеграмму, в которой сообщал о событиях и приглашал его немедленно приехать в Петроград. 27 февраля великий князь приехал, и к нему отправился президиум думы во главе с Родзянко. Думцы убеждали Михаила Александровича объявить

себя диктатором над Петроградом, понудить совет министров подать в отставку и потребовать по прямому проводу от Николая издать манифест о „даровании ответственного министерства“. В пояснение этого плана могут служить нарекания Родзянко в его воспоминаниях на Михаила Александровича за то, что тот медлил, и „вместо того, чтобы принять активные меры и сплотить вокруг себя еще непоколебленные в смысле дисциплины части петроградского гарнизона“, вступил в телеграфные переговоры с Николаем. Таким образом, план думского большинства (переговоры вел не самолично Родзянко, а президиум думы) сводился не только к „дарованию“ ответственного министерства, но и к диктатуре. Как будто по формуле: сначала успокоение — потом реформы. Активные меры, которые должен был предпринять Михаил Александрович, и „непоколебленные“ части должны были быть, очевидно, направлены как против „поколебавшихся“ частей, так и против революции вообще.

27 февраля Михаил Александрович вызвал по прямому проводу начальника штаба ставки Алексеева, которого просил доложить царю, что он считает единственным выходом из создавшегося положения немедленный роспуск совета министров и согласие на образование ответственного перед думой министерства, поручив составить последнее Львову или Родзянко. Очевидно, под давлением Михаила Александровича послал свою телеграмму об отставке и совет министров.

В подкрепление этой телеграммы Родзянко в тот же день телеграфировал Николаю: „Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии“.

Мы знаем теперь, каких мер требовало думское большинство: соглашения с Николаем II, спасения династии, ответственного министерства, т.-е. власти думы, диктатуры в лице Михаила Александровича, который собрал бы „верные“ части. Куда же девались все планы о дворцовом перевороте, который, кстати, предполагался на февраль? Отделаться от Николая II было теперь легче легкого. Почему же гнев против него сменился милостью, стремлением спасти не только династию, но и Николаю престол?

* * *

А в ставке Николай II оставался тем, чем был — тупым самодержцем, неспособным понять ни окружающей обстановки, ни даже своей выгоды.

27 февраля он пишет Александре Федоровне успокаивающее письмо: „После вчерашних известий из города я видел здесь много испуганных лиц. К счастью, Алексеев спокоен, но полагает, что необходимо назначить очень энергичного человека, чтобы заставить министров работать для разрешения вопросов продовольственного, железнодорожного, угольного и т. д. Это, конечно, совершенно справедливо. Беспорядки в войсках происходят от роты выздоравливающих, как я слышал“. И в тот же день он шлет телеграмму: „Бог даст, беспорядки в войсках скоро будут прекращены“.

Николай все еще ничего не понимал и представлял себе дело так, что бунтуют какие-то роты выздоравливающих, что дело он имеет не с революцией, а с „беспорядками в войсках“. В соответствии с этим он оставался непреклонен и, по совету царицы, творил „свою волю“.

Прошения совета министров об отставке Николай не принял. 27 февраля он телеграфировал Голицыну: „О главном начальнике для Петрограда мною дано повеление начальнику моего штаба с указанием немедленно прибыть в столицу. То же и относительно войск. Лично вам предоставляю все необходимые права по гражданскому управлению. Относительно перемены в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми“. Таким образом, совет министров должен был остаться, остаться должен был и Протопопов. Голицыну предоставлялись права диктатора. Другим диктатором назначался генерал. Когда начальнику штаба главковерха Алексееву стало известно содержание этой телеграммы, он пытался удержать Николая от такого решения. Но царь заявил, что это его окончательное решение и потому бесполезно ему докладывать что-либо по этому вопросу.

В таком же духе дан был ответ Михаилу Александровичу, которому было сообщено, что царь благодарит за советы, но сам знает, как ему надо поступать. Родзянко ответа совсем не удостоился.

Зато Николай деятельно готовился к подавлению „беспорядков“. Диктатором был назначен ген. Иванов, которому было приказано с отрядом отборных войск двинуться в Петроград.

Сам Николай тоже поспешно собрался в Царское Село, так как ко всему опасался за судьбу своей семьи.

Генерал Иванов, наделенный чрезвычайными полномочиями с подчинением ему всех министров, во главе отряда георгиевского батальона выехал из ставки 28 февраля. Однако поездка его далеко не была триумфальной. На ст. Дно он прибыл 1 марта с опозданием, сделав 200 верст вместо 500, затем кое-как добрался до ст. Вырица, где узнал, что в Петрограде правительства уже не существует и что отряды революционных войск двинулись к Царскому Селу. Иванов изменил свой маршрут и решил направиться в Царское Село. Здесь он получил телеграмму от Алексеева, очевидно, введенного в заблуждение ложными слухами. Алексеев сообщал, что временное правительство обратилось к населению с воззванием, в котором говорит о „незыблемости монархического начала“ в России, что в столице „ждут с нетерпением приезда его величества“, чтобы обратиться к нему с просьбой принять „новые основания для выбора и назначения правительства“. „Если эти сведения верны,— добавлял Алексеев,— то изменяются способы ваших действий, переговоры поведут к умиротворению“. Эта телеграмма сбила Иванова с толку; к тому же ему сообщили, что революционные войска приближаются к Царскому Селу. Иванов повернул обратно и направился к ст. Вырица. Перед отъездом Иванов получил телеграмму от Николая: „Надеюсь, благополучно доехали, прошу до моего приезда никаких решений не принимать“. Но ждать Николая в Царском Селе Иванов уже не мог — надо было поспешно отступать.

Николай утром 28 февраля, выехав из ставки, послал Александре Федоровне телеграмму: „Выехал сегодня утром в пять. Мыслями всегда вместе. Погода великолепная. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много войска послано с фронта“. Но и путешествие царя не сопровождалось таким парадом, как это было раньше. На ст. Лихославль узнали, что в Петрограде уже нет правительства и что будто образовано новое во главе с Родзянко. В Малой Вишере получили известие, что дальше ехать нельзя, так как в Бологом восстали военные части, которые задержат императорский поезд. Тогда решили повернуть на Псков, в ставку главнокомандующего северного фронта Рузского. К чему? В царском

поезде царила полная растерянность. С одной стороны, надеялись, что в Пскове можно будет взять войска и двинуться на Петроград, с другой — видели безнадежность положения и необходимость пойти на уступки. „Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен, она будет введена наверное“,— писал в этот день в своем дневнике придворный „историограф“ Дубенский.— Царь и не думает спорить и протестовать. Все его приближенные за это“.

В Пскове ждало новое разочарование. Рузский был в курсе дел, сносился по телеграфу с Родзянко, знал о столичных настроениях. Повидимому, была мысль о том, чтобы Родзянко выехал для переговоров с Николаем, который даже сам вызывал Родзянко, но от этого пришлось отказаться. Мнение Рузского, доложенное царю, было таково, что надо итти на все уступки. По словам Дубенского, Рузский говорил: „Надо сдаваться на милость победителя“.

Пала последняя надежда на усмирение „мальчишек“ и „курсисток“, взбунтовавшихся в столице. 28 февраля Николай отправил Родзянко телеграмму: „Ради спасения родины и счастья народа предписываю вам составить новое министерство во главе с вами, но министры иностранных дел, военный и морской будут назначены мною“. Родзянко в своих воспоминаниях, сообщая об этой телеграмме, умалчивает о последних ее словах. Но эти слова показывают, что даже в такую минуту Николай не шел на отказ от своих самодержавных прав. Ответственное министерство он понимал так, что часть министров — и не из последних,— будут все же ответствены перед ним, а не перед думой.

* * *

Александра Федоровна была эти дни отрезана от Николая и не могла с ним регулярно сноситься. Имеются ее письма от 2 марта, но неизвестно, дошли ли они во-время до Николая, — однако царь в эти дни действовал и без того в полном единомыслии с царицей.

„Все отвратительно, и события развиваются с колоссальной быстротой,— пишет Александра Федоровна 2 марта.— Но я твердо верю — и ничто не поколебает этой веры — все будет хорошо“. А пока скверно: „Не зная, где ты, я действовала, наконец, через ставку, ибо Родзянко притворился, что

не знает, почему тебя задержали. Ясно, что они хотят не допустить тебя увидеться со мной, прежде чем ты не подпишешь какую-нибудь бумагу, конституцию, или еще какой-нибудь ужас в этом роде. А ты один, не имея за собой армии, пойманный, как мышь в западню, что ты можешь сделать?“ Но мерцает еще надежда. „Может быть ты покажешься войскам в Пскове и в других местах и соберешь их вокруг себя?“ — спрашивает Александра Федоровна, и подает совет, в котором Николай не нуждался: „Если тебя принудят к уступкам, то ты ни в коем случае не обязан исполнять, потому что они были добыты недостойным способом“. Впрочем, это на худой конец, ибо выручить может и другое: „Два течения — дума и революция — две змеи, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу головы — это спасло бы положение,— ибо тогда данные уступки сами собой отпали бы“. Возможен и еще один путь спасения: „Когда узнают, что тебя не выпустили, войска придут в неистовство и восстанут против всех. Они думают, что дума хочет быть с тобой и за тебя. Что ж, пускай они водворят порядок и покажут, что они на что-нибудь годятся, но они зажгли слишком большой пожар, и как его теперь затушить?“

От одной мысли Александра Федоровна бросается к другой. И коварный план согласиться на уступки, чтобы отобрать их обратно, и надежда на войска, „обожающие“ монарха, и пожелание, чтобы дума и революция снесли друг другу головы, и вера, что стоит появиться царю перед войсками, как все будет спасено, и готовность предоставить думе подавить революцию, и сомнение, что пожара пожалуй не потушить... И, наконец, последнее средство: „Носи Его (Распутина) крест, если даже и неудобно“.

В другом письме от того же 2 марта Александра Федоровна возвращается к основной своей мысли: „Ничто не может разлучить нас, хотя они желают именно этого и потому-то не хотят допустить тебя видеться со мной, пока ты не подписал им бумаги об ответственном министерстве или конституции. Кошмарно то, что, не имея за собой армии, ты, может быть, вынужден это сделать. Но такое обещание не будет иметь никакой силы, когда власть будет снова в твоих руках. Они подло поймали тебя, как мышь в западню,— вещь, неслыханная в истории“.

Плохо царица знала историю, но зато она хорошо усвоила исконную традицию всех монархов — на всякое свое обязательство смотреть, как на бумажку, которую при случае можно разорвать. Конституция, которую готовы были „даровать“ Романовы в эти, столь трагические для них дни, должна была повторить опыт с манифестом 17 октября 1905 года.

* * *

В Петрограде старой власти не было, город был в руках победившего в восстании народа.

27 февраля собралось частное совещание членов думы. Чтобы несуществующее правительство и царь, „пойманный, как мышь, в западню“, не заподозрели, что дума потеряла свою „лойяльность“ и не подчинилась „императорскому указу“ о роспуске, члены думы собрались даже не в обычном зале заседаний, а в проходном „полуциркульном зале“. Родзянко обратился к собравшимся с речью, в которой указал, что правительство как бы отказалось от власти, и что „медлить с подавлением бунта невозможно“, — члены думы должны обсудить положение и „наметить меры к прекращению беспорядков“. Раздался голос в пользу военной диктатуры, кто-то предложил, чтобы дума объявила себя учредительным собранием. Неизвестно, на каком решении остановилось бы совещание и как долго оно обсуждало бы положение дел. Но в этот час к думе стали подходить восставшие воинские части, рабочие. Колебаться дальше не было времени, нужно было решиться на что-нибудь. Сделано было предложение выбрать временный комитет думы, который должен взять на себя власть до образования правительства.

„Эта тридцатитысячная толпа, которою грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха, — пишет Шульгин об этом дне. — И это случилось именно, как обвал, как наводнение... Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенция, просто люди... Живым вязким человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец“. „С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу“, — добавляет Шульгин. В этом можно, разумеется, не сомневаться, и по отношению не к одному Шульгину. Аппетит к ответственному министерству и к прочим превосходным вещам сразу

пропал, как только пришлось столкнуться с теми, кто не только говорил, но и боролся с реакцией.

В центре оставался основной вопрос — вопрос о монархии, о царе, который находился в Пскове. Об оставлении на троне Николая не приходилось уже думать — ходом событий всякая связь с ним была порвана. Тщетно Родзянко пытался установить эту связь, умоляя Николая в своих телеграммах спасти страну и династию. Николай на эти телеграммы не отвечал, а когда ответил и звал Родзянко к себе, чтобы поручить ему образование министерства, было уже поздно. Утром 28 февраля Родзянко телеграфировал ставке, что революция в Петрограде в полном разгаре, что правительства нет, что министры арестовываются, и что комитет госуд. думы взял на себя власть. Нужно было быть сумасшедшим, чтобы выйти к подошедшим к думе войскам и сказать им, что, вот, приедет Николай и все рассудит, и сядет снова на престол. „Действительно, — пишет Милюков, — было уже поздно думать только об ответственном министерстве. Нужно было полное и немедленное отречение царя".

Думское большинство в эту минуту заботилось о том, чтобы сохранить династию. Все соглашались на том, что Николай должен отречься в пользу сына — наследника, а регентом должен был быть брат царя, Михаил Александрович — при таких условиях „преемственность" царской власти сохранилась бы. Милюков подтверждает, что в таком именно смысле вопрос решался „сообща" и принимались меры к „обеспечению регентства Михаила". А Родзянко до последних дней своих думал, что „комбинация" с отречением Николая в пользу сына „вне всякого сомнения была бы принята, и волнения, по всей вероятности, в значительной мере были бы успокоены".

Медлить нельзя было. Ночью 1 марта в думу приехал Гучков. „Ни Керенского, ни Чхеидзе не было, — рассказывает Шульгин. — Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно". А говорил Гучков на этом ночном, тайном совещании, о том, что надо на что-нибудь решиться, что „в этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию", что „без монархии Россия не может жить". Но Николаю царствовать больше нельзя — его повеления просто не исполнят. Отсюда один выход — отречение Николая. Родзянко заявил, что он и сам

хотел поехать с этой мыслью к царю, но его не пустили — потребовали, чтобы ехал и Чхеидзе с батальоном солдат. Тогда Гучков предложил свой план: „Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая, ни с кем не советуясь... Надо поставить их перед свершившимся фактом. Надо дать России нового государя“.

Шульгин постарался „уточнить“: комитет государственной думы признает единственным выходом отречение и поручает Гучкову и Шульгину „доложить об этом его величеству“. Так ночью, тайно от народа, готовили заговор дать ему „нового государя“, в наивной надежде, что народ примирится с таким „свершившимся фактом“.

Рано утром 2 марта Гучков и Шульгин выехали в Псков.

Долго царя убеждать не приходилось — вернее, совсем не пришлось. Родзянко уже снесся с командующими фронтами, которые также находили, что другого выхода нет. Николай знал об этом, и по его приказу в ставке составлен был проект манифеста об отречении. Гучкову и Шульгину Николай сказал, что все уже обдумал и решил отречься, но только не в пользу сына, а брата Михаила. На такое решение повлияло мнение Рузского, что бывшему царю оставаться в России нельзя и придется уехать за границу, а Николай не хотел расстаться с сыном. К акту об отречении Николай отнесся спокойно, по крайней мере, внешне. „Он отказался от российского престола просто, как сдал эскадрон“, — такое впечатление вынес придворный „историограф“ Дубенский.

В Петрограде, в комитете госуд. думы, отречение Николая не в пользу сына, а Михаила, вызвало переполох. Ведь этим нарушалась „преемственность“ и под опасность ставилась династия! Сразу даже не поверили и старались настоять на своем. По свидетельству Милюкова, отправились в военное министерство, чтобы „узнать тотчас по расшифровании текст акта об отречении и выяснить возможность его изменения“. В то же время приняты были меры задержать оглашение текста отречения Николая.

Сообщение оказалось верным, а изменить уже ничего нельзя было. Тем временем революцией уже был поставлен вопрос не об отречении Николая, а об упразднении монархии вообще. Когда на одном из своих выступлений Милюков сказал, что Николай должен отречься в пользу сына при

регенте Михаиле, на другой день к нему явилась толпа возбужденных офицеров, которые заявили, что не могут вернуться к своим частям, если Милюков не откажется от своих слов,— и Милюков должен был заявить, что он высказал только свое мнение, хотя это было неправдой — мнение Милюкова было мнением всего думского большинства. Когда Гучков, по приезде из Пскова, на вокзале сообщил железнодорожным рабочим о назначении Михаила, он немедленно убедился в „возбуждении, вызванном этим известием“.

Однако, не взирая на это, все же попытались поставить революцию перед „свершившимся фактом“—дать ей „нового государя“ Михаила. Некоторые, в том числе Родзянко, впрочем, уже колебались — очевидно было, что и „комбинация“ с Михаилом сильно запоздала, если и была возможна раньше. К Михаилу отправились члены временного правительства и комитета думы. Стать царем убеждал Михаила Милюков, который указывал, что другого выхода быть не может. На сомнения, не вызовет ли это нового восстания, Милюков ответил, что „вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты великого князя“. Но уверения Милюкова не убедили Михаила, и он счел более разумным собою не рисковать и от престола уйти.

Все попытки буржуазии сохранить соглашение с монархией— попытки, не прекращавшиеся и раньше, во время войны, но только под давлением обстоятельств, менявшие свой характер— закончились крушением. В вихре революции один за другим сметены были и Николай, и Алексей, и Михаил. Самодержавной стала революция.

* * *

3 марта, узнав об отречении, Александра Федоровна писала Николаю: „Только что был Павел (Александрович)— рассказал мне все. Я вполне понимаю твой поступок, о, мой герой. Я знаю, что ты не мог подписать противного тому, в чем ты клялся на своей коронации. Мы в совершенстве знаем друг друга, нам не нужно слов, и, клянусь жизнью, мы увидим тебя снова на твоем престоле, вознесенным обратно твоим народом и войсками во славу твоего царства. Ты спас царство своего сына и страну, и свою

святую чистоту и ты будешь коронован самим богом на этой земле, в своей стране".

Ошиблась императрица. Обманам и насилиям даже венценосцев наступает когда-нибудь конец. Не помогли ни загробное заступничество Распутина, ни молитвы на могиле его, ни крест его. Колесо истории сделало роковой оборот и в жерновах своих стерло в порошок монархию, веками угнетавшую страну...

Библиотека
Института Ленина

СОДЕРЖАНИЕ.

Цена 1 р. 90 к.

р





СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Харьков, ул. Свободной Академии, 5. Тел. 10-07
Москва, Кузнецкий мост, д. 5/15, уг. Б. Лубянки
Телефоны: 3-01-99 и 3-17-55

